

Оноре де Бальзак Крестьяне

Господину П.-С.-Б. Гаво¹

Жан-Жак Руссо поставил в заголовке «Новой Элоизы» следующие слова: «Я наблюдал нравы моего времени и напечатал эти письма». Нельзя ли мне, в подражание великому писателю, сказать: «Я изучаю ход моей эпохи и печатаю настоящий труд»?

Задача этого исследования, страшная правда которого останется в силе до тех пор, пока общество будет возводить филантропию в принцип, вместо того чтобы считать ее преходящим явлением, — задача этого исследования — дать читателю выпуклые изображения главных персонажей крестьянского сословия, забытого столькими писателями в погоне за новыми сюжетами. В эпоху, когда народ получил в наследство от королевской власти всех ее придворных льстецов, такое забвение — может быть, просто осторожность. Мы поэтизировали преступников, мы умилялись палачами, и мы почти обоготворили пролетария! Многие секты пришли в великое волнение и кричат устами всей своей пишущей братии: «Вставай, рабочий народ!», как в свое время было сказано «Вставай!» третьему сословию. Ясно каждому, что ни один из этих Геростратов не имел мужества отправиться в деревенскую глушь, дабы изучить на месте непрерывные козни, которые строят те, кого мы до сих пор называем слабыми, против тех, кто почитает себя сильным, — крестьянина против богача... Мы хотим открыть глаза не сегодняшнему законодателю, нет, а тому, который завтра придет ему на смену. Не пора ли теперь, когда столько ослепленных писателей охвачено общим демократическим головокружением, изобразить наконец того крестьянина, который сделал невозможным применение законов, превратив собственность в нечто не то существующее, не то не существующее? Вы увидите, как эта неутомимая землеройка, как этот грызун дробит и кромсает землю, делит ее на части и разрезает арпан на сотню лоскутков, неизменно привлекаемый к этому пиришеству мелкой буржуазией, делающей из него одновременно и своего помощника, и свою добычу. Этот противообщественный элемент, созданный революцией, когда-нибудь поглотит буржуазию, как буржуазия в свое время пожрала дворянство. Пренебрегая в собственном своем ничтожестве законом, этот Робеспьер об одной голове и о двадцати миллионах рук непрерывно ведет свою работу, притаившись во всех сельских общинах, верша дела в муниципальных советах, опираясь во всех кантонах Франции на оружие национального гвардейца, врученное ему 1830 годом, позабывшим, что Наполеон предпочел ввериться своему несчастному року, чем вооружить народные массы.

Если я в течение восьми лет сто раз бросал эту книгу, самую значительную из всех задуманных мною, и сто раз снова принимался за нее, то ведь все мои друзья, и вы в том числе, конечно, поняли, что моя решимость могла поколебаться перед столькими трудностями и перед таким количеством мелочей, вплетенных в эту сугубо жестокую и кровавую драму. Но к числу причин, внушивших мне сегодня такую смелость, прибавьте и мое желание закончить этот труд, назначение которого — доказать вам мою горячую и неизменную признательность за преданную любовь, бывшую для меня великим утешением в несчастье.

Де Бальзак.

Часть первая КТО С ЗЕМЛЕЙ, ТОТ С ВОЙНОЙ

I ЗАМОК

¹ П.-С.-Б. Гаво — Сильвен Гаво — парижский адвокат, друг Бальзака, его советчик в денежных делах.

Господину Натану.
Эги, 6 августа, 1823 г.

«Дорогой Натан, тебя, чьи фантазии услаждают читающую публику очаровательными грезами, я намерен унести в царство грез описанием самой настоящей действительности. А потом скажи мне, будет ли когда-нибудь в состоянии наш век завещать подобные сны Натанам и Блонде 1923 года! Прикинь мысленно расстояние, отделяющее нас от тех времен, когда Флорины XVIII века находили при своем пробуждении купчую на замки, подобные Эгам.

Любезный друг, если письмо мое будет тебе доставлено утром, сможешь ли ты из своей постели разглядеть примерно в пятидесяти лье от Парижа, там, где начинается Бургундия, на почтовом тракте два небольших флигеля из красного кирпича, связанных или, если угодно, разделенных выкрашенным в зеленый цвет шлагбаумом?.. Именно сюда доставила почтовая карета твоего друга.

В обе стороны от этих флигелей бежит, извиваясь, живая изгородь, откуда, как непокорные локоны из прически, выбивается ежевика. То там, то здесь задорно торчат древесные побеги. Откосы рва поросли яркими цветами, корни которых купаются в стоячей подернутой зеленью воде. Справа и слева изгородь подходит к двум лесным опушкам, обрамляя парные лужайки, явно отво-еванные у леса.

От этих уединенных и покрытых пылью флигелей идет великолепная дорога, обсаженная вековыми вязами, развесистые кроны которых, склоняясь друг к другу, образуют длинный величественный свод. Аллея поросла травой; чуть приметен на ней двойной след, проложенный колесами экипажа. Древний возраст вязов, ширина двух боковых аллей для пешеходов, почтенный вид флигелей, потемневшие от времени каменные пилястры — все говорит нам о въезде чуть ли не в королевский замок.

Еще не доезжая до шлагбаума, с вершины холма, не без тщеславия величаемого у нас, французов, горой и возвышающегося над деревней Куш (последний перегон), я увидел продолговатую долину Эгов, в конце которой большая дорога сворачивает к супрефектуре Виль-о-Фэ, где царит племянник нашего приятеля де Люпо. Над этой плодородной долиной, окаймленной вдалеке горами миниатюрной Швейцарии, носящей название Морван, высятся громадные леса, которыми поросла широкая холмистая гряда, омываемая рекой. Эти густые леса принадлежат владельцам Эгов, маркизу де Ронкероль и графу де Суланж, чьи замки, парки и деревни — если смотреть на них издали и с высоты — напоминают фантастические пейзажи «бархатного» Брейгеля².

Ежели эти подробности не вызовут в твоей памяти всех воздушных замков, которыми ты хотел бы владеть на французской земле, то ты недостоин внимать рассказу остолебневшего от изумления парижанина. Наконец-то я наслаждаюсь такой деревней, где искусство, присоединившись к природе, не испортило ее, где творение художника естественно, творение природы художественно. Я нашел тот оазис, о котором мы с тобой столько раз мечтали под впечатлением прочитанных романов; природа здесь роскошная, местность изрезана оврагами, во всем есть что-то дикое, неприлизанное, таинственное и необычное. Перелезай через шлагбаум, и отправимся дальше.

Когда я попытался окинуть любознательным взглядом всю аллею, куда солнце проникает лишь при восходе и на закате, пронизывая ее своими косыми лучами, мне загородил вид небольшой бугор; обогнув его, увидел я, что длинная аллея проходит через рощицу, и вот мы с тобой уже на перекрестке, в центре которого возвышается каменный обелиск словно для того, чтобы вечно восхищать наш взор. Между камнями монумента, увенчанного шаром с шипами (что за причуда!), растут цветы, красные или желтые — в зависимости от времени года. Несомненно, Эги были построены женщиной или для женщины: мужчине не придут в голову такие кокетливые причуды, и архитектор, надо думать, получил соответствующие указания.

Пройдя лесок, выдвинутый сюда словно сторожевой пост, я достиг прелестной лощины с

² Брейгель Ян Старший (1568—1625) — фламандский художник, прозванный «бархатным» за мягкость колорита его картин.

бурлящим по ее дну ручьем, через который я перешел по горбтому мостику из замшелых камней бесподобной окраски, словно время задалось целью создать очаровательную мозаику. Аллея тянется вверх по течению ручья, отлого поднимаясь вдоль берега. Вдали открывается первая панорама: мельница с запрудой, насыпная дорога, обсаженная деревьями, утки, развешанное белье, дом с соломенной кровлей, сети и рыбный садок, и тут же, конечно, мальчишка — помощник мельника, уже пристально уставившийся на мою особу. В деревне, где бы вы ни находились, даже когда вы уверены в полном своем одиночестве, за вами всегда наблюдает из-под холщового колпака пара любопытных глаз: работник бросает мотыгу, виноградарь выпрямляет согнутую спину, девочка, пасущая коз, овец или коров, взбирается на иву и подсматривает за вами.

Широкая дорога вскоре превращается в обсаженную акациями аллею, которая ведет к кованым воротам, поставленным еще в ту эпоху, когда произведения слесарного искусства отличались воздушной филигранностью и своими узорами сильно напоминали завитушки из прописи учителя каллиграфии. По обе стороны ворот тянется ров с двойным валом, усаженным воистину грозными копьями и дротиками, словно перед тобой какой-то железный еж. Кроме того, к воротам примыкают две сторожки, очень похожие на такие же домики в Версале и так же увенчанные вазами огромных размеров. Позолота на арабесках порыжела от времени, ржавчина наложила на нее свои тона, что, на мой взгляд, только придает прелести этим «въездным» воротам, которыми Эги обязаны щедрости дофина. Вслед за рвами идет ограда, неоштукатуренные стены которой сложены из красноватой глины и камней самой причудливой формы и самой разнообразной окраски: тут и ярко-желтый кремль, и белый известняк, и красно-бурый песчаник. Вначале парк, полвека не оглашавшийся стуком топора, кажется мрачным, ограда скрыта вьющейся зеленью и ветвями деревьев. Можно подумать, что этот лес каким-то чудом, свойственным только лесам, вновь обрел свою девственность. Стволы увиты ползучими растениями, перекинувшимися с дерева на дерево. Блестящая листва омелы свешивается со всех развилин сучьев, где задержалась хоть капля влаги. Я снова увидел здесь сплетенные в причудливые узоры гигантские гирлянды плюща, встречающиеся не ближе пятидесяти лье от Парижа — там, где земля стоит очень дешево и ее не жалеют. Для такого пейзажа нужен простор. Итак, здесь ничто не приглашено, здесь не видно следа садовых граблей, рытвины полны водой, и лягушки мирно выводят в них своих головастика; нежные лесные цветочки растут на лужайках, а вереск здесь не менее красив, чем тот, которым я любовался у тебя на камине, в нарядной жардиньерке, принесенной Флориной. Тайна леса пьянит, вызывает смутные желания. Лесные ароматы, столь любезные лакомым до поэтических настроений душам, которым милы и безвредный мох, и ядовитые тайнобрачные, и влажная низинка, и плакучая ива, и цветочек мяты, и богородицына травка, и затянута ряской лужа, и округлые звезды кувшинок, — все эти мощные лесные ароматы вливали в меня свою благодать, свою мысль, свою душу. И я представил себе розовое платье, мелькающее под деревьями извилистой аллеи.

Аллею неожиданно преграждает последняя рожица, объединившая в одну разумную, стройную, изящную семью дрожащие березки и тополя и все прочие трепещущие деревья, деревья свободной любви! Отсюда, дорогой мой друг, я увидел пруд, покрытый лилиями и прочими водяными растениями с широкими распластанными листьями или узенькими тонкими листочками, а на пруду — заброшенный челнок, выкрашенный в черный и белый цвет, челнок, кокетливый, как лодки на Сене, и легкий, как ореховая скорлупка. За прудом возвышается замок, датированный 1560 годом, построенный из кирпича приятного красного цвета с каменной связью и обрамлениями по углам и на окнах, еще сохранивших свои частый переплет (о, Версаль!). Каменные части вытесаны алмазной гранью, как у Дворца Дожей в Венеции, по его фасаду, выходящему к мосту Вздохов. В замке строго выдержан в едином стиле только центральный корпус с величественным каменным крыльцом, куда с двух сторон ведет изогнутая лестница с выточенными балясинами на перилах, тонкими у основания и бочкообразными посередине. К главному корпусу примыкают башенки с островерхой свинцовой кровлей, украшенной травяным орнаментом, и два флигеля в современном вкусе с галереями и вазами в более или менее греческом стиле. Тут, любезный друг, симметрии не ищи! Над этими как бы случайно собранными здесь постройками нависла зеленая сень, от чего пышней разрастается мох на кровле, а побуревшие семена, осыпаясь с деревьев на крышу, порождают жизнь в глубоких живописных трещинах. Тут и итальянская пиния с красной

корой, шатром раскинувшая свои ветви, тут и двухсотлетний кедр, и плакучие ивы, и северная ель, и значительно переросший ее бук. Перед главной башенкой совсем неожиданные деревья: подстриженный тис, вызывающий в памяти запущенный французский парк, магнолии, окруженные кустами гортензий, — словом, Пантеон, где покоятся герои садоводства, когда-то бывшие в моде, а теперь забытые, как и все герои.

Увидев на крыше трубу с оригинальным орнаментом, из которой шли густые клубы дыма, я убедился, что вся эта прелестная картина — не оперная декорация. Раз есть кухня, значит, есть и живые люди. Представляешь ли ты меня, твоего друга Блонде, которому достаточно попасть в Сен-Клу³, чтобы возомнить себя за полярным кругом, — представляешь ли ты меня среди этого знойного бургундского пейзажа? Солнце немилосердно печет, зимородок сидит у берега пруда, кузнечики стрекочут, сверчок свиристит, стручки каких-то бобовых растений лопаются с сухим треском, маки изливают густыми слезами свое снотворное зелье, и все так отчетливо вырисовывается на фоне ярко-голубого неба. Над красноватой землей площадки трепещет веселое марево той натуральной жженки, которая пьянит и насекомых и цветы, обжигает нам глаза и покрывает загаром лица. Виноград наливается, листва его, подернутая паутиной белых нитей, посрамит тонкостью своего узора любую кружевную фабрику. А вдоль всего здания пестреют ярко-голубые цветы кавалерских шпор, огненная настурция и душистый горошек. Воздух напоен благоуханием тубероз и цветущих апельсиновых деревьев. Подготовленный поэтическими душистыми испарениями леса, я наслаждался теперь пряными курениями этого ботанического серала. В заключение представь себе на верхней ступени крыльца женщину в белом платье, подобную царице цветов, — без шляпы, под зонтиком, подбитым белым шелком, женщину, более белоснежную, чем этот шелк, более белоснежную, чем лилии, что цветут у ее ног, более белоснежную, чем звездочки жасмина, дерзко пробравшегося меж балясин, — француженку, родившуюся в России; она встретила меня словами: «Я потеряла всякую надежду вас увидеть!» Она заметила меня еще на повороте дороги. С каким совершенством всякая женщина, даже самая бесхитростная, разыгрывает свою роль! По шуму, доносившемуся из столовой, где прислуга накрывала на стол, ясно было, что завтрак отложили до прибытия почтовой кареты. Хозяйка не решилась выйти мне навстречу.

Не в этом ли воплощение нашей мечты, мечты тех, кто боготворит красоту во всех ее видах: и ангельскую красоту, которую Луини вложил в свое «Благовещение» — замечательную Саронскую фреску, и красоту, которую Рубенс нашел для схватки, изображенной на картине «Битва при Термондоне», и красоту, над которой трудились пять веков в сеvilском и миланском соборах, и сарацинскую красоту в Гренаде, и красоту парков Людовика XIV в Версале, и красоту Альп, и красоту плодоносной Оверни.

К этому поместью, где не чувствуется ни чрезмерной царственности, ни чрезмерного богатства, хотя и принц королевской крови, и генеральный откупщик имели тут свое местопребывание (а это и определяет основной его характер), принадлежат две тысячи гектаров леса, парк в девятьсот арпанов, мельница, три хутора, громадная ферма в Куше и виноградники — все вместе взятое должно давать семьдесят две тысячи франков ежегодного дохода. Таковы, мой дорогой, Эги, где меня ожидали в течение двух лет и где я в данный момент нахожусь в «персидской» комнате, предназначенной для близких друзей.

Из верхней части парка, расположенной ближе к Кушу, течет не менее дюжины чистых, прозрачных родников, берущих свое начало в Морване и впадающих в пруд, предварительно разукрасив серебристыми струящимися лентами и лоштинки в парке, и великолепные цветники. Своим названием Эги⁴ обязаны этим очаровательным водным потокам. В нем только отброшено слово «ключевые», так как в старых документах поместье именуется «Ключевые воды» в отличие от «Стоячих вод». Из пруда лишняя вода до широкому прямому каналу, окаймленному плакучими ивами, попадает в речушку, текущую вдоль главной аллеи. Канал восхитителен в своем зеленом убранстве. Когда плывешь по нему в лодке, кажется, будто ты под сводом грандиозного храма, а главный корпус замка, виднеющийся в конце свода, — амвон. При заходе солнца, когда на замок

3 Сен-Клу — дворец и парк близ Парижа, резиденция Наполеона I.

4 То есть вóды.

падают оранжевые, пересеченные тенями лучи и горят в оконных стеклах, представляется, будто перед тобой пылающие яркими красками витражи. На другом конце канала виднеется село Бланжи, насчитывающее около шестидесяти дворов. Тут же и сельская церковь — давно не ремонтировавшийся домик с деревянной колокольней и полуобвалившейся черепичной кровлей. Среди прочих построек выделяется одна городского типа и дом священника. Приход, в общем, не маленький: к нему принадлежит еще двести разбросанных поблизости дворов, для которых Бланжи — административный центр. Вокруг селения разбиты небольшие огороды; проезжие дороги отмечены рядами плодовых деревьев. В огородах, как всегда в крестьянских огородах, есть все, что угодно: и цветы, и лук, и капуста, и шпалерный виноград, и смородина, и много навоза. Селение кажется таким патриархальным, таким мирным уголком, и в нем есть та нарядная простота, которой так добиваются живописцы. А вдали виднеется Суланж, городок на берегу большого пруда вроде тех, что стоят на Тунском озере⁵.

Когда прогуливаешься по парку, в котором имеется четверо прекрасных по стилю ворот, мифологическая Аркадия⁶ кажется плоской, как наша Босская равнина. Истинная Аркадия — в Бургундии, а не в Греции, истинная Аркадия — в Эгах, и нигде больше. Речка, питающаяся ручьями, течет, змеясь, по нижнему парку и придает ему какую-то успокоительную свежесть, какую-то своеобразную уединенность, тем более напоминающую тихую монастырскую обитель, что на одном из искусственно созданных островков в самом деле стоит полуразрушенный домик монастырского вида, по изяществу своей внутренней отделки вполне достойный того сластолюбивого денежного магната, по приказу которого он был возведен. Эги, любезный друг, когда-то принадлежали тому самому откупщику Буре, который истратил два миллиона на то, чтобы один-единственный раз принять у себя Людовика XV. Сколько кипучих страстей, тонкости ума, сколько счастливых стечений обстоятельств потребовалось, чтобы создать этот прекрасный уголок! Одна из возлюбленных Генриха IV перенесла замок на то место, где он стоит сейчас, и присоединила к нему лес. Фаворитка дофина, мадмуазель Шоэн, получившая Эги в подарок, обогатила их несколькими фермами. Буре ради некой оперной дивы обставил замок с изысканностью, не уступающей парижским дворцам. Тому же Буре Эги обязаны реставрацией нижнего этажа в стиле Людовика XV.

Я был совершенно изумлен при виде столовой. Прежде всего привлекает взоры потолок, расписанный в итальянском вкусе и украшенный необыкновенно затейливыми арабесками. Лепные женские фигуры, как бы вырастающие из листвы и расположенные на некотором расстоянии друг от друга, поддерживают корзины с фруктами, откуда расходится по потолку богатый лиственный орнамент. В простенках между гипсовыми женщинами — прекрасные картины кисти неизвестных мне живописцев изображают все, чем славится изысканный стол: лососей, кабаньи головы, устриц — целый мир съедобного, представителям которого художники придали какое-то фантастическое сходство с мужчинами, женщинами и детьми, не уступая по причудливости воображения художникам Китая — страны, где, на мой взгляд, лучше всего понимают декоративное искусство. Под ногой у хозяйки дома находится пружина от звонка для вызова прислуги, которая является лишь тогда, когда она нужна, не прерывает разговора, не нарушает настроения. Над дверьми изображены сцены эротического содержания. Оконные амбразуры мраморные, мозаичной работы. Столовая отапливается снизу. Из каждого окна прелестный вид.

С одной стороны столовой находится ванная, а с другой — будуар, смежный с гостиной. Стены ванной комнаты выложены северскими плитками с гризайлью⁷, пол мозаичный, а ванна мраморная. В алькове, замаскированном картиной, написанной на меди и поднимающейся при помощи противовеса, стоит кушетка золоченого дерева в чистейшем стиле Помпадур. Потолок выложен ляпис-лазурью и усеян золотыми звездами. Роспись гризайлью сделана по рисункам Буше.

⁵ *Тунское озеро* — живописное озеро в Швейцарии.

⁶ *Аркадия* — область Древней Греции; в литературе Аркадия — место действия идиллий, изображающих счастливую, мирную сельскую жизнь.

⁷ *Гризайль* — способ декоративной живописи, использующей две краски — светлую и темную. Гризайль создает впечатление рельефности.

Итак, здесь объединены омовение, яства и любовь.

За гостиной, представляющей стиль Людовика XIV во всем его великолепии, идет роскошная бильярдная, равной которой, по-моему, нет и в Париже. В нижний этажходишь через полукруглую переднюю, в глубине которой расположена изящная лестница с верхним светом, — она соединяет покои, выстроенные в различные эпохи. А в 1793 году, мой дорогой, генеральным откупщикам рубили головы! Боже мой, как люди не поймут, что чудеса искусства невозможны в стране, где нет больших состояний и обеспеченной жизни на широкую ногу. Если «левая» непременно желает казнить королей, пусть она оставит нам хоть несколько самых что ни на есть малюсеньких принцев.

В настоящее время вся эта уйма богатств принадлежит хорошенькой женщине с тонким художественным вкусом, которая, не довольствуясь тем, что великолепно реставрировала здешние сокровища, продолжает любовно их оберегать. Так называемые философы, которые заняты только собой, делая вид, будто заняты судьбами человечества, называют все эти прекрасные вещи сумасбродством. Они обмирают перед фабриками миткаля и разными скучными изобретениями современной промышленной техники, а ведь мы сейчас не стали ни более великими, ни более счастливыми, чем во времена Генриха IV, Людовика XIV и Людовика XV, которые наложили отпечаток своего царствования на Эги. Какие дворцы, какие королевские замки, какие жилые дома, какие произведения искусства, какие шитые золотом ткани оставим после себя мы? Роброны наших бабушек теперь в большой цене: их скупают на обивку кресел. Мы — скаредные эгоисты, мы пользуемся процентами с чужого капитала, мы сносим все и сажаем капусту там, где возвышались чудесные произведения зодчества. Совсем еще недавно соха прошла по Персану, великолепному поместью, в свое время опустошившему кошелек канцлера Мопу; пал под ударами молотка замок Монморанси, стоивший безумных денег одному из тех итальянцев, что толпились вокруг Наполеона; разрушен Валь, создание Реньо де Сен-Жан д'Анжели; разрушен Кассан, построенный одной из любовниц принца Конти; в итоге четыре королевских дворца исчезли с лица земли в одной только долине Уазы. Мы готовим Парижу окрестности Рима к тому дню, когда налетевший с севера ураган разрушит наши гипсовые замки и все наше картонное великолепие.

Видишь, любезный друг, до чего может довести человека привычка к газетной болтовне, — вот я уже настроил нечто вроде передовой статьи! Неужели у нашего ума, как у проселочных дорог, есть своя проторенная колея? Умолкаю, ибо явно обворовываю и свою владычицу, и самого себя, а на тебя боюсь нагнуть зевоту. Продолжение завтра.

Второй раз звонит колокол, оповещаая об изобильном завтраке, какими уже давно не кормят в парижских домах, не считая, разумеется, исключительных случаев.

Вот история моей Аркадии. В 1815 году умерла в Эгах одна из знаменитых куртизанок последнего века, певица, забытая и гильотиной, и аристократией, и литературным, и финансовым миром, хотя она была близка и к финансовому, и к литературному, и к аристократическому миру и чуть было не познакомилась с гильотиной; о ней забыли, как о многих былых прелестницах, уехавших в деревню искупать грехи своей молодости и заменивших утраченную любовь обожателей новой любовью: мужчину — природой. Эти женщины живут цветами, ароматами лесов, небом, солнечными эффектами — всем, что поет, трепещет, сверкает и растет: птичками, ящерицами, цветочками и травками; сами того не сознавая, не отдавая себе в том отчета, они все еще живут любовью столь пламенной, что ради этой сельской улады забывают герцогов, маршалов, соперниц, откупщиков налогов, свои былые безумства и необузданную роскошь, свои поддельные и настоящие бриллианты, свои туфельки на высоких каблуках и румяна.

Я собрал, дорогой друг, ряд драгоценных сведений о старческих годах мадмуазель Лагер, ибо время от времени меня начинает занимать старость девиц, подобных Флорине, Мариетте, Сюзанне дю Валь-Нобль и Тулли, совершенно так же, как ребенка занимает, куда же в конце концов девалась старая луна.

В 1790 году мадмуазель Лагер, напуганная ходом политических событий, удалилась в Эги, купленные для нее откупщиком Буре, который провел в замке несколько летних сезонов; судьба Дюбарри так ее потрясла, что она закопала в землю свои бриллианты. Ей минуло тогда всего пятьдесят три года, и, по словам ее горничной (вышедшей впоследствии замуж за жандарма и с тех пор

величаемой не иначе, как «мадам Судри» или «супруга мэра»), «барыня была в ту пору еще красивей, чем раньше». Очевидно, любезный друг, такие создания — баловни природы, которая, должно быть, имеет на то свои основания: от излишеств они не только не болеют, а, наоборот, хорошеют, приобретают приятную полноту и молоджавость. Правда, у них субтильная фигурка, зато крепкие нервы, которые поддерживают их чудесное тело; они сохраняют вечную красоту при той жизни, от какой наверняка подурнеет добродетельная женщина. Что ни говори, провидение не отличается высокой нравственностью.

Мадмуазель Лагер жила здесь, как самая безупречная женщина, может быть, лучше сказать, как святая, — памятуя о ее нашумевшем приключении. Однажды, пережив разочарование в любви, она, как была в театральном костюме, убежала из Большой оперы куда-то за город, уселась у дороги в поле и проплакала там всю ночь. (А ведь чего только не наклеветали на любовь во времена Людовика XV!) Для нее было так необычно встречать восход солнца, что она приветствовала дневное светило одной из своих лучших арий. Ее поза, а также блестящий наряд привлекли внимание крестьян: изумленные ее жестами, голосом и красотой, они решили, что перед ними ангел, и преклонили колени. Не будь Вольтера, под Баньоле совершилось бы еще одно чудо. Не знаю, зачтет ли господь бог девице Лагер ее запоздалую добродетель, поскольку женщины, столь пресыщенные любовью, как, надо полагать, была пресыщена ею оперная дива, обычно питают отвращение к любви. Мадмуазель Лагер родилась в 1740 году, лучшая ее пора относится к 1760 году, когда некоего господина де... (не припомню фамилии), намекая на его связь с этой покорительницей сердец, называли «любителем *лагер* ной жизни». Она распрощалась с фамилией Лагер, которая так и осталась неизвестной в этом краю, стала именовать себя госпожой дез Эг и замкнулась в своем поместье, любовно поддерживая его в самом художественном вкусе. Когда Бонапарт сделался первым консулом, она округлила свои владения, присоединив к ним церковные земли, на покупку которых пошли деньги, вырученные от продажи бриллиантов. Как и всякой оперной диве, ей было несвойственно распоряжаться имением, и потому она передала в ведение управляющего все хозяйство, а сама занялась только парком, цветником и фруктовым садом.

После смерти мадмуазель Лагер, которую похоронили в Бланжи, нотариус из Суланжа, кантонального центра, расположенного между Виль-о-Фэ и Бланжи, составил подробную опись имущества и в конце концов разыскал наследников певицы, не ведавшей об их существовании. Одиннадцать семейств бедных землепашцев из окрестностей Амьена легли спать на рваных простынях, а проснулись в одно прекрасное утро под золотым одеялом. Для раздела наследства пришлось продать имение с торгов. Эги были тогда куплены генералом Монкорне, за время своего командования в Испании и Померании накопившим сумму, необходимую для этой покупки, — что-то вроде миллиона ста тысяч франков, включая и стоимость обстановки. Этому прекрасному поместью, очевидно, было суждено принадлежать военному. На генерала, без сомнения, оказала воздействие чувственная роскошь покоев нижнего этажа, и я еще вчера уверял графиню, что покупка этого поместья решила ее брак.

Дорогой мой, чтобы по достоинству оценить графиню, надо знать, что генерал — человек вспыльчивый, с багровым лицом, пяти футов и девяти дюймов роста, монументальный, как башня, с толстой шеей, с плечами молотобойца, на которых кирасирские латы сидели, наверное, как влитые. Монкорне командовал кирасирами в битве при Эслинге (австрийцы называют этот город Гросс-Асперн) и остался цел, когда наша прекрасная конница была отброшена к Дунаю. Ему удалось переправиться через реку, сидя верхом на огромном бревне. Увидя, что мост разрушен, кирасиры по призыву Монкорне приняли доблестное решение: они обернулись лицом к врагу и сражались против всей австрийской армии, которая на следующий день вывезла более тридцати повозок, нагруженных латами. Немцы прозвали этих кирасиров «железные люди»⁸. У Монкорне внеш-

⁸ Как правило, я избегаю примечаний, и это первое, которое я себе позволил: оправданием мне послужит его исторический интерес; цель его — доказать, что описывать сражения следует совсем не так, как это делается в сухих объяснениях писателей-специалистов, которые вот уже три тысячи лет говорят нам только о левом и правом фланге и о более или менее прорванном центре, не упоминая ни единым словом о солдате, о его геройстве и страданиях. Добросовестность, с которой я работаю над «Сценами военной жизни», побуждает меня посещать все поля сражений, орошенные кровью французов и чужеземцев, — понятно, что мне захотелось побывать и на равнине Ваграма. Подъехав к Дунаю, против острова Лобау, я обратил внимание, что берег, поросший здесь мягкой травой, имеет

ность античного героя: руки большие и жилистые, грудь широкая, колесом, в голове что-то львиное, голос зычный — из тех, команда которых слышна в самый разгар сражения; но храбрость его — это храбрость сангвиника, ему недостает ума и широты кругозора. Как многие генералы, которым здравый смысл военных, недоверчивость, вполне естественная у людей, постоянно подвергающихся опасностям, и привычка командовать придают видимость превосходства, Монкорне производит на первый взгляд внушительное впечатление: он кажется титаном, но этот грозный облик скрывает карлика, как тот картонный великан, что кланялся Елизавете при входе в Кенильвортский замок⁹. Он вспыльчив и добр, гордится воспоминаниями об Империи, но по-солдатски насмешлив, несдержан на язык и еще более несдержан на руку. На поле брани он, несомненно, великолепен, зато в семейной жизни совершенно невыносим — ему знакома только походная любовь, любовь солдатская, которой древние, сии искусные сочинители мифов, дали в покровители сына Марса и Венеры — Эроса. Эти превосходные летописцы истории богов запаслись целым десятком различных Амуров. Взявшись за изучение отцов и атрибутов этих Амуров, вы обнаружите самую полную роспись общественных слоев; а мы-то думали, что изобрели нечто новое! Когда земной шар перевернется, как больной в бреду, когда моря обратятся в материки, тогда французы найдут на дне нашего современного океана, в лесу водорослей, паровую машину, пушку, газету и конституционную хартию.

Ну, а графиня де Монкорне, мой дорогой, — женщина хрупкая, изящная и робкая. Что скажешь ты об этой супружеской паре? Для человека, знакомого со светом, такие случайности дело обычное, исключение составляют подходящие браки. Вот мне и захотелось посмотреть, на какие пружинки нажимает эта маленькая и слабенькая женщина, которая командует своим рослым, дородным и широкоплечим генералом ничуть не хуже, чем он командовал кирасирами.

Если Монкорне возвысит голос в присутствии своей Виржини, супруга его прикладывает пальчик к губам, и генерал тотчас же умолкает. Он грубый солдат, но если ему захочется выкурить сигару или трубку, он уходит в беседку шагов за пятьдесят и, возвращаясь оттуда, не забывает опрыснуть себя духами. Он счастлив своей покорностью, и, что бы вы ему ни предложили, этот медведь, опьяневший от винограда, неизменно оборачивается к супруге и говорит: «Если вы, мой друг, не имеете ничего против». Когда он направляется на половину жены, тяжело ступая по каменным плитам и сотрясая их, как простые доски, а она кричит испуганным голосом: «Ко мне не-

волнистую поверхность, напоминающую прорезанные широкими бороздами поля люцерны. Я поинтересовался, откуда взялись эти гряды, отнеся их за счет какого-нибудь особого способа обработки земли. «Здесь, — сказал наш проводник-крестьянин, — покоятся кирасиры императорской гвардии: это их могилы!» Я содрогнулся от его слов; переведший их князь Фридрих Шварценберг пояснил нам, что этот крестьянин сопровождал повозки, нагруженные кирасами. По одной из тех странных случайностей, которые часто наблюдаются на войне, наш проводник доставил Наполеону утренний завтрак в день битвы при Ваграме. При всей своей бедности он до сих пор хранит двойной наполеондор, уплаченный императором за молоко и яйца. Гросс-аспернский священник провел нас на знаменитое кладбище, где дрались по колено в крови французы и австрийцы, причем с обеих сторон были проявлены достойные славы мужество и упорство. Тут же, на кладбище, наше внимание привлекла небольшая мраморная плита с выгравированным на ней именем владельца Гросс-Асперна, убитого на третий день сражения; священник пояснил, что это единственная награда, которой удостоилась семья покойного, и с глубокой грустью прибавил: «То было время великих бедствий и великих посулов, а теперь настало время забвения...» Слова эти показались мне прекрасными по своей простоте; но, поразмыслив, я нашел оправдание кажущейся неблагодарности австрийского королевского дома. Ни народы, ни государи не настолько богаты, чтобы вознаграждать за все самоотверженные поступки, к которым дают повод великие сражения. Пусть тот, кто служит какому-либо делу с задней мыслью получить за это награду, продает свою кровь, вступив в ряды кондотьеров!.. Но тот, кто сражается за родину со шпагой или с пером в руке, должен думать только о том, чтобы «потрудиться ей на благо», как говаривали наши отцы, и всякую награду, даже славу, принимать как счастливую случайность.

Именно здесь, в третий раз отправляясь на приступ этого славного кладбища, раненый Массена, которого несли в кузове экипажа, бросил солдатам свои знаменитые слова: «Как, сукины дети, вы получаете только по пяти су в день, а у меня сорок миллионов, и вы допускаете, чтоб я был впереди!..» Известен тогдашний приказ императора своему маршалу, переданный господином де Сент-Круа, который трижды переправлялся вплавь через Дунай: «Умереть или взять обратно деревню, дело идет о спасении армии! Мосты разрушены» (прим. автора).

9 «...как тот картонный великан, что кланялся Елизавете при входе в Кенильвортский замок». — Имеется в виду эпизод из романа Вальтера Скотта «Кенильворт» — прием графом Лейстером королевы Елизаветы в Кенильвортском замке. При входе в замок королеву приветствовали огромные фигуры, изображавшие воинов.

льзя!», он по-военному делает полуоборот направо и смиренно произносит: «Благоволите поставить меня в известность, когда вам угодно будет побеседовать со мной...» — тем же голосом, каким на берегах Дуная кричал своим кирасирам: «Солдаты, умрем, и умрем с честью, раз нет другого выхода!» Как-то, говоря о жене, он сказал следующие трогательные слова: «Я ее не только люблю, я преклоняюсь перед ней». Когда на него находит припадок ярости, которая ломает все преграды и изливается безудержным потоком, маленькая женщина удаляется в свои апартаменты, предоставляя ему вволю накричаться. А дней через пять, через шесть она говорит: «Не выходите, мой друг, из себя, у вас в груди может лопнуть сосуд, не говоря уже о том, как это мне неприятно». И тогда Эслингский лев поспешно скрывается, чтобы смахнуть набежавшую слезу. Если он появляется в гостиной, когда мы заняты разговором, она говорит: «Оставьте нас, он мне читает», и генерал оставляет нас одних.

Только сильные, крупные и вспыльчивые люди, только воины-громовержцы, только дипломаты с головой олимпийцев и гениальные люди умеют так безоговорочно верить и проявлять такую постоянную заботу, такое великодушие, такую любовь без примеси ревности, такую мягкость по отношению к женщине. Честное слово, я ставлю искусство графини настолько же выше сухих и сварливых добродетелей, насколько атласная обивка кушетки предпочтительнее бумажного плюша на дрянном мещанском диване.

Вот уже шестой день, любезный друг, как я нахожусь в этом восхитительном деревенском уголке и непрестанно восхищаюсь красотами парка, окруженного тенистыми лесами, и хорошенькими его дорожками, бегущими вдоль ручьев. Тишина, покой, мирные наслаждения, беззаботная жизнь, к которой зовет природа, — все тут прельщает меня. Вот где настоящая литература! Зеленеющий луг не знает стилистических промахов. Было бы истинным счастьем позабыть здесь все — даже «Деба»¹⁰. Ты должен догадаться, что два утра подряд шел дождь. Пока графиня спала, а Монкорне охотился в своих владениях, я выполнил столь неосмотрительно данное обещание написать вам письмо.

До сего времени, хотя я и родился в Алансоне, как говорят, от старого судьи и префекта, хотя я и видал прекрасные пастбища, я принимал за пустые рассказы существование поместий, приносящих четыре или пять тысяч франков дохода в месяц. Деньги в моем представлении означали четыре отвратительных слова: работа, издатель, газета и политика... Неужели в нашем распоряжении никогда не окажется поместья, где деньги будут произрастать на фоне какого-нибудь очаровательного ландшафта? Вот чего я желаю вам во имя театра, книги и печати. Да будет так.

Воображаю, какую зависть почувствует Флорина к покойной мадмуазель Лагер! У наших современных Буре нет перед глазами французского дворянства, которое обучало бы их умению жить, они втроем покупают ложу в театр, вкладчину устраивают развлечения, они не обрежут великолепно переплетенных ин-кварти, чтобы подогнать их по размерам к ин-октаво, которые стоят в их книжном шкафу. И непереpletенных-то книг они почти не покупают! Куда мы идем? Прощайте, дети мои! Любите по-прежнему

вашего нежного друга Блонде.

Если бы по чудесной случайности не сохранились в целости строки этого письма, слетевшие с ленивейшего пера нашего времени, было бы почти невозможно изобразить Эги. Без данного описания разыгравшаяся там вдвойне ужасная драма, быть может, оказалась бы менее интересной.

Многие, верно, рассчитывают, что под яркими лучами света засверкают латы бывшего полковника императорской гвардии, что вспыхнувший в нем гнев обрушится ураганом на хрупкую женщину, и что повесть эта окончится тем же, чем кончается столько современных романов, то есть альковной драмой. Но разве может такая современная драма разыгаться в прелестной гостиной, где голубоватая роспись над дверьми изображает любовные мифологические сценки, где потолок и внутренние ставни разрисованы сказочными птицами, а на камине хохочут во весь рот чу-

¹⁰ «Деба» — сокращенное название французской газеты «Журналь де Деба». При Реставрации газета поддерживала умеренно-либеральную оппозицию.

довища из китайского фарфора, где синие с золотом драконы обвивают своими закрученными хвостами богатейшие вазы с узорчатым, как кружево, цветным эмалевым бордюром — плод фантазии японского художника; где покойные глубокие кресла, кушетки, диваны, этажерки и столики манят к созерцанию и лени, ослабляют энергию? Нет, наша драма выходит из рамок обычной частной жизни, — она развивается или выше, или ниже ее. Не ждите бурных страстей, сама действительность будет достаточно драматична. К тому же писатель не должен никогда забывать, что его обязанность — воздать каждому должное, и бедняк и богач равны для его пера: крестьянин в его глазах велик своею тяжелою жизнью, а богач ничтожен своими смешными притязаниями; богач удовлетворяет свои страсти, крестьянин удовлетворяет только свои насущные нужды, следовательно, он беден вдвойне; и если по соображениям политики его агрессивные действия следует безжалостно пресекать, то с точки зрения религии и человечности крестьянин для нас свят.

II

СЕЛЬСКАЯ ИДИЛЛИЯ, УПУЩЕННАЯ ИЗ ВИДУ ВЕРГИЛИЕМ

Когда парижанин попадает в деревню, он отрывается от своих прежних привычек и вскоре, несмотря на всю изобретательность и заботы хозяев, начинает ощущать, как медленно тянется время. Потому-то, сознавая всю невозможность постоянно поддерживать разговоры с глазу на глаз, темы которых исчерпываются очень быстро, помещики и помещицы, нисколько не стесняясь, говорят: «Вам здесь будет очень скучно». Действительно, чтобы вкусить все прелести деревни, надо быть в ней заинтересованным материально, надо знать сельские работы, понимать согласованное чередование труда и удовольствий — вечный символ человеческой жизни.

Когда приезжий отоспался, отдохнул с дороги и втянулся в уклад деревенской жизни, ему, ежели он парижанин, да к тому же еще не охотник, не агроном и носит изящную обувь, ему трудно придумать, на что убить утренние часы, особенно от момента пробуждения до завтрака. Женская половина общества еще поживает или занята туалетом и, следовательно, недоступна; хозяин дома спозаранку отправился по делам; итак, с восьми до одиннадцати — час завтрака почти во всех помещичьих домах — парижанин предоставлен самому себе. Он пробует занять свой досуг мелочным обдумыванием, как и во что одеться, но вскоре всякий источник развлечений иссякает, и писателю, если только он не привез с собой какой-нибудь совершенно неосуществимой здесь работы, которую увезет обратно в девственном виде, познав лишь ее трудности, не остается ничего другого, как шагать взад и вперед по аллеям парка, глазеть на ворон и пересчитывать толстые деревья. Но чем легче жизнь, тем скучнее подобные занятия, в том случае, конечно, если ты не принадлежишь к секте квакеров-прыгунов, к почтенному цеху плотников или к цеху мастеров по набивке птичьих чучел. Если жить в деревне постоянно, как живут помещики, можно рассеять скуку, увлекшись геологией, минералогией, энтомологией или ботаникой; но разумный человек и пробовать не станет пристраститься к тем или иным занятиям только ради того, чтобы убить две недели. Роскошнейшее поместье и прекраснейшие замки приедаются довольно скоро тем, кто в них владеет только видами. Красоты природы кажутся весьма жалкими в сравнении с театральными декорациями. Париж начинает сверкать всеми своими гранями. Если тебя не приковывает особый интерес, как у Блонде, «к местам, освященным стопами и озаренным взорами» известной особы, невольно захочешь позаимствовать у птиц крылья, чтоб улететь обратно к всечасным потрясающим драмам Парижа, к его раздирающей душу борьбе.

Прочтя длинное письмо, написанное журналистом, проникательный читатель, несомненно, предположит, что в смысле утоления своей жажды любви и пресыщения счастьем наш герой и нравственно и физически достиг того состояния, которое превосходно передается тупым видом искусственно откормленной домашней птицы, когда, втянув голову в туго набитый зоб, она сидит неподвижно, не имея ни сил, ни охоты взглянуть на самую лакомую пищу. Поэтому-то, закончив свое длинное письмо, Блонде почувствовал непреодолимую потребность выбраться из садов Армиды¹¹ и как-нибудь оживить смертельную скуку первых утренних часов — время между завтра-

¹¹ Сады Армиды. — Армида — одна из героинь поэмы «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта Тассо, которая завлекла в свои волшебные сады влюбленного в нее рыцаря Ринальдо.

ком и обедом он проводил в обществе владелицы замка, а при ней часы летели незаметно. Умудриться продержаться умного человека целый месяц в деревне, как это сделала г-жа де Монкорне, и ни разу не заметить на его лице натянутой улыбки, ни разу не поймать подавленный зевок — признаков утомления и скуки, которую никак не скроешь, — это величайшее торжество для женщины. Чувство, прошедшее подобный иску́с, должно быть вечным. Непонятно, почему женщины не прибегают к такому испытанию своих возлюбленных: человеку глупому, эгоистичному и недалеко от него не выдержать. Сам Филипп II, этот Александр по части скрытности, и тот выдал бы свои тайны, если бы ему пришлось провести месяц в деревне с глазу на глаз с хорошенькой женщиной. Потому-то короли и живут в постоянной сутолоке и допускают к себе не более как на четверть часа.

Итак, невзирая на нежное внимание, оказанное ему одной из прелестнейших парижанок, Эмиль Блонде вновь обрел давно позабытое удовольствие от прогулок по полям и лесам и, задавшись целью обследовать долину Авоны, приказал специально приставленному к нему старшему камердинеру, по имени Франсуа, на следующее утро разбудить себя пораньше.

Авона — небольшая речка, в которую выше Куша впадает множество ручьев, частично берущих свое начало в Эгах, а сама она впадает около Виль-о-Фэ в один из крупнейших притоков Сены. Благодаря географическому положению Авоны, годной для сплава приблизительно на протяжении четырех лье, а также благодаря изобретению Жана Руве¹² леса, принадлежащие Эгам, Суланжу и Ронкеролу и раскинутые по гребню холмов, у подножия которых протекает эта очаровательная речка, приобрели большую ценность. Эгский парк занимает наиболее широкую часть долины между Авоной, окаймленной Эгским лесом, и большим почтовым трактом, который отмечен на горизонте рядом старых корявых вязов и идет по возвышенности, параллельной так называемым Авонским горам, кои и образуют первый уступ великолепного амфитеатра, именуемого Морваном.

Как ни вульгарно это сравнение, но парк, разбитый в глубине долины, похож на огромную рыбу, голова которой касается деревни Куш, а хвост — местечка Бланжи, поскольку парк больше вытянут в длину, чем в ширину; посередине ширина его доходит до двухсот арпанов, к Кушу он сужается до тридцати, а к Бланжи до сорока арпанов. Быть может, самое местоположение поместя между тремя селениями, в одном лье от городка Суланжа, откуда виден этот земной рай, как раз и разожгло вражду и повело к тем эксцессам, которые придают главный интерес настоящему повествованию. Ежели этот райский уголок, вид на который открывается с большой дороги, с возвышенной части Виль-о-Фэ, вводит проезжих в грех зависти, то трудно предположить, чтобы богатые горожане Суланжа или Виль-о-Фэ оказались более добродетельными, раз они постоянно им любуются.

Без этой последней топографической детали трудно было бы понять, где были расположены и для чего предназначались четверо ворот, ведущих в Эгский парк, со всех сторон окруженный стеной, кроме тех мест, которые сама природа наметила, чтоб оттуда могли любоваться видами, и где вырыты глубокие рвы. Эти ворота — Кушские, Авонские, Бланжийские и Въездные — так удачно передают дух тех различных эпох, когда они были построены, что в интересах археологов мы опишем их, хотя бы с тою же краткостью, с какой Блонде описал Въездные ворота.

Ежедневно гуляя с графиней, знаменитый сотрудник «Журналь де Деба» по истечении недели основательно изучил и китайский павильон, и мостики, и острова, и «обитель», и швейцарскую хижину, и развалины храма, и «вавилонский» грот, и беседки — словом, все выдумки создателей сада, располагавших площадью в девятьсот арпанов. Теперь он решил прогуляться к истокам Авоны, которые генерал и графиня ежедневно расхваливали ему, каждый вечер строя планы посетить их и каждое утро забывая об этом. И в самом деле, выше Эгского парка Авона весьма напоминает горный поток. Она то вырывает себе русло между скалами, то уходит в глубокий бочаг, напоминающий чан; здесь в нее низвергаются водопадами ручьи, там расстилается она, как Луара, мягко омывая песчаные отмели и постоянно изменяя свое русло, отчего становится совершенно несудо-

12 *Изобретение Жана Руве.* — Французу Жану Руве, жившему в XVI в., приписывалось изобретение лесосплава плотами.

ходной. Блонде, уже хорошо знакомый с запутанными дорожками парка, избрал кратчайший путь к Кушским воротам. Об этих воротах необходимо сказать несколько слов, кстати дающих кое-какие исторические сведения о поместье.

Основателем Эгов был один из младших сыновей фамилии Суланжей, который разбогател благодаря женитьбе и пожелал натянуть нос старшему брату. Волшебные сады Изола-Бэлла на Лаго-Маджоре обязаны своим возникновением примерно таким же чувствам. В средние века Эгский замок стоял на Авоне. От прежнего замка сохранились только крытые ворота, похожие на те, какие бывали в укрепленных городах, с двумя сторожевыми башенками по бокам. Над сводом ворот толстая стена, поросшая выющимися растениями, прорезана тремя широкими оконными амбразурами с поперечинами. Винтовая лестница, скрытая в одной из башенок, ведет в две верхние комнатки; а во второй башенке помещается кухня. На крыше ворот, островерхой, как у всех старинных построек, — два флюгера, торчащие по обоим концам конька, украшенного причудливым кованым орнаментом. Не в каждом местечке найдется такая великолепная ратуша. Спереди на замковом камне свода еще красуется герб Суланжей, хорошо сохранившийся благодаря твердости отборного камня, на котором его запечатлел резец каменотеса: по голубому полю три серебряных посоха, все перерезано поперечной красной полосой с пятью золотыми остроконечными крестиками, и геральдический излом, присвоенный младшей линии рода. Блонде разобрал девиз «*Je soule agit*» («Я привык действовать»), один из тех каламбуров, составленных из фамильного прозвища, которыми забавлялись крестоносцы, каламбур, вызывающий в памяти прекрасное политическое правило, по несчастью, как это будет видно дальше, позабытое генералом Монкорне. Калитка, которую открыла журналисту хорошенькая девушка, была из старого потемневшего дерева, окованного в шахматном порядке кусками железа. Сторож, разбуженный скрипом петель, в одной рубашке выглянул в окно.

«Как, сторожа еще спят в эту пору?» — подумал парижанин, полагая себя великим знатоком по части охраны лесов.

После четверти часа ходьбы он достиг истоков реки на высоте Куша, и взор его был очарован одним из тех пейзажей, описанию которых, как и истории Франции, следовало бы отвести тысячу томов или один-единственный том. Удовольствуемся двумя фразами.

Пузатая скала, вся бархатная от карликовых деревьев, подточенная снизу Авоной и немного похожая благодаря своему положению на огромную черепаху, перекинутую через реку, образует арку, в пролет которой видна гладкая, как зеркало, заводь, и кажется, будто Авона уснула, но вдалеке она срывается с высоких скал бурлящими водопадами, колебля мелкий ивняк, который, как пружина, сгибается и разгибается под стремительным напором воды.

За водопадами высятся крутые обрывы каменистого холма, срезанные отвесно, словно утес на Рейне, одетые вереском и мхами и, как он, испещренные жилами сланца; кое-где из скал, пенясь, пробиваются ручьи и непрестанно орошают вечно зеленеющую лужайку, принимающую их в свое лоно; а дальше, словно для контраста с безлюдным и диким пейзажем, по другую сторону живописного хаоса за полями виднеются сады деревни Куш, колокольня и сбившиеся в кучу домики.

Вот вам две обещанные фразы, а восходящее солнце, прозрачность воздуха, сверкающую росу, гармонию воды и леса представьте себе сами!

«Красиво, честное слово! Почти так же красиво, как оперная декорация!» — мысленно воскликнул Блонде, поднимаясь вверх по течению несудоходной здесь Авоны, по сравнению с капризными излучинами которой казалось особенно прямым, глубоким и тихим русло нижней Авоны, осененное высокими деревьями Эгского леса.

Утренняя прогулка завела Блонде не очень далеко от дома — его задержал один из тех крестьян, которые играют в описываемой нами драме роль статистов, но столь необходимых для развития действия, что начинаешь колебаться, кому отдать предпочтение: им или первым персонажам.

Подойдя к группе скал, где главное русло реки как будто ущемлено между створками двери, наш остроумный писатель увидел человека, застывшего на месте так неподвижно, что уже одно это вызвало любопытство журналиста, да и самый облик и одежда этого одушевленного истукана

возбудили в нем живой интерес.

В сей скромной личности он признал одного из стариков, любезных карандашу Шарле¹³; крепостью сложения, приспособленного к любым невзгодам, он напоминал старых служак нашего солдатского Гомера, а сизо-багровой, морщинистой физиономией, отнюдь не выражавшей безропотной покорности, — его бессмертных подметальщиков улиц. Войлочная шляпа с полями, пришитыми к тулье на живую нитку, защищала от непогоды его почти лысую голову; из-под шляпы выбивались две пушистые пряди волос, и любой художник уплатил бы по четыре франка за час, только бы запечатлеть их сверкающую белизну, в точности воспроизводящую седины классического бога Саваофа. По ввалившимся щекам нетрудно было догадаться, что беззубый старец заглядывает в бочку чаще, нежели в хлебный ларь. Седая реденькая борода торчала щетиной, придавая нечто грозное его профилю. Глаза, слишком маленькие для огромного лица и поставленные наискось, как у свиньи, выражали хитрость и в то же время лень, но в настоящую минуту они словно пронизывали реку насквозь — так пристально глядел он на воду. Одет этот бедняк был в старую, когда-то синюю блузу и в штаны из грубой ткани, которая идет в Париже на обшивку клади. От его потрескавшихся деревянных башмаков — в них не было никакой подстилки, даже клочка соломы — всякий горожанин пришел бы в ужас. Несомненно, и блуза и штаны представляли некоторую ценность только для чана бумажной фабрики.

Разглядывая этого деревенского Диогена, Блонде решил, что на свете действительно существует тот тип крестьян, какой ему случалось видеть на старинных вышивках, на старинных картинках, в старинной скульптуре и до сего времени представлявшийся ему плодом художественной фантазии. Теперь он уж не мог так безусловно отвергать школу уродливого в искусстве, поняв, что красота человека — только лестное исключение, своего рода химера, в которую мы силимся верить.

«Интересно, какое у него мировоззрение, какие нравственные понятия? О чем он думает? — задавал себе вопрос Блонде, охваченный любопытством. — Неужели это существо, подобное мне? Общего у нас с ним только внешний облик, да и то!..»

Он внимательно рассматривал лицо старика, дивясь его грубой, шероховатой коже, какая бывает у людей, живущих на воздухе, привыкших ко всякой погоде: и к лютому морозу, и к палящему зною, — словом, у людей выносливых, у которых кожа словно дубленая, а нервы такие крепкие, что помогают им переносить физические страдания, не хуже чем переносят их арабы или русские.

«Вот они, куперовские краснокожие, — подумал Блонде, — незачем ездить в Америку, чтобы наблюдать дикарей».

Хотя парижанин был всего в двух шагах, старик не обернулся, продолжая смотреть на противоположный берег пристально и неподвижно, словно индийский факир, уставившийся в одну точку остекленевшими глазами и застывший в одной позе. Побужденный этим своеобразным магнетизмом, более заразительным, нежели это принято думать, Блонде в конце концов и сам устался на воду.

— Что же там, старикан, такое? — спросил Блонде по прошествии добрых пятнадцати минут, в течение которых он не заметил ничего, что бы могло оправдать столь пристальное внимание.

— Тиш! — зашипел старик, делая знак Блонде, чтоб тот не нарушил тишины. — Спугнете... — Кого?

— *Выдрю*, господин хороший, *выдрю*... Чуть голос человеческий услышит, сейчас нырь в воду... Дело ясное, куда она шмыгнула... Гляньте-ка, где вода пузырится. Это она рыбку подстерегает, а как захочет подняться кверху, мой паренек ее тут и прищучит. *Выдря*, изволите ли знать, зверюга редкостная, добыча научная и притом тонкая... Мне за нее в Эгах франков десять заплатят, по случаю, что тамошняя барынька соблюдает посты, а завтрашний день у нас постный. В прежние годы покойница барыня мне по двадцати франков платила, да еще шкуру назад отдавала!

13 «...стариков, любезных карандашу Шарле...» — Шарле Никола Туссен (1792—1845) — французский литограф и рисовальщик-баталист, известный изображениями солдатских типов.

Муш! — окликнул он шепотом, — смотри хорошенько...

И тогда на другом берегу быстротечной Авоны журналист увидел в ольховой заросли два глаза, сверкавших, как у кошки; потом разглядел смуглую рожицу и взъерошенные вихры мальчугана лет двенадцати, который, лежа на животе, знаками показывал, где притаилась выдра, и давал понять старику, что не упускает ее из виду. Поддавшись надежде, воодушевлявшей старика и мальчугана, Блонде не устоял перед бесом охоты. А этот бес, уязвляя двумя когтями — надеждой и любопытством, увлечет вас, куда захочет.

— Шкуру продают шапочникам, — продолжал старик. — Уж до того красивая, нежная! На отделку картузов она идет...

— Вы так полагаете, старикан? — с усмешкой промолвил Блонде.

— Вам, сударь, оно, конечно, лучше известно, хоть мне и стукнуло семьдесят годков, — смиренно и почтительно ответил старик, принимая позу подавальца святой воды, — и вы, пожалуй, сможете мне растолковать, почему эти картузы так любы кондукторам и винным торговцам.

Блонде, великий дока по части всякой иронии, памятуя о маршале Ришелье, уже почувствовал некоторое недоверие при словах «научная добыча» и заподозрил было насмешку, но наивные повадки и глупость, написанная на лице старого крестьянина, разуверили его.

— Когда я был помоложе, их тут водилась тьма-тьмушая, этих самых выдрей, им тут у нас приволье, — продолжал старичок. — Да уж столько их переловили, что теперь и хвоста ее за десять лет не увидишь... Зато наш *супарфект* ... Вы, может, с ним знакомы? Хоть он из Парижа, а хороший такой молодой человек, вроде вас, и очень до разных редкостей охоч. А как он знает, что я мастак ловить этих самых выдрей, — а знаю я их сестру не хуже, чем вы свою грамоту, — он мне и говорит: «Дядя Фуршон, как поймаешь выдю, тащи ее ко мне, я, мол, тебе хорошо за нее заплачу, а коли у нее спина будет серебриться, я, мол, тебе дам за нее тридцать франков». Так-то вот он и сказал мне на набережной в Виль-о-Фэ, вот те крест, не вру. Есть еще в Суланже очень ученый господин, наш доктор Гурдон, у него, рассказывают, столько собрано разных редкостей, что и в Дижоне таких не сыщешь, ну, первейший ученый в нашем краю, — он мне тоже хорошо заплатил бы!.. Он тебе любое чучело сделает, что из человека, что из зверя. Ну, а мальчонка на одном стоит: выдря с сединой... «Коли так, — говорю я, — значит, господь хочет нас сегодня побаловать». Гляньте-ка, как пузырится вода... Она тут! Хоть и земная тварь, а целыми днями сидит под водой. Ай, ай, господин хороший, услыхала, насторожилась. Нет твари хитрее ее. Хуже бабы!

— Не потому ли и зовется она в женском роде — выдрой? — спросил Блонде.

— Вам, парижанам, господин хороший, это лучше, чем нам, известно, а только для нас было бы много лучше, кабы вы сегодня подольше поспали, потому видите, какая там пошла струя? Это она низом уходит... Пропало наше дело, Муш, — выдря услышала барина, и теперь ей ничего не стоит промаять нас до полуночи... Пошли... Уплыли наши денежки!..

Муш поднялся на ноги, но с сожалением. Он все смотрел на то место, где бурлила вода, указывая на него пальцем и, видимо, не теряя окончательно надежды. Курчавый мальчуган, со смуглым, как у ангелов на картинах XV века, лицом, был в изодранных, оборванных штанах, которые доходили ему до колен и заканчивались бахромой из приставших к ним сухих листьев и хвои. Эта необходимая часть костюма держалась на двух пеньковых веревках, заменявших подтяжки. Расстегнутая на загоревшей груди рубашка была из той же холстины, что и штаны старика, но от наложенных одна на другую обтрепавшихся заплат она стала еще толще. Таким образом, Муш был одет даже проще, чем дядя Фуршон.

«Какой здесь добродушный народ, — подумал Блонде. — Житель парижского пригорода здорово отделал бы человека, вспугнувшего его дичь».

И так как ему никогда не случалось видеть выдры, даже в парижском Зоологическом саду, он был в восторге от этого происшествия, оживившего его прогулку.

— Послушайте, — сказал он, умиляясь тому, что старик уходит, ничего не попросив, — вы считаете себя отличным охотником на выдр. Если вы уверены, что она в самом деле здесь...

На том берегу Муш вытянул палец, указывая на пузырьки воздуха, которые поднимались со дна Авоны и лопались на середине речки.

— Опять вернулась, — прошептал дядя Фуршон, — опять, стерва,дохнула! Это она волдыри

пускает. И как это она ловчится дышать под водой? Ну, да это такая хитрая бестия, что ей наплевать и на науку!

— Ну что ж, — заметил Блонде, относя последнюю шутку скорее за счет общекрестьянского, нежели собственного остроумия старика, — подождите еще немного — и поймаете выдру.

— А нам с Мушем работать надо. День пропадет.

— Во сколько же вы цените свой рабочий день?

— Наш день? Подручного и мой?.. Пять франков... — ответил старик, глядя в глаза Блонде с сомнением, явно обнаруживавшим, что он здорово запросил.

Журналист достал из кармана десять франков.

— Вот вам десять, и столько же вы получите за выдру, — сказал он.

— Она вам недорого обойдется, если на спине у нее серебро: супарфект сказывал мне, что в Париже, в Зоологическом саду, только одна такая и найдется. И учен же этот супарфект, и не дурак. Покамест я охочусь за выдрей, господин де Люпо охотится за дочкой господина Гобертена, а у нее тоже, не хуже выдри, серебро — неплохое приданое. Вот что, господин хороший, не буду вами командовать, а отправляйтесь-ка вы на середку реки, вон на тот камушек... Когда мы выдру как следует припррем, она поплывет вверх по реке — такая уж повадка у этих тварей: чтобы ловить рыбу, они уходят вверх по течению, выше своей норы, потому как понимают, что, поймавши рыбу, легче будет плыть с ней по течению. И до чего же хитрые! Если бы я обучался хитрости в ихней школе, я бы сейчас жил припеваючи!.. Поздно я догадался, что надо спозаранку подыматься вверх по реке да раньше прочих хватать добычу. Меня, видно, сглазили при рождении. Ну да втроем мы авось перехитрим эту выдру.

— А каким образом, старый колдун?

— Мы, мужики, до того глупы, что под конец начинаем понимать всякую скотину. Вот как сделаем. Когда выдра захочет вернуться к себе, мы с Мушем начнем ее здесь стращать, а вы там от себя стращайте. Мы — стращать, вы — стращать, ну, она и кинется на берег, а как вылезет на землю, тут ей и конец. Потому что *эта животная* ходить-то не может, лапки у нее гусиные, ей бы только плавать. Ну и потеха пойдет! Тут тебе сразу все удовольствия: и поохотишься и порыбачишь!.. Генерал, у которого вы гостите в Эгах, три дня кряду приходил. Вот как его за живое забрало!

Блонде вооружился веткой, срезанной стариком, приказавшим ему стегать по воде, когда услышит команду, и, перескакивая с камня на камень, занял свой пост посреди Авоны.

— Вот так, тут и стойте, господин хороший...

Блонде стоял, не замечая, как бежит время, ибо старик то и дело подавал ему знаки, сулившие счастливый исход ловли; к тому же время идет особенно быстро, когда ожидаешь решительного действия, которым должно смениться глубокое безмолвие засады.

— Дядя Фуршон, — прошептал мальчик, когда они остались одни, — тут взаправду есть выдра...

— Тебе видать ее?

— Вон она!

Старик опешил, заметив под водой красно-бурую шерсть.

— Она прет на меня... — прошептал мальчуган.

— Дай ей по голове покрепче, а сам прыгай в воду и держи ее на дне, да не выпускай.

Муш прыгнул в речку, как вспугнутая лягушка.

— Живей, господин хороший! — закричал дядя Фуршон и тоже бросился в воду, скинув на берегу деревянные башмаки. — Пужайте, пужайте ее хорошенько!.. Видать вам ее? Прямиком на вас плывет.

Старик прямо по воде побежал к журналисту, крича ему с тем деловым видом, который не покидает деревенских жителей даже в минуты наибольшего возбуждения.

— Видите, вон она, плывет вдоль скалы!

Блонде, поставленный стариком так, что солнечные лучи падали ему прямо в глаза, бил по воде наугад.

— Живей, живей! Вон там — у скал! — закричал дядя Фуршон. — Там ее нора, по левую

руку от вас. Смелей, смелей, господин хороший! Тут она... Ах ты господи! Она уходит у вас промеж ног! Уходит, уходит! — в отчаянии вопил старик.

И, будто бы в пылу увлечения охотой, он бросился в самую глубь реки, к тому месту, где стоял Блонде.

— Из-за вас мы ее упустили! — проговорил дядя Фуршон, берясь за руку, протянутую ему Блонде, и вылезая из воды, словно Тритон, но Тритон, потерпевший поражение. — Она, стерва, тут, под скалой!.. Рыбу-то она бросила, — продолжал старик, смотря вдаль и указывая на что-то, плывшее по реке. — Ну, уж линия-то мы заполучим, ведь это самый настоящий линь!..

В этот момент на Кушской дороге показался скачущий верхом ливрейный лакей, с лошадыо в поводу.

— Смотрите-ка, это из замка: вас ищут, — сказал старик. — Если вам угодно перебраться через реку, беритесь за мою руку... Вымокнуть я не боюсь, по крайности без стирки дело обойдется.

— А если простудитесь? — сказал Блонде.

— Э, чего там! Разве вы не видите, что нас с Мушем насквозь солнцем прокалило, вроде как трубку старого капрала? Обопритесь об меня, господин хороший... Вы парижанин, где вам лазить по нашим камням, хоть вы и ученый барин да еще, говорят, в разных газетках пописываете. Вот поживете здесь подольше, многому научитесь, да не из книжек, а из природы...

Блонде уже выбрался на берег, когда выездной лакей Шарль заметил его.

— Ох, сударь, вы и представить себе не можете, до чего волнуется барыня; им сказали, что вы вышли через Кушские ворота, вот они и боятся, что вы утонули. Приказали уже в третий раз изо всей мочи к завтраку звонить, уже весь парк обегали, а господин кюре все еще вас там ищет.

— Который же теперь час, Шарль?

— Без четверти двенадцать.

— Помоги мне сесть в седло...

— Может, сударь, вы ненароком попались на выдру дяди Фуршона? — спросил лакей, заметив, что с ботинок и панталон Блонде стекает вода.

Этот вопрос все разъяснил журналисту.

— Никому ни слова, Шарль, и я тебя не забуду! — воскликнул он.

— А что тут такого! Сам господин граф попались на выдру дяди Фуршона, — ответил лакей. — Стоит только приехать в Эги гостю, дядя Фуршон уж тут как тут — подкарауливает и, как только приезжий пойдет посмотреть на Авонские ключи, непременно продаст ему свою выдру... Он до того ловко разыгрывает комедию, что их сиятельство три раза приходили сюда и уплатили ему за шесть рабочих дней, а всего-то и работы было, что в три пары глаз глядели, как бежит река.

«А я-то, — мысленно воскликнул Блонде, — воображал, что Потье, Батист-младший, Мишо и Монроз — лучшие актеры нашего времени. Что они в сравнении с этим оборванцем!»

— Дядя Фуршон здорово на этих самых выдрах наловчился! — продолжал Шарль. — Впрочем, на выдру надеется, а сам тоже не плошает — веревочным делом занимается. У него мастерская у самых Бланжийских ворот. Только уж лучше подальше от его веревок: он вас так заговорит, что вам захочется самому повертеть колесо и насучить хоть сколько-нибудь веревок; а тогда он потребует с вас плату за обучение. Графиня на этом попалась и выложила ему двадцать франков. Первейший ловкач! — добавил Шарль, пользуясь благопристойным словом.

Болтовня лакея навела Блонде на размышления о глубоком коварстве крестьян, воскресив в его памяти все слышанное от отца, судьи в Алансоне. Затем он припомнил шуточки дяди Фуршона, скрытые под личиной лукавой прямоты, а теперь освещенные разоблачениями Шарля, и сознался, что старый бургундский попрошайка обвел его вокруг пальца.

— Вы и не представляете, сударь, как надо всего остерегаться в деревне, — сказал Шарль, когда они уже подъезжали к крыльцу, — а в особенности здесь... Ведь его превосходительство у нас недолгобливают...

— А почему?

— Откуда же мне знать?.. — ответил Шарль, сразу приняв тот глуповатый вид, которым слуги обычно прикрывают свое нежелание отвечать господам, что навело Блонде на серьезные размышления.

— Вот и вы наконец, гуляка! — воскликнул генерал, вышедший на крыльцо, заслышав стук копыт. — Не волнуйтесь! Нашелся! — крикнул он жене, которая уже спешила навстречу Блонде. — Теперь не хватает только аббата Бросета. Шарль, пойди поищи его, — сказал он слуге.

III ТРАКТИР

Ворота, под названием Бланжийских, построенные иждивением Буре, представляли собой два отделанных рустикой пилястра, каждый с навершьем в виде каменной собаки на задних лапах, держащей в передних лапах гербовый щит. Близость домика управляющего избавила откупщика от необходимости строить сторожку для привратника. Между пилястрами красуется богатая кованая решетка, вроде той, что была заказана во времена Бюффона для парижского Зоологического сада; ворота выходят на мощеную дорогу, а та выводит на кантональный тракт, который заботливо поддерживали Суланжи, прежние владельцы Эгов; тракт соединяет Куш, Сернэ, Бланжи и Суланж с Виль-о-Фэ как бы гирляндой — так много на этой дороге живописных усадеб, окруженных живыми изгородями, и домиков, утопающих в розах, жимолости и вьющихся растениях.

Возле Бланжийских ворот около красивой стены, обрывающейся у глубокого рва, что дает возможность любоваться из замка видом на долину значительно дальше Суланжа, стоит подгнивший столб со старым колесом и рядом колышков на манер грабель — все несложное оборудование деревенской веревочной мастерской.

В первом часу дня, когда Блонде, усаживаясь за стол напротив аббата Бросета, выслушивал ласковые упреки графини, дядя Фуршон и Муш подходили к своему заведению. Устроив у Бланжийских ворот веревочную мастерскую, дядя Фуршон получил возможность наблюдать за Эгами и видеть всех входящих в замок и выходящих оттуда. Открывались ли ставни, прогуливался ли кто-нибудь вдвоем по парку — любое самое незначительное событие в жизни замка не ускользало от старого соглядатая, только три года назад занявшегося витьем веревок, на что, как на малосущественное обстоятельство, еще не обратили своего внимания ни эгские сторожа, ни слуги, ни хозяева.

— Прогуляйся-ка через Авонские ворота в замок, покуда я натяну нашу снасть, — промолвил дядя Фуршон. — Набреши господам с три короба, ну, они и пошлют за мной в «Большое-Упоение» — я схожу туда промочить глотку. Страсть как хочется выпить, когда столько времени пробарахтаешься в воде! Коли ты возьмешься за дело, как тебе сказано, — заработаешь в замке хороший завтрак. Постарайся увидеть графиню, да напирай на меня — пускай господа меня умумразуму поучат... Так-то! Глядишь, пропустим стаканчик-другой хорошего винца!

Дав эти последние наставления, собственно, излишние, судя по лукавому взгляду Муша, старый веревочник, с выдрой под мышкой, удалился по кантональному тракту.

В ту пору, когда Эмиль Блонде гостил в Эгах, на полпути между Бланжийскими воротами и деревней стоял один из тех домов, какие можно видеть только во Франции и только там, где камень — большая редкость. Основательные, хотя и попорченные непогодой стены были сложены из кое-где подобранных обломков кирпича и булыжника, прочно вделанных в глиняную массу, словно бриллианты в оправу. Крыша, крытая соломой и тростником по стропилам из тонких жердей, грубо сколоченные ставни, дверь — все говорило о счастливых находках или выклянченных подарках.

Крестьянин так же инстинктивно привязан к своему жилью, как зверь к своему гнезду или норе, и эта привязанность сквозила во всем устройстве лачуги. Начать с того, что окно и дверь выходили на север. Место для дома, стоявшего на небольшой возвышенности и на самом каменистом участке годной для виноградника земли, было, без всякого сомнения, выбрано удачно. К дому вели три ступени, искусно сделанные из досок и колышков и засыпанные щебнем. Вода по склону стекала не задерживаясь. Кроме того, в Бургундии редко дует северный ветер, нагоняющий дождевые тучи, а следовательно, фундамент не мог развалиться от сырости, как бы он ни был непрочен. Внизу, вдоль тропинки, тянулся грубый частокол, скрытый за живой изгородью из боярышника и ежевики. Увитая плющом решетчатая беседка, в которой были расставлены простые столы и гру-

бо сколоченные скамьи, приглашавшие путника передохнуть, закрывала своим зеленым шатром все пространство между лачугой и дорогой. Внутри ограды, по верху откоса, красовались розы, левкои, фиалки и прочие непритворливые цветы. Кусты жимолости и жасмина сплетали свои ветви над кровлей, хотя и не ветхой, но уже поросшей мхом.

Справа от дома хозяин пристроил хлев на две коровы. Утрамбованный участок земли перед этой постройкой, сколоченной из старых досок, служил двором; в углу был сложен огромной кучей навоз. По другую сторону дома и беседки стоял соломенный навес, подпертый двумя бревнами; там хранился виноградарский инструмент, пустые бочки и вязанки хвороста, наваленные вокруг выступа, образованного пекарной печью, топка которой в крестьянских домах почти всегда устроена под колпаком очага.

К дому примыкал маленький виноградник, примерно с арпан, обнесенный живой изгородью и заботливо обработанный, как у всех местных крестьян: земля была так хорошо удобрена, лозы так умело посажены и окопаны, что ветви их начинают зеленеть первыми на три лье в округности. За тою же оградой кое-где покачивались жидкие верхушки фруктовых деревьев — миндальных, абрикосовых и слив. Между виноградными лозами обычно сажали картофель и бобы. Кроме того, к усадьбе принадлежал еще расположенный позади двора и вытянутый по направлению к деревне участок, сырой и низменный, удобный для разведения излюбленных овощей рабочего люда — капусты, чеснока и лука — и огороженный плетнем с широкой калиткой, в которую проходили коровы, мяся копытами землю и роняя по пути навозные лепешки.

В нижнем этаже дома, выходящего на виноградник, было две комнаты. Со стороны виноградника к стене была прилажена деревянная лестница под соломенным навесом, которая вела на чердак, освещавшийся слуховым окошком. Под этой грубой лестницей в погребе, целиком сложенном из бургундского кирпича, хранилось несколько бочек с вином.

Хотя в крестьянском обиходе для стряпни обычно употребляют только два предмета — сковороду и котел, — в этой лачуге в виде исключения имелись еще две огромные кастрюли, подвешенные под колпаком очага над переносной плиткой. Несмотря на такой признак зажиточности, вся обстановка соответствовала внешнему виду дома. Вода хранилась в глиняном кувшине, столового серебра в доме не водилось — ложки были из дерева или оловянные, тарелки и блюда фаянсовые, темные снаружи и белые изнутри, все облупившиеся и скрепленные проволокой; вокруг основательного стола — некрашенные стулья, пол — земляной. Каждые пять лет стены белились, равно как и жиденькие балки потолка, к которым были подвешены куски свиного сала, вязанки лука, пакеты со свечами и мешки для зерна; в древнем ореховом шкафу, стоявшем рядом с хлебным ларем, лежало кое-какое белье, сменное платье и праздничная одежда всей семьи.

Над колпаком очага поблескивало настоящее браконьерское ружье, за которое вы не дали бы и пяти франков: ложе у него какое-то обгорелое, ствол с виду неказист и, по-видимому, давно не чищен. Правда, для охраны такой лачуги, запирающейся на простую щеколду и отделенной от дороги низким частоколом с калиткой, всегда открытой настежь, и такое ружье излишняя роскошь, так что невольно возникает вопрос, к чему оно здесь. Но, во-первых, хотя ложе его не представляет ничего особенного, ствол подобран заботливо и, по-видимому, снят с дорогого ружья, выданного, должно быть, в свое время сторожу. Во-вторых, владелец этого ружья никогда не дает промаха: он так же сжился со своим оружием, как рабочий со своим инструментом. Если надо взять на миллиметр выше или ниже цели, браконьер хорошо знает, насколько от этой ничтожной разницы ружье обвысит или обнизит, и безошибочно следует этому закону. Кроме того, артиллерийский офицер мог бы констатировать, что все существенные части ружья в полной исправности, все налицо и ничего лишнего. Крестьянин не расходует зря своих сил; на все, что ему принадлежит, чем он пользуется, он затрачивает ровно столько энергии, сколько нужно, и ни капли больше. За особой красотой он не гонится. Зато в насущных делах он — непогрешимый судья, он умеет соизмерять свои силы и, работая на нанимателя, старается отдать возможно меньше труда за возможно большую плату. Коротко говоря, это неказистое ружье играет видную роль в жизни семьи, и вы скоро узнаете, какую именно.

Достаточно ли подробно описал я вам эту лачугу? Можете ли вы представить себе, как она притулилась в пятистах шагах от живописных ворот Эгского замка, словно нищий перед дворцом?

Так вот, вся эта сельская идиллия — крыша, поросшая бархатистым мхом, кудахтающие куры, валяющаяся свинья, — вся эта сельская идиллия была исполнена страшного смысла. На верхушке длинного шеста возле калитки висел высохший букет из трех еловых ветвей и пучка дубовых листьев, перевязанных тряпочкой. Над этой же калиткой бродячий живописец за бесплатный завтрак вывел на белой дощечке размером в два квадратных фута зеленую заглавную букву «У», а для людей, знающих грамоту, начертал следующий каламбур в четырнадцать букв: «*Большое-У-поение*». Слева от калитки сверкала яркими красками примитивная вывеска с надписью «Лучшее мартовское пиво»; тут же была изображена огромная кружка пенящегося пива, а по обе ее стороны две фигуры — женщина в чрезмерно декольтированном платье и гусар, оба весьма грубо намаленные. Невзирая на цветы и деревенский воздух, из лачуги несло тем же крепким и противным запахом вина и всякой снеди, который ударяет вам в нос, когда вы проходите мимо харчевни где-нибудь на окраине Парижа.

Теперь вы знакомы с местом действия. А вот вам и люди, вот вам их история, весьма поучительная для филантропов.

Хозяин «Большого-У-поения», Франсуа Тонсар, предлагается вниманию философов в силу открытого им способа бездельничать за работой, обращая безделье в доходную статью, а работу сводя к нулю.

Он был мастер на все руки, умел возделывать и землю, но только для себя. Для других он копал канавы, вязал хворост, рубил лес и обтесывал деревья. При этих работах наниматель всецело в руках у работника. Своим клочком земли Тонсар был обязан щедротам мадмуазель Лагер. С самых ранних лет он работал поденно у садовника замка, так как не имел себе равного в искусстве подстригать деревья в аллеях, грабовые беседки, живые изгороди и индейские каштаны. Талант этот был у него в роду. В деревенской глуши тоже существуют привилегии, причем их завоевывают и отстаивают с тем же искусством, с каким добиваются своих привилегий купцы. Однажды, прогуливаясь по парку, мадмуазель Лагер услышала, как Тонсар, в те годы статный парень, говорил: «А мне с лихвой хватило бы арпана, чтобы прожить, и не как-нибудь, а припеваючи». Добрая женщина, привыкшая благодетельствовать, дала ему поблизости от Бланжийских ворот арпан виноградника за сто рабочих дней (плохо оцененная деликатность!), разрешив по-прежнему оставаться в Эгах, где он жил вместе с прислугой, в глазах которой был лучшим во всей Бургундии парнем.

Бедняга Тонсар (так называли его все!) отработал примерно тридцать дней из числившихся за ним ста; остальное время он провалялся, шутя шуточки с женской прислугой владелицы поместья, и преимущественно с ее горничной, мадмуазель Коше, хотя она и была некрасива, как все горничные красивых актрис. Шуточки его с мадмуазель Коше заходили так далеко, что Судри, тот счастливый жандарм, о котором упоминал в своем письме Блонде, даже по прошествии двадцати пяти лет косо поглядывал на Тонсара. Ореховый шкаф, кровать с колонками и занавесочками, украшавшие его спальню, были, надо думать, результатом таких шуточек.

Получив участок, Тонсар первому же человеку, упомянувшему, что виноградник подарен ему мадмуазель Лагер, сказал:

— Черт меня побери, я за него заплатил, и недешево! Когда это господа нам что-нибудь дали? Даром я, что ли, сто дней работал? Участок обошелся мне в триста франков. А что тут? — голый камень!

Разговор этот не дошел до господских ушей.

Тонсар собственноручно выстроил дом, беря материалы то там, то здесь, получая подмогу то от того, то от другого, потаскивая из замка всякий ненужный хлам или выклянчивая его. Старую дверь садовой беседки, разобранный для переноски на другое место, он приспособил к своему коровнику. Окно взял из прежней уничтоженной теплицы. Итак, на сооружение этой роковой лачуги пошли обломки замка.

Спасенный от солдатчины сыном общественного обвинителя в местном департаменте — Гобертоном, который был эгским управляющим, а кроме того, не мог ни в чем отказать мадмуазель Коше, Тонсар, покончив с постройкой дома и устройством виноградника, тут же и женился. Двадцатитрехлетний парень, свой человек в Эгах, плут, только что получивший от мадмуазель Лагер

арпан земли и слывший хорошим работником, сумел выставить в благоприятном свете свои отрицательные достоинства и заполучил в жены дочь фермера из ронкерольских владений, расположенных по ту сторону Эгского леса.

Этот фермер арендовал землю исполу; ферма приходила в упадок за отсутствием хозяйки. Будучи неутешным вдовцом, он пытался, следуя английскому методу, утопить свое горе в вине. Но когда он уже перестал вспоминать о своей дорогой покойнице, то, как шутили в деревне, оказался женатым на бутылочке и вскоре снова превратился из фермера в батрака, но в батрака-пьяницу и лентяя, злобного и сварливого, способного на все, как это обычно бывает с людьми из простонародья, после некоторой обеспеченности снова впавшими в жестокую нужду. Этого человека, который по своим практическим знаниям, грамотности и начитанности стоял значительно выше обычных батраков, пороки довели до полной нищеты; но только что мы были свидетелями позабытой Вергилием буколической сцены на берегу Авоны, во время которой старый пьянчуга померился силами с одним из остроумнейших людей Парижа.

Дядя Фуршон проработал некоторое время школьным учителем в Бланжи, но потерял это место вследствие дурного поведения и своеобразных взглядов на народное образование. Он больше помогал ребятишкам делать из страниц букварей кораблики и петушков, нежели обучал их чтению; а когда они воровали фрукты, бранил их так оригинально, что его наставления могли сойти за уроки, как перелезать через заборы. В Суланже до сих пор пересказывают его ответ опоздавшему в школу мальчугану, который пробормотал в свое оправдание:

— Да я, господин учитель, гонял по воду телянков.

— Надо говорить: «телят», *животная* !

Из учителей он пошел в почтальоны. На этом посту — обычном прибежище старых солдат — дядя Фуршон ежедневно подвергался выговорам. То он забывал письма где-нибудь в кабаке, то подолгу таскал их в своей сумке. Подвыпив, он относил письма, предназначавшиеся одному селению, в другое, а в трезвом виде читал их. Поэтому его скоро уволили. Не преуспев на государственном поприще, дядя Фуршон в конце концов обратился к производственной деятельности. В деревнях неимущие всегда занимаются каким-нибудь ремеслом, и таким образом все они как будто находят источник честного существования. На шестьдесят девятом году старик принялся за кустарную выделку веревок, ибо этот промысел требует самых ничтожных предварительных затрат. Для мастерской, как мы видели, достаточно первой попавшейся стены, оборудование стоит не дороже десяти франков, подмастерье и хозяин ночуют где-нибудь в сарае и проедают то, что выручат за день. Алчность казны, установившей налог на окна и двери, теряет всякую силу для производства, действующего под открытым небом. Сырье берется взаймы и возвращается в виде готового изделия. Но главным доходом дяди Фуршона и его подручного Муша, незаконного сына одной из его незаконных дочерей, была «охота» на выдр да бесплатные завтраки и обеды, которыми их кормили люди неграмотные, прибегавшие к талантам дяди Фуршона, когда им нужно было ответить на письмо или представить счет. Наконец, он умел играть на кларнете и совместно со своим другом, прозывавшимся Вермишелем, скрипачом из Суланжа, выступал на деревенских свадьбах или на больших балах в местном «Тиволи».

По-настоящему Вермишеля звали Мишель Вер, но каламбур, составленный из его имени и фамилии, настолько привился, что даже судебный пристав суланжского мирового суда Брюне писал в своих актах: «Мишель Жан-Жером Вер, по прозвищу Вермишель, понятой». Вермишель, которого очень ценили как скрипача в старом бургундском полку, в благодарность за услуги дядюшки Фуршона выхлопотал и ему должность понятого, обычно достающуюся в деревне тому, кто умеет подписать свое имя. Таким образом, дядя Фуршон прикладывал свою руку в качестве понятого или свидетеля к судебным актам, которые г-н Брюне составлял в селениях Сернэ, Куш и Бланжи. Вермишель и Фуршон, уже двадцать лет связанные собутыльничеством, можно сказать, являлись общественной необходимостью.

Муш и Фуршон, которых соединил порок, как Ментора и Телемака¹⁴ некогда соединяла добродетель, странствовали вроде этих героев древности в поисках хлеба насущного, «panis

¹⁴ Ментор и Телемак — герои поэмы Гомера «Одиссея» Ментор — наставник Телемака, сына Одиссея.

angelorum»¹⁵, — единственные латинские слова, еще сохранившиеся в памяти старого деревенского Фигаро. Они подъедали остатки в «Большом-У-поении» и окрестных поместьях, ибо даже в те годы, когда было много заказов, в самые удачные годы, в среднем никогда не могли выработать и трехсот шестидесяти сажень веревки. Прежде всего ни один торговец на двадцать лье в округе не доверил бы пеньки ни Фуршону, ни Мушу. Опережая чудеса современной химии, старик отлично умел превращать пеньку в благословенный сок винограда. Да кроме того, тройные обязанности — общественного писца в трех сельских общинах, понятого при мировом суде и кларнетиста — сильно мешали, как он сам говорил, развитию его коммерческой деятельности.

Таким образом, Тонсар, льстивший себя приятной надеждой приобрести некоторое благосостояние, увеличив свой участок, обманулся в ожиданиях; зять лентяй столкнулся с тестем бездельником — случай довольно обычный. Ухудшению дел, несомненно, способствовало еще и то, что Тонсарша, красавица в деревенском вкусе, высокая и статная, не любила работы на открытом воздухе. Тонсар злился на жену за отцовское разорение и весьма дурно с ней обращался, вымещая на ней свои неудачи, что очень свойственно простому народу, который видит только следствие и редко додумывается до причины.

Находя, что супружеская цепь тяжеловата, Тонсарша постаралась сделать ее полегче. Она воспользовалась пороками Тонсара и забрала его в руки. Сама сластена и любительница спокойной жизни, она и в муже поощряла лень и обжорство. Прежде всего она снискала расположение генеральских слуг, и Тонсар, удовлетворявшийся результатами, не стал упрекать ее за средства, к каким она прибегала. Его очень мало беспокоило, что делает его жена, раз ее дела идут ему на пользу. На подобных тайных соглашениях построена добрая половина всех супружеств. И вот Тонсарша открыла кабачок «Большое-У-поение», куда зачастили и охотники, и лесники, и эгская прислуга.

Управляющий мадмуазель Лагер, Гобертен, один из первых клиентов красавицы Тонсарши, подарил ей для привлечения посетителей несколько бочек превосходного вина. Эти подношения, поступавшие регулярно, пока управляющий оставался холостым, а также слава о сговорчивости и красоте хозяйки, распространившаяся среди местных донжуанов, сильно увеличили клиентуру «Большого-У-поения». Тонсарша, сама любившая покушать, научилась прекрасно готовить, и, хотя ее таланты могли проявляться лишь на деревенских кушаньях: на заячьем рагу, соусе из дичи, рыбе по-матросски и яичницах, — она прослыла во всей округе великой мастерицей стряпать всякие горячие закуски, благодаря чрезмерному количеству пряностей вызывающие усиленную жажду. Не прошло и двух лет, как жена забрала Тонсара в руки и толкнула его на ту опасную наклонную дорожку, по которой он и сам готов был покатиться.

Этот бездельник самым беззастенчивым образом занимался браконьерством. Связи его жены с управляющим Гобертеном, с лесными сторожами и сельскими властями, а также временно ослабленный надзор обеспечивали Тонсару полную безнаказанность. Когда его дети подросли, он и их обратил в средство наживы, проявляя так же мало щепетильности в своих взглядах на их поведение, как и на поведение жены. У него было два сына и две дочери. Беспечной жизни Тонсара, который, как и его жена, жил изо дня в день, весьма скоро пришел бы конец, если бы он не ввел в доме своего рода воинскую повинность — работать на поддержание его личного благополучия, в котором, впрочем, имела свою долю и вся семья. К тому времени, когда дети были выращены за счет тех, у кого жена его умела вытягивать подарки, основные законы и бюджет «Большого-У-поения» складывались так: старуха мать Тонсара и две его дочери — Катрин и Мари — ходили в лес два раза в день и возвращались оттуда, согнувшись в три погибели под тяжестью огромной вязанки хвороста, доходившей до самых пяток и торчавшей на два фута выше головы. Сверху вязанки, правда, всегда лежал сухой хворост, зато внутри частенько были припрятаны срубленные молодые деревца. Тонсар в полном смысле слова запасался дровами на зиму в Эгском лесу. Отец и оба сына занимались браконьерством. С сентября по март Тонсар продавал зайцев, кроликов, куропаток, дроздов и косуль — всю дичь, которая не пошла на собственную кухню, — в Бланжи и в Суланже, кантональном центре, куда обе дочери Тонсара поставляли молоко, ежедневно узнавая

15 Хлеб ангелов (лат.).

там новости взамен тех, что они привозили из Эгов, Сернэ и Куша. Когда уже нельзя было стрелять дичь, отец и оба сына ставили силки. Если охота была удачна, Тонсарша приготавливала паштеты и отсылала их на продажу в Виль-о-Фэ. В пору жатвы семь Тонсаров — старуха мать, оба сына, пока им не исполнилось семнадцати лет, обе дочери, старик Фуршон и Муш — подбирали на полях колосья и ежедневно приносили домой до шестнадцати буасо ржи, ячменя, пшеницы — словом, всякого зерна, годного на муку.

Обе коровы, которых сначала пасла по обочинам дорог младшая из дочерей, постоянно заходили в эгские луга; если казенные стражники или помещичьи сторожа, при всем своем добром желании не заметить потравы, все же ловили детей на месте преступления, родители колотили ребят или лишали лакомых кусочков, а поэтому у молодых Тонсаров выработалась совершенно исключительная способность издали различать шаги приближающихся врагов, и никогда уже их не захватывали с поличным. К тому же дружеские связи Тонсара и его супруги с достойными должностными лицами затуманивали последнее зрение. Коровы, привязанные на длинных веревках, при первом же окрике послушно возвращались на общественное пастбище, нисколько не сомневаясь, что по миновании опасности смогут продолжать даровую трапезу на соседском лугу. С тех пор как Фуршон взял к себе своего незаконного внука Муша под предлогом его воспитания, коров пасла старуха Тонсар, дряхлевшая все больше и больше. Мари и Катрин заготавливали в лесу сено. Они знали все места, где росла особо нежная трава, дававшая прекрасное сено, срезали ее, сушили и сносили охапками в сарай; таким путем Тонсары почти полностью обеспечивали на зиму кормом двух коров, которых в погожие дни гоняли на хорошо знакомые полянки, где трава зеленеет круглый год. В некоторых уголках Эгской долины, как и во всякой местности, со всех сторон защищенной горами, встречаются урочища, где, как в Пьемонте или Ломбардии, трава растет и зимой. Такие луга, называемые в Италии *marciti*, очень ценятся, но во Франции для них не требуется изобильного таяния снегов или льда; у нас явление это, очевидно, зависит от местных особенностей, от просачивающихся теплых вод.

За двух телят выручали обычно около восьмидесяти франков. Молоко, если отбросить период отела и отход молока на кормление телят, приносило примерно сто шестьдесят франков; кроме того, коровы снабжали хозяйство молочными продуктами. Поденной работой то там, то здесь Тонсар зарабатывал с полсотни экю¹⁶ в год.

Кухня и проданное вино давали около ста экю чистой прибыли, так как крупные угощения бывали лишь изредка и в определенные времена года, к тому же заказчики пирушек заранее предупреждали Тонсаршу и ее мужа, закупавших тогда в городе немного мяса и прочую необходимую провизию. Вино собственного виноградника в обычные годы продавалось по двадцати франков за бочку, не считая тары, суланжскому трактирщику, с которым Тонсар вел постоянные дела. В особенно урожайные годы Тонсар получал со своего арпана двенадцать бочек, но обычно не больше восьми, и половину он оставлял для продажи в трактире. В тех краях, где разводят виноград, существует обычай «добора» гроздьев, оставшихся на лозах. Такой «добор» давал семейству Тонсаров еще около трех бочек вина, ибо Тонсары, не стеснясь, пользовались этим обычаем: не успевали хозяева закончить сбор винограда, все семейство кабатчика уже было тут как тут; совершенно так же налетали Тонсары и на хлебные поля, пока снопы еще стояли в копнах и ждали, когда их вывезут. Итак, трактирщик продавал по хорошей цене от семи до восьми бочек вина как собранного с собственного виноградника, так и «добранного». Но из тех же средств «Большому-У-поению» приходилось покрывать убытки, вызванные аппетитом Тонсара и его жены, привыкших сладко есть и пить вино получше того, что шло на продажу; вино это доставлял им суланжский комиссионер в уплату за купленное у них. Следовательно, заработок семьи сводился примерно к девятистам франкам, так как, кроме всего прочего, Тонсары откармливали ежегодно двух свиней — одну для себя, другую на продажу.

Рабочему люду и всем окрестным гулякам в конце концов весьма полюбился кабачок под вывеской «Большое-У-поение» как благодаря талантам Тонсарши, так и благодаря приятельским отношениям, установившимся между семьей кабатчика и беднотой долины. Обе дочки, и та и дру-

¹⁶ Экю равнялось трем франкам.

гая замечательные красавицы, пошли по стопам матери. Да и давность существования трактира, основанного в 1795 году, окружила его в глазах сельских жителей своего рода ореолом. Все рабочие люди от Куша и до Виль-о-Фэ шли сюда, чтобы заключить сделки и послушать новости, которые выуживали дочери Тонсаров, Муш и Фуршон или рассказывал Вермишель и популярный в Суланже судебный пристав г-н Брюне, приезжавший сюда за своим понятием. Тут устанавливались цены на сено, на вино, на поденную и сдельную работу. Тонсар, безапелляционный судья во всех этих вопросах, давал советы за стаканом вина. Суланж считался городом, где местное общество развлекалось, и только, а Бланжи был средоточием торговли, хотя его и затмил главный центр, Виль-о-Фэ, за двадцать пять лет выросший в столицу этой великолепной долины. Зато в Бланжи на рыночной площади торговали скотом, всякой живностью и зерном, и по тамошним ценам равнялась вся округа.

Тонсарша, которая больше сидела дома, сохранила свежесть, белизну лица, приятную полноту и не была похожа на женщин, работающих в поле, ибо те увядают быстро, как цветы, и в тридцать лет уже старухи. И надо сказать, супруга Тонсара любила принарядиться. Правда, щегольство ее сводилось к опрятности, но в деревне опрятность в одежде — уже роскошь. Дочери, одетые лучше, чем позволяли их скудные достатки, не отставали от матери. Платья они носили относительно изящные, а белье более тонкое, чем самые зажиточные крестьянки. В праздничные дни они красовались в нарядах, добытых бог весть какими средствами. Эгская дворянка продавала им по сходной цене поношенные платья горничных, поистрепавшиеся в Париже, и, перешив их на себя, Мари и Катрин щеголяли обновами в отцовском трактире. Сестры, вольные, как цыганки, не получали ни гроша от родителей, которые давали им только кров да пищу; обе девушки и старуха бабушка спали на жалких койках на чердаке, и тут же, прямо на сене, как скотина, ночевали их братья. Ни отец, ни мать не задумывались над этой недопустимой близостью.

Железный век и век золотой более похожи друг на друга, чем это принято думать: в первом не боятся ничего, во втором боятся всего, но для общества результат, быть может, один и тот же. Присутствие старухи бабушки, вызванное скорей нуждой, нежели предосторожностью, только усугубляло безнравственность.

Недаром аббат Бросет, изучив нравы своих прихожан, высказал однажды епископу следующее глубокомысленное замечание:

— Ваше преосвященство, они все сваливают на нищету, но, право же, крестьяне боятся утратить это оправдание своей распущенности.

Хотя всем было известно, какое Тонсары бессовестное и порочное семейство, однако никто не осуждал нравов, царивших в «Большом-У-поении». Приступая к настоящему рассказу, следует раз навсегда разъяснить людям, привыкшим к крепким устоям буржуазных семейств, что в крестьянском быту не очень-то щепетильны по части морали. Родители обольщенной дочери только в том случае вызывают к нравственности, если обольститель богат и труслив. На сыновей, пока государство не отнимет их у семьи, в деревне смотрят как на средство наживы. Корысть завладела всеми помыслами крестьян, после 1789 года в особенности; им не важно, законен ли тот или иной поступок, не безнравственен ли, а только выгоден ли он для них или нет. Нравственность, которую отнюдь не следует смешивать с религией, начинается с достатка: деликатность чувств, которую мы наблюдаем в более высоких сферах, расцветает в душе человека только после того, как богатство позолотит его обстановку. Вполне честный и нравственный крестьянин — редкость. Любопытный читатель поинтересуется, почему это так. Вот основная причина, которой можно объяснить подобное положение вещей: в силу своего общественного назначения крестьяне живут чисто материальной жизнью, весьма близкой к дикарскому состоянию, чему способствует и постоянное общение с природой. Труд, изнуряющий тело, отнимает у мысли ее очищающее действие, тем более у людей невежественных. И наконец, как это высказал аббат Бросет, для крестьянина его нищета все оправдывает.

Никогда не забывая своих собственных интересов, Тонсар выслушивал жалобы каждого и руководил плутнями, выгодными для бедняков. Жена его, женщина с виду добрая, подстрекала местных мошенников своими речами и никогда не отказывала в одобрении и даже в помощи завсегдатаям трактира, что бы они ни затевали против господ. Так в этом кабаке — настоящем

осином гнезде — поддерживалась неугасимая и ядовитая, жгучая и деятельная ненависть пролетария и крестьянина к хозяину и богачу.

Благополучие Тонсаров послужило весьма дурным примером. Каждый думал, почему бы и мне, как Тонсарам, не пользоваться дровами из Эгского леса и для стряпни, и для отопления дома? Почему бы не покосить там травы для коровы и не настрелять дичи и для себя, и на продажу? Почему бы, по примеру Тонсаров, ничего не сея, не собирать урожай с чужих полей и чужих виноградников? Вот поэтому-то тайное воровство — порубка лесов и взимание налогов с чужих полей, лугов и виноградников — стало повальным явлением и вскоре превратилось как бы в законное право общин Бланжи, Куша и Сернэ, где находилось Эгское поместье. Язва эта по причинам, о которых будет сказано в свое время и в своем месте, поразила Эгское поместье гораздо сильнее, чем владения Ронкеролей и Суланжей. Не подумайте, однако, что Тонсар, его жена, дети и старуха мать в один прекрасный день сознательно решили: «Давайте жить воровством, только, чур, не попадаться». Привычка к воровству развилась у них постепенно. Сначала Тонсары стали подбавлять к хворосту несколько свежесрубленных сучьев; затем они осмелели, воровство стало для них делом привычным, а кроме того, они узнали, что никто их не поймает, так как попустительство входило в планы, которые раскроются в ходе рассказа, и за двадцать лет семейство кабатчика научилось «промышлять» себе дрова, да и вообще почти все нужное для жизни. Началось с потрав, потом пошли злоупотребления при «доборе» колосьев и винограда. А раз уж эта семейка и все прочие местные лодыри вошли во вкус четырех прав, завоеванных деревенской беднотой, нередко превращавшей их в открытый грабеж, то ясно, что отступить от этих обычаев могла заставить только сила, превосходящая дерзость крестьян.

К тому времени, как начинается этот рассказ, Тонсару было лет пятьдесят; это был рослый и сильный мужчина, склонный к тучности, с черными курчавыми волосами, кирпично-красным лицом, усеянным лиловатыми пятнышками, глазами янтарного оттенка и оттопыренными ушами с широкой кромкой; рыхлый с виду, он отличался, однако, крепким телосложением; лоб у него был вдавленный, нижняя губа тяжело отвисла. Он скрывал свой истинный характер под личиной глупости, сквозь которую иногда поблескивал здравый смысл, походивший на ум, тем более что от тестя он перенял «подковыристую» (пользуясь словарем Фуршона и Вермишеля) речь. Приплюснутый нос, как бы подтверждающий поговорку «бог шельму метит», наградил Тонсара гнусавостью, такой же, как у всех, кого обезобразила болезнь, сузив носовую полость, отчего воздух проходит в нее с трудом. Верхние зубы торчали вкривь и вкось, и этот, по мнению Лафатера¹⁷, грозный недостаток был тем заметнее, что они сверкали белизной, как зубы собаки. Не будь у Тонсара мнимого благодушия бездельника и беспечности деревенского бражника, он навел бы страх даже на самых непроницательных людей.

Если портретам Тонсара и его тестя и описанию кабачка отведены первые же страницы нашего повествования, то поверьте, что и Тонсар, и кабачок, и вся семейка занимают по праву это место. Прежде всего так обстоятельно обрисованный быт Тонсаров типичен для ста других крестьянских семейств, живущих в Эгской долине. Затем Тонсар, хотя он являлся только орудием в руках тех, кого снедала люта и глубокая ненависть, имел огромное влияние на ход предстоящей битвы, так как был главным советчиком всех недовольных крестьян. В кабачок его, как это будет видно в дальнейшем, постоянно сходились все жаждущие боя, а сам он сделался их предводителем в силу страха, какой внушал местным жителям, и не столько своими делами, сколько тем, что от него можно было ждать чего угодно. Угрозы этого браконьера вызывали такой страх, что ему никогда не приходилось их осуществлять.

У всякого явного или тайного восстания есть свое знамя. Знаменем мародеров, бездельников и пьянчуг стал грозный шест у калитки «Большого-У-поения». В трактире было весело, а веселье — редкая утеха, к которой стремятся как в городе, так и в деревне. Кроме того, на всем кантональном тракте длиною в четыре лье, иначе говоря, на протяжении трех часов езды, если ехать с поклажей, не было другого питейного заведения. Поэтому все, направлявшиеся из Куша в Виль-о-

¹⁷ *Лафатер* Иоганн-Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, создатель физиогномики — теории, устанавливающей связь характера с наружностью человека.

Фэ, непременно заворачивали в «Большое-У-поение» хотя бы для того, чтобы подкрепиться. Там часто бывали и эгский мельник, выполнявший обязанности помощника мэра, и его молодцы. Даже графские лакеи не брезговали этим вертепом, которому дочери Тонсара придавали много привлекательности, и через прислугу в трактире «Большое-У-поение» становилось известным все, что было известно самой прислуге, связывавшей замок с трактиром невидимыми нитями. Хотя ты осыпь прислугу милостями, хоть ты озолоти ее, она всегда будет держать руку народа. Дворян выходит из народа и стоит на его стороне. Этой же круговой порукой объясняется та недомолвка, которая проскользнула в последних словах выездного лакея Шарля, сказанных им журналисту у подъезда замка.

IV ДРУГАЯ ИДИЛЛИЯ

— Ах, черт вас побери, папаша! — воскликнул Тонсар, увидя входящего тестя и полагая, что он появился к нему на голодный желудок. — Раненько вы сегодня разинули пасть! Ничего здесь про вас не припасено... А как поживают ваши веревки? Просто даже удивительно, с вечера будто невесть сколько их приготовите, а наутро, глядишь, всего ничего! Давно бы вам пора свить веревочку покрепче да отправиться отдыхать на погост. Уж больно дорого вы нам обходитесь.

Мастеровой и крестьянин любят меткую шутку, сдобренную крепким словом и без утайки выражающую мысль. В салонах тоже любят шутить. Только грубую выразительность там заменяют остроумием — вот и вся разница.

— Никаких папашей, — процедил старик, — разговаривай со мной, как с гостем. Подайте-ка мне бутылочку лучшего вина!

Говоря так, Фуршон стукнул блеснувшей, будто солнце, в его руке пятифранковой монетой по дрянному столу, к которому он присел; на стол этот страшно было глядеть, такой он был засаленный, весь в черных прожогах, винных пятнах и зарубинах. Услышав, как звякнула монета, Мари Тонсар, созданная точно пиратский корвет для захвата «купцов», бросила на деда хищный взгляд, искрой сверкнувший в ее голубых глазах. Тонсарша, привлеченная звоном серебра, вышла из спальни.

— Вечно ты к отцу придираешься, — напустилась она на Тонсара. — А ведь он, почитай, уже год, как хорошо зарабатывать стал; дай-то бог, чтобы честным путем! А ну, покажи... — сказала она, подскочив к Фуршону и вырвав у него из рук монету.

— Пойди посмотри, Мари, — важно сказал Тонсар, — там на верхней полке еще осталось бутылочное вино.

Вино в деревне все одинаково по качеству, но одно и то же вино продается там в виде двух сортов: то как разливное, то как бутылочное.

— Откуда это у вас? — спросила Тонсарша отца, пряча монету в карман.

— Филиппина, ты плохо кончишь! — сказал старик, качая головой и не пытаясь вернуть свои деньги.

Фуршон, конечно, давно понял, что бороться с таким страшным зятем и дочерью бесполезно.

— Вот и еще за одну бутылочку вы с меня сто су взяли, — промолвил он с горечью, — ну, да это последняя! Перейду от вас в «Кофейню мира».

— Молчи, папаша, — возразила пышная, белотелая трактирщица, похожая на римскую матрону, — Тебе рубашка нужна, чистые штаны, новая шляпа, да и жилетку носить не мешало бы!

— Сколько раз я тебе говорил, что это для меня разорение! — воскликнул старик. — Будут думать, что я богат, и никто ничего не подаст.

Появление белокурой Мари с бутылкой вина прервало красноречие старика, принадлежавшего к той породе людей, которые не боятся слов и высказывают любую мысль, как бы ужасна она ни была.

— Ну, так как же, не скажете, откуда у вас деньги берутся? — спросил Тонсар. — Мы бы тоже не прочь!..

Продолжая налаживать силок, свирепый трактирщик исподтишка приглядывался к тестю и

вскоре усмотрел, что у старика в кармане штанов обрисовывается толстый кружок второй пяти-франковой монеты.

— За ваше здоровьице!.. Богатеем понемножку, — промолвил дядя Фуршон.

— Кабы вы захотели, вы бы давно разбогатели, — сказал Тонсар, — смекалки у вас хватит!.. Да только вот горе: черт наградил вас уж очень широкой глоткой, все в эту дыру и уходит!

— Ну, так и быть, скажу. Я поймал на выдрю того барина, что приехал в замок из Парижа, — вот и все.

— Кабы побольше народу приезжало смотреть на Авонские ключи, вы бы, дедушка Фуршон, богачом стали, — сказала Мари.

— Да, верно, — ответил старик, допивая бутылку. — Только вот, играючи с выдрами, я до того доигрался, что они осерчали, и одна кинулась мне прямо под ноги, теперь с нее поболе двадцати франков барыша будет.

— Бьюсь об заклад, папаша, что вы смастерили свою выдру из пакли? — сказала Тонсарша, лукаво поглядывая на отца.

— Дай мне крепкие штаны и помочи с каемкой, чтобы не очень срамить Вермишеля на подмостках в «Тиволи», — потому как дядя Сокар всегда на меня ворчит, — и я тебе, дочка, оставлю монету; это ты с паклей хорошо придумала. Может, гость из замка опять на эту удочку пойдет, — пожалуй, он с того случая приохотился к выдрам!

— Сходи-ка принеси нам еще бутылочку, — сказал Тонсар дочери. — Кабы у папаши действительно была выдра, он показал бы ее, — продолжал трактирщик, обращаясь к жене и стараясь подзадорить Фуршона.

— Побайваюсь я, как бы она не попала на жаркое к вам в печку! — ответил старик, устремив на дочь маленькие зеленые глазки и подмигивая ей. — Филиппина уже стибрила мою монетку. А сколько вы у меня их повытягивали, этих самых монеток, то на кормежку, то на одежду!.. А все меня попрекаете: и пасть-то я разинул, и хожу-то я оборванцем.

— Продали же вы, папаша, свое последнее платье, чтобы попить «горячительного» в «Кофейне мира»? — сказала Тонсарша. — Недаром же Вермишель хотел вам помешать...

— Вермишель?.. А кого же я угощал? Нет, Вермишель не способен предать своего друга. Нет, это сделала его шестипудовая старая свинья о двух ногах. И как он не совестится называть ее женой!

— Он ли, она ли, а может быть, Бонебо... — заметил Тонсар.

— Бонебо? — возмутился Фуршон. — Да он сам постоянно торчит в кофейне... Коли это сказал Бонебо, так я ему... Ну ладно же...

— Ну и что из того, что вы продали свои вещи, старый гуляка? Ну, продали и продали, вы же совершеннолетний! — продолжал Тонсар, хлопая старика по коленке. — Валяйте, не давайте спуску моим бочкам, прополощите-ка себе горлышко. Папаша госпожи Тонсар имеет на это полное право. Все лучше, чем таскать свои денежки к Сокару!

— И подумать только, что вот уже пятнадцать лет, как пляшут под вашу музыку в «Тиволи», а вы до сих пор не разнюхали, как готовится Сокар свое «горячительное», и это при вашей-то пронырливости! — выговаривала дочь отцу. — А ведь узнай вы этот секрет, мы стали бы такими же богачами, как Ригу!

В Морване и в той части Бургундии, которая протянулась у его подножия по направлению к Парижу, глинтвейн — «горячительное» вино, которым Тонсарша попрекнула дядю Фуршона, — напиток довольно дорогой, занимающий весьма видное место в жизни крестьянина; его более или менее искусно изготавливают бакалейные торговцы и содержатели питейных заведений и кофеен. Этот благословенный напиток, составленный из хорошего вина, сахара, корицы и разных пряностей, лучше всех настоек или водок, известных под названием «ратафии», «зверобоя», «перцовки», «черносмородиновой», «желудочной настойки», «анисовки», «солнечного спирта» и прочего. «Горячительное» вино встречается вплоть до самых границ Франции и Швейцарии. На Юре, в диких горных уголках, куда иной раз забредет настоящий турист, содержатели гостиниц, доверяясь словам коммивояжеров, именуют этот, кстати сказать, превосходный продукт «сиракузским вином», и всякий, кто нагуляет себе волчий аппетит, поднимаясь на вершины, с великим удовольствием

заплатит три-четыре франка за бутылку «горячительного». Морванские и бургундские жители рады любому предлогу — пустячной боли, незначительному нервному расстройству, только бы выпить «горячительного». Женщины во время, до и после родов запивают им посыпанные сахаром гренки. «Горячительное» разорило много крестьянских семейств. И не одному мужу приходилось «поучить» жену, пристрастившуюся к этому напитку.

— Э! Тут ничего не разнюхаешь! — ответил Фуршон. — Сокар всегда крепко-накрепко запирается, когда готовит «горячительное» вино. Он и своей покойнице жене ничего про это дело не открыл. Все, что ему надо, он из Парижа выписывает.

— Не приставай ты к отцу! — крикнул Тонсар. — Не знает... Ну, и не знает! Нельзя же все знать!

Фуршон сразу встревожился, заметив, как смягчились речь и выражение лица его зятя.

— Что-то ты собираешься у меня украсть! — простодушно заметил старик.

— В нажитом мною добре нет ничего незаконного, — сказал Тонсар, — и когда я у вас, папаша, что-нибудь беру, так это идет в счет обещанного вами приданого.

Фуршон, успокоенный этой грубой прямоотой, опустил голову как человек побежденный и убежденный.

— Вот славный силочек, — продолжал Тонсар, подсаживаясь к тестю и кладя ему силок на колени. — Понадобится дичь в замке, ну, мы им и продадим их же собственную. На то и господь бог, чтоб нам, беднякам, помогать...

— Крепкая работа, — сказал старик, разглядывая зловредную ловушку.

— Дайте и нам заработать, — сказала Тонсарша. — И мы, папаша, хотим получить свой кусочек от эгского пирога!

— Ох уж эти болтуны! — промолвил Тонсар. — Если я когда-нибудь угожу на виселицу, то будьте уверены, не за ружейную пулю, а за пулю, которую отошьет ваша дочка...

— Может, Эги и будут распроданы по кускам, да только вы тут ничем не поживитесь, — ответил Фуршон. — Вот уж тридцать годков, как дядя Ригу высасывает мозг у вас из косточек, а вы все еще не расчухали, что нынешние буржуа будут почище прежних господ. В этом дельце, деточки вы мои, всякие Судри, Гобертены и Ригу заставят вас поплясать под песенку «Табачок мы держим, да не про тебя!..» — любимая это песенка всех богачей. Так-то! Крестьянин навсегда крестьянином и останется! Разве вы не видите (эх, да ничего вы не смыслите в политике!..), что правительство только для того акциз на вино и накинуло, что хочет отнять у нас последние гроши, прищемить и держать в нищете? Буржуа и правительство — это все одно. Что с ними бы случилось, кабы мы все разбогатели? Сами они, что ли, стали бы пахать? Сами стали бы хлеб убирать?.. Им нужны бедняки! Я сам был богатым с десяток годков и хорошо помню, что я думал о голытьбе!..

— А все-таки надо нам с ними заодно действовать, — сказал Тонсар, — раз они намерены поделить на участки большие имения; а там мы возьмемся и за Ригу. Будь я на месте Курткюиса, которого он живьем съел, я бы уж давно рассчитался с ним другой монетой, а не той, которой платит ему этот бедняга...

— Это вы правильно, — ответил Фуршон. — Дядя Низрон один из всех еще республиканцем остался, так вот он говорит: «Жизнь у народа тяжелая, но народ не умрет — за него время!..»

Фуршон погрузился в задумчивость, и Тонсар воспользовался этим, чтобы забрать обратно свой силок; но, беря его, он улучил минуту, пока дядя Фуршон подносил стакан к губам, быстро надрезал ножницами карман его штанов и наступил ногой на монету, упавшую на сырой пол, куда посетители выплескивали подонки из своих стаканов. Эта быстрая и ловкая кража все же была бы, вероятно, замечена стариком, но как раз в эту минуту появился Вермишель.

— Тонсар, вы не знаете, где обретается папаша? — крикнул он из-за забора.

Три действия — оклик Вермишеля, кража монеты и осушение стакана — произошли одновременно.

— Здесь, ваше благородие! — отозвался дядя Фуршон и, подав руку Вермишелю, помог ему взойти на крыльцо.

Из всех бургундских физиономий самой бургундской показалась бы вам физиономия Вермишеля. Она была не то что красной, а пунцовой. На ней, как в иных местах под тропиками на зем-

ном шаре, как будто разбросаны были потухшие вулканчики, оставившие на лице какую-то зеленую плесень, которую Фуршон довольно поэтично называл «винными цветочками». В этой пламенеющей роже, с непомерно распухшими от непробудного пьянства чертами, было нечто циклопическое: правая сторона освещалась ярко сверкавшим глазом, левая же казалась в тени из-за желтоватого бельма на зрачке. Рыжие, всегда взъерошенные волосы и борода, как у Иуды, придавали Вермишелю грозный вид, хотя в действительности он был человеком кротким. Нос, трубой, походил на вопросительный знак, а рот, растянутый до ушей, казалось, всегда говорил, даже когда пребывал в закрытом состоянии.

Вермишель был невысок ростом, носил башмаки с железными подковками, плисовые штаны бутылочного цвета, старый жилет в разноцветных заплатках, как будто сшитый из лоскутного одеяла, куртку грубого синего сукна и серую широкополую шляпу. Всю эту роскошь, предписанную городом Суланжем, где Вермишель совмещал должности привратника в ратуше, барабанщика, тюремного сторожа, скрипача и понятого, поддерживала жена Вермишеля, грозная противница философии Рабле. Эта усатая и мужеподобная особа, имевшая метр в поперечнике и сто двадцать килограммов веса, но отличавшаяся большим проворством, крепко забрала в руки своего супруга; в пьяном виде он покорно терпел от нее побои, да и в трезвом не очень им противился. Поэтому-то дядя Фуршон с презрением говорил об одежде Вермишеля: «Лакейская ливрея».

— Только заговоришь о солнце, а лучи его тут как тут, — сказал Фуршон, повторяя шутку, вызванную сияющей рожей Вермишеля, в самом деле походившей на одно из тех золотых светил, какие нередко малюют на трактирных вывесках в провинции. — Ох, уж верно, мадам Вермишель заметила, что у тебя спина пыльная, вот ты и удрал от своих четырех пятых, — продолжал он, — ведь нельзя же назвать эту женщину твоей половиной? Что привело тебя сюда спозаранку, отставной козы барабанщик?

— Да все те же государственные дела! — ответил Вермишель, явно привыкший к подобным шуткам.

— Так-с, стало быть, торговые делишки в Бланжи идут неважно и нам придется опротестовать несколько векселечков. — заметил дядя Фуршон, наливая стакан вина своему другу.

— «Сам» вслед за мной идет, — сказал Вермишель, пожимая плечами.

Слово «сам», которым рабочие часто называют хозяина, входило в словарь Вермишеля и Фуршона.

— И чего господин Брюне здесь не видал? — спросила Тонсарша.

— И-и! Господи боже мой! — воскликнул Вермишель. — Вы ему тут за последние три года даете дохода больше, чем сами того стоите... Здорово вас прижимает эгский хозяин, ловко действует Обойщик... Дядя Брюне так и говорит: «Нам бы сюда еще три таких помещика — и мое состояние было бы обеспечено!..»

— Чего они еще там придумали, чтоб бедный народ поприжать? — спросила Мари.

— Ей-богу, не глупо придумали! — отозвался Вермишель. — Вам в конце концов придется уступить... Что тут поделаешь! Вот уж скоро два года, как они забрали над вами силу, у них три сторожа да конный объездчик, все старательные, что твои муравьи, и еще казенный стражник, злющий, как собака. Полиция тоже теперь готова по каждому пустяку мчаться им на помощь... Они вас прижмут...

— Чего там! — сказал Тонсар. — Мы и без того прижаты... Легко сломать дерево, а трава стелется...

— Не очень-то полагайся на это, — возразил зятю дядя Фуршон, — за тобой земля и дом...

— А до чего же вас любят эгские господа, — продолжал Вермишель, — с утра и до вечера только о вас и думают! Они так рассудили: «Ихняя скотинка травит наши луга, ну, мы и отберем у них скотинку, — не сами же они будут жрать траву на наших лугах». А потому как на каждого из вас судебный приговор есть, они приказали приставу отобрать у вас коров. Сегодня утречком мы начнем с Куша: заберем коров у тетки Бонебо, у тетки Годэн, у Митанши...

Как только Мари, возлюбленная Бонебо, сына старухи — владелицы коровы, услышала фамилию Бонебо, она тут же подмигнула отцу с матерью и выскочила в виноградник. Как змея,

шмыгнула она в дыру в изгороди и помчалась к Кушу с быстротой преследуемого зайца.

— Добьются они того, что им кости переломают, — спокойно сказал Тонсар, — а жалко: матери им новых не понаделают.

— Кто знает, а может, и понаделают, — промолвил дядя Фуршон. — Только, видишь ли, какая оказия, Вермишель, — мне раньше как через час с вами никак нельзя пойти, у меня важнейшее дело в замке.

— Важнее трех подписей, по пяти су за каждую? Еще папаша Ной сказал: «Не плюй в колодец».

— Опять же говорю тебе, Вермишель, что мне по торговым моим делам надо побывать в замке. — повторил старик Фуршон, напуская на себя смешную важность.

— А даже не будь этого, — сказала Тонсарша, — не лучше ли было бы папаше временно улетучиться? Да неужто вам хочется разыскать коров?

— Господин Брюне — человек не злой, ему бы, право, куда спокойней найти на месте коров одни навозные лепешки. Такому человеку, как он, приходится иной раз ездить по ночам, вот он и ведет себя с оглядкой.

— И хорошо делает, коли так, — сухо заметил Тонсар.

— Поэтому-то, — продолжал Вермишель, — он так и сказал господину Мишо: «Я поеду, как только кончится присутствие». Кабы ему хотелось найти коров, он бы поехал завтра в семь утра. Но ведь господину Брюне тоже очень упираться не приходится. Мишо два раза не проведешь, у него собачий нюх! У, прямо разбойник!

— Этому бандитскому племени так бы у себя в армии и торчать, — сказал Тонсар, — его только на неприятеля и спускать... Хотел бы я, чтобы он напоролся на меня, — пусть он себя называет старым воякой наполеоновской гвардии, а думаю я, что, случись нам подраться, у меня больше его шерстки в когтях останется.

— Да! А где же афиши к суланжскому празднику? — обратилась Тонсарша к Вермишелю. — Ведь уже восьмое августа.

— Вчера отнес печатать в Виль-о-Фэ к господину Бурнье, — ответил Вермишель. — У мадам Судри говорили, что на озере фейерверк будет.

— Вот наберется народу-то! — воскликнул Фуршон.

— Славные деньги для Сокара, коли не будет дождя, — с завистью сказал трактирщик.

Тут со стороны Суланжа послышался конский топот, и минут через пять судебный пристав уже привязывал свою лошадь к столбу, специально врытому возле калитки, в которую проходили коровы. Затем он сам показался в дверях «Большого-У-поения».

— Ну, ну, ребятки, надо поторапливаться, — проговорил он, делая вид, что очень спешит.

— Ах, господин Брюне, — сказал Вермишель. — Сегодня один понятой отлынивает... Дядя Фуршон капельку заболел...

— Знаем мы его капельки! — ответил исполнитель. — Но закон вовсе не обязывает его быть трезвым.

— Уж извините меня, господин Брюне, — выступил Фуршон, — меня дожидаются по одному делу в Эгах, у меня там приторговывают выдрю...

Брюне, — одетый в черное, сухонький, бледный, курчавый человечек, иезуитского вида, с желтоватыми глазами, плотно сжатым ртом, остреньким носиком и осипшим голосом, — представлял собой редкое явление: у него и лицо, и повадки, и все свойства характера вполне соответствовали его профессии. Он так хорошо знал все законы, или, вернее, все виды крючкотворства, что был одновременно и пугалом, и советчиком кантона и пользовался известной популярностью среди крестьян, с которых обычно брал взятки натурой.

Все эти положительные и отрицательные свойства, равно как и его оборотистость, привлекали к нему местную клиентуру, не в пример его собрату мэтру Плиссу, о котором речь впереди. В мировых судах глухих деревенских уголков нередко случается, что из двух судебных приставов один делает буквально все, а другой ровно ничего.

— Видно, забрало его за живое? — спросил Тонсар щуплого дядюшку Брюне.

— А ты как думаешь? Очень уж вы его здорово обираете, волей-неволей будешь защищать-

ся! — ответил пристав. — Все эти ваши дела кончатся скверно: вот погодите, вмешаются власти.

— Стало быть, нам, беднякам, приходится подыхать? — спросила Тонсарша, поднося судебному исполнителю на блюдечке стаканчик водки.

— Беднякам можно подыхать, в них недостатка не будет, — сентенциозно заметил Фуршон.

— Уж очень вы лес опустошаете! — стоял на своем Брюне.

— Подумаешь, столько разговора из-за каких-то паршивых вязанок хвороста, — огрызнулась Тонсарша.

— Мало повырезали богачей в революцию, вот и весь сказ, — заключил Тонсар.

В это время раздался шум, совершенно непонятный и потому особенно страшный: шуршание листьев и ветвей, волочащихся по земле, торопливые шаги убегающего человека, а все эти звуки покрывал топот ног преследователя, звяканье оружия, громкие крики двух голосов — мужского и женского, столь же различных, как и шаги. Сидевшие в кабаке догадались, что мужчина гнался за женщиной, но почему?.. Неизвестность длилась недолго.

— Это мать, — сказал, быстро вскакивая, Тонсар, — ее свиристелка!

Тут распахнулась дверь и, преодолев усилием воли, никогда не покидающей контрабандиста, последнее препятствие — крутую лестницу, — в кабачок влетела и растянулась во весь рост бабка Тонсар. Она задела за притолоку огромной вязанкой хвороста, которая с грохотом рассыпалась по полу. Все отскочили. Столы, бутылки и стулья, задетые сучьями, полетели в разные стороны. Если бы обвалилась сама лачуга, и то шума было бы меньше.

— Ой, батюшки, сейчас помру! Убил меня злодей!

Вслед за старухой в дверях показался лесник в зеленом суконном костюме, в шляпе, обшитой серебряным галуном, с саблей на кожаной перевязи, украшенной гербами Монкорне и Труавилей, одним над другим, в красном солдатском жилете и кожаных гетрах выше колен; его появление объяснило крики и бегство старухи.

После минутного колебания лесник сказал, глядя на Брюне и Вермишеля:

— У меня есть свидетели.

— Свидетели чего?.. — спросил Тонсар.

— В вязанке у нее десятилетний дубок, распиленный на кругляки... Это нарушение закона!

При слове «свидетель» Вермишель счел за благо выйти в виноградник — подышать свежим воздухом.

— Свидетели чего?.. Что ты говоришь? — повторил Тонсар, став перед лесником, Тонсарша тем временем поднимала свекровь. — Убирайся-ка отсюда подобру-поздорову, Ватель! Можешь составлять протоколы и хватать людей на дороге, там твое право, разбойник, а отсюда уходи. Мой дом, надо думать, принадлежит мне. И угольщик — хозяин у себя дома...

— Я поймал ее на месте преступления. Идем со мной, старая.

— Арестовать мою мать у меня в доме, — да какое ты имеешь на это право? Мое жилище неприкосновенно! Уж это-то мне хорошо известно. Есть у тебя приказ об аресте за подписью следователя, господина Гербе? Сюда без судебного постановления ты не войдешь! Ты еще не судебное постановление, хоть и присягал на суде уморить нас с голоду, проклятый лесной сыщик!

Разъяренный лесник попытался силой завладеть вязанкой, но бабка, похожая на уродливую черную мумию, наделенную движениями, вроде той старухи, что изобразил Давид на картине «Сабинянки», закричала:

— Не тронь, не то глаза выцарапаю!

— Ну, тогда развяжите вязанку в присутствии господина Брюне, — сказал лесник.

Хотя судебный пристав и напустил на себя равнодушный вид, который вырабатывается у чиновников юстиции, ко всему привычных, все же он подмигнул трактирщице и ее мужу, давая этим понять: «Скверное дело!» Старик Фуршон, со своей стороны, весьма выразительно посмотрел на дочь и пальцем указал на кучу золы, скопившуюся в очаге. Тонсарша сразу смекнула, какая опасность грозит ее свекрови, поняла смысл отцовского совета и, схватив горсть золы, бросила ее в глаза леснику. Ватель взвыл от боли; на минуту он потерял зрение, Тонсар же, наоборот, как бы прозрел, он вытолкал Вателя на кривые ступени лестницы, где слепоу легко было оступиться, и действительно лесник скатился до самой дороги, выронив из рук ружье. В мгновение ока Тонсары

распотрошили вязанку, вынули кругляки и припрятали их с неподдающимся описанию проворством. Брюне, не желая быть свидетелем этой предвиденной им операции, бросился к леснику, помог ему встать, усадил на откосе, затем побежал, чтобы смочить носовой платок и промыть глаза пострадавшему, который, охая от боли, пытался дотащиться до ручья.

— Ватель, вы сами виноваты, — сказал ему Брюне. — Какое вы имеете право входить в чужой дом...

Глаза беззубой, сгорбленной старушонки метали молнии, она вышла на порог, подбоченилась и, брызжа слюной, начала ругаться на всю деревню:

— Так тебе и надо, мерзавец! Чтоб тебе на том свете ни дна ни крыши! Ишь, что на меня наговаривает! Это я-то ворую лес? Да честнее меня женщины во всей деревне не сыщешь! И еще гнал за мной, как за лютым зверем! Чтоб у тебя буркалы лопнули, мы бы хоть вздохнули. Лиходеи вы наши, и ты и твои приятели, невесть что выдумываете, только и знаете, что хозяина на нас натравлять!..

Судебный пристав тем временем промывал глаза леснику и, ухаживая за ним, всячески ему доказывал, что с точки зрения законности он был не прав.

— У, ведьма! И задала же она нам работы! — сказал наконец Ватель. — С самой ночи сидит в лесу...

А в кабаке каждый приложил свою руку к скорейшей уборке спиленного дубка, и вскоре все было приведено в порядок. В дверях показался Тонсар и свысока заявил:

— Слушай, Ватель... коли ты еще раз попробуешь ворваться ко мне, то познакомишься с моим ружьем. Ты плохо знаешь свое дело. Но как-никак, а ты упарился, и, если хочешь выпить стаканчик, тебе поднесут; да кстати убедишься, что у матушки в вязанке нет ни щепочки незаконного дерева, одни только сухие прутья.

— Сволочь!.. — шепнул судебному приставу лесник, задетый за живое этими насмешками, которые жгли его больше, чем зола, разъедавшая ему глаза.

В эту минуту у калитки «Большого-У-поения» появился Шарль, тот самый выездной лакей, которого посылали на розыски Блонде.

— Что с вами случилось, Ватель? — спросил он.

— Да вот такая история, — ответил лесник, вытирая глаза, которые он только что промывал, окунув все лицо в ручей. — У меня здесь завелись должники, и я не я буду, если они не проклянут тот день, когда появились на божий свет.

— Раз уж дело принимает такой оборот, — холодно процедил Тонсар, — то скоро, Ватель, вы убедитесь, что в Бургундии народ не трусливый!

Ватель удалился. Мало интересуясь разрешением этой загадки, Шарль заглянул в кабачок.

— Ступайте в замок вместе с выдрой, если она у вас на самом деле есть, — сказал он дяде Фуршону.

Старик поспешно вскочил и последовал за Шарлем.

— А где же выдра? — спросил Шарль с улыбкой сомнения.

— Вон там, — сказал старик, направляясь к Туне.

Так называется речушка, в которую спускают избыток воды из мельничного пруда и прудов Эгского парка. Туна течет вдоль всего кантонального тракта, впадает в небольшое Суланжское озеро, а оттуда в Авону, по пути снабжая водой мельницы и пруды поместья Суланж.

— Вот она, я ее припрятал в речке, с камушком на шее.

Наклонившись за выдрой и снова поднявшись, старик почувствовал, что монета исчезла; серебро бывало редким гостем в его кармане, и не заметить недостачу монеты дядя Фуршон не мог.

— Ах, подлецы! — воскликнул он. — Я охочусь за выдрой, а они охотятся за мной!.. Весь мой заработок отбирают, да еще доказывают, что это мне же на пользу. Еще бы не на пользу! Кабы не бедняжка Муш, единственное мое утешение на старости лет, я бы давно утопился. Дети — разорение отцов. Вы не женаты, господин Шарль? Никогда не женитесь! По крайней мере, не будете себя упрекать, что народили детей себе на горе... А я-то рассчитывал купить на эти деньги кудели, — вот она и раскуделилась, моя кудель! Тот барин, славный такой, дал мне десять франков, ну, значит, моя выдра вздорожает.

Шарль привык не доверять дяде Фуршону и воспринял его жалобы, на этот раз вполне искренние, как подготовку к тому, что он на своем лакейском языке называл «набивать цену»; он имел глупость обнаружить свое подозрение улыбкой, которая не ускользнула от хитрого старика.

— Смотрите, дядя Фуршон, подтянитесь! Вам придется разговаривать с самой барыней, — сказал он, увидя, как пылают нос и щеки старика.

— Я свое дело знаю, Шарль, и могу это доказать. Коль угостишь меня в людской остаточком завтрака и одной-другой бутылочкой испанского вина, тогда я тебе скажу три словечка, которые уберегут тебя от встрепки...

— Скажите, и барин распорядится, чтоб Франсуа поднес вам стакан вина, — ответил лакей.

— Твердо?

— Твердо.

— Так вот: тебе случается беседовать с моей внучкой Катрин под Авонским мостом; Годэн ее любит, он вас видел и сдуру приревновал... Я говорю «сдуру», потому что у крестьянина не должно быть таких чувств, они дозволены только богатым. И коли в день суланжского праздника ты пойдешь с ней плясать в «Тиволи», тебе там, пожалуй, напляшут так, что ты и не обрадуешься!.. Годэн — парень завистливый и злой, ему ничего не стоит переломать тебе руки и ноги, да так, что ты не будешь знать, на кого и в суд подавать.

— Это дороговато! Катрин — девушка красивая, но такой цены не стоит, — сказал Шарль. — И чего Годэн злится! Другие же не злятся.

— Он ее любит, жениться хочет...

— Вот бита-то будет!.. — усмехнулся Шарль.

— Это еще как сказать... — заметил старик. — Она вся в мать, а Тонсар на жену ни разу не замахнулся рукой, побаивается, как бы она не поддала ему ногой. Женщина расторопная, бойкая, всегда в доме голова... Да потом, как ни силен Годэн, а попадет под горячую руку, Катрин ему всыпет.

— Вот вам, дядя Фуршон, сорок су, выпейте за мое здоровье на тот случай, если нам не удастся побаловаться аликантским вином.

Опуская монету в карман, дядя Фуршон отвернулся, чтобы скрыть от Шарля веселую ироническую усмешку, от которой не мог удержаться.

— Ох уж эта Катрин, такая потаскуха! — продолжал старик. — А как малагу любит. Ты бы ей, дурень, сказал, чтоб пришла в замок отведать малаги.

Шарль посмотрел на дядю Фуршона с простодушным восхищением, даже не подозревая, как важно было для врагов генерала подослать в замок еще одного соглядатая.

— Генерал, наверное, радуется? — спросил старик. — Крестьяне теперь притихли. Что он говорит? По-прежнему доволен Сибиле?

— Один только господин Мишо придирается к господину Сибиле. Хвастается, что добьется, чтобы его уволили.

— Все зависть! — заметил Фуршон. — Об заклад побьюсь, что и ты был бы рад, если бы рассчитали Франсуа, а тебя заместо него назначили старшим камердинером.

— Еще бы! Он тысячу двести франков получает, — сказал Шарль. — Только его нельзя считать, он знает все тайны генерала.

— Как жена Мишо знала все тайны барыни, — подхватил Фуршон, жадно впиваясь в глаза Шарля. — Скажи-ка мне, паренек, у барина и барыни отдельные спальни?

— Ну, понятно, отдельные! А то барин разве любил бы так барыню? — ответил Шарль.

— А больше ты ничего не знаешь? — спросил Фуршон.

Однако разговор пришлось прекратить, так как Шарль и Фуршон уже проходили под окнами кухни.

V

ВРАГИ ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В начале завтрака старший камердинер Франсуа, подойдя к Блонде, сказал вполголоса, одна-

ко достаточно громко, чтобы слышал граф:

— Сударь, мальчишка от дяди Фуршона пришел, говорит, выдру-то они поймали, и спрашивает, угодно ли вам ее купить, не то они отнесут ее супрефекту в Виль-о-Фэ.

Эмиль Блонде при всей своей опытности по части мистификаций не мог скрыть смущения и покраснел, словно девица, выслушивающая несколько вольный анекдот, развязка которого ей известна.

— А, так вы сегодня поохотились на выдру с дядей Фуршоном! — воскликнул генерал, заливаясь хохотом.

— В чем дело? — спросила графиня, обеспокоенная смехом мужа.

— Раз такой умный человек попался на удочку дяди Фуршона, — продолжал генерал, — оставшему кирасиру нечего краснеть, что и он тоже поохотился на эту выдру, удивительно похожую на третью лошадь, за которую почта берет с нас прогоны, хотя лошади этой мы и в глаза не видим. — И сквозь раскаты вновь одолевшего его хохота генерал проговорил: — Теперь не удивляюсь, что вы сменили сапоги и панталоны, — значит, вам пришлось поплавать... Я оказался менее легковерен, в воду не полез. Ну, да оно и понятно, мне до вас далеко.

— Вы забываете, мой друг, — заметила г-жа де Монкорне, — что я не знаю, о чем идет речь.

После этих слов, в которых слышалась обида за сконфуженного Блонде, генерал сразу прекратил шутки, и журналист сам рассказал про свою охоту на выдру.

— Но, — заметила графиня, — если эти бедняки в самом деле поймали выдру, они не так уж виноваты.

— Конечно! Только вот уже десять лет, как никто не видывал здесь выдр, — продолжал безжалостный генерал.

— Ваше сиятельство, — сказал Франсуа, — мальчишка божится, что поймали...

— Если это верно, я куплю, — сказал генерал.

— Господь бог не на веки веков изгнал выдр из Эгов, — заметил аббат Бросет.

— О господин кюре, — воскликнул Блонде, — если вы напустите на меня и господа бога...

— А кто пришел? — заинтересовалась графиня.

— Муш, ваше сиятельство, тот мальчишка, что всегда ходит с дядей Фуршоном, — ответил камердинер.

— Приведите его, — сказал генерал и добавил, обращаясь к графине: — Если вы, конечно, разрешите. Может быть, он вас позабавит.

— Надо же, по крайней мере, узнать, в чем дело, — ответила графиня.

Через несколько минут вошел Муш во всей красе своих жалких отрепьев, едва прикрывавших наготу. Глядя на это живое олицетворение нищеты посреди роскошной столовой, где стоимость любого трюмо на всю жизнь сделала бы богачом такого мальчишку, разутого и раздетого, с голой грудью и обнаженной всклокоченной головой, нельзя было не поддаться чувству сострадания. Муш пожирал глазами, сверкавшими, как два уголька, богатое убранство комнаты и изобильные яства на столе.

— У тебя нет матери? — спросила г-жа де Монкорне, не находя иного объяснения подобной нагоде.

— Нет, барыня. Мамка померла с горя, не дождавшись отца, а он ушел на войну в двенадцатом году, не женившись на ней по бумагам, и там, извините, замерз... А есть у меня дедушка Фуршон, человек хороший, хоть и выколачивает из меня иной раз душу.

— Как могло случиться, мой друг, что в ваших владениях живут столь несчастные люди? — спросила графиня, взглянув на генерала.

— Ваше сиятельство, — ответил кюре, — крестьяне сами виноваты в том, что они несчастны. Граф преисполнен добрых намерений; но нам приходится иметь дело с людьми, лишенными всякого религиозного чувства; они помышляют только о том, чтобы жить на ваш счет.

— Но, дорогой господин кюре, — заметил Блонде, — ведь это ваше дело наставить их на путь истины.

— Сударь, — ответил аббат Бросет, повернувшись к Блонде, — его преосвященство отправил меня сюда, словно миссионера в страну дикарей; но, как я имел честь ему доложить, к фран-

цузским дикарям никак не подступишься: они поставили себе за правило нас не слушать, между тем как американских дикарей можно чем-нибудь заинтересовать.

— Господин кюре, — сказал Муш, — сейчас мне люди еще малость помогают, а стану ходить в вашу церкву, мне совсем перестанут помогать да еще нададут колотушек.

— Религия должна бы для начала выдать ему пару штанов, дорогой аббат, — сказал Блонде. — Разве вы не пользуетесь в миссионерской практике прельщением дикарей?

— Он тут же бы их продал, — ответил вполголоса аббат. — Да и мое жалованье не дает мне возможности заниматься такой благотворительностью.

— Господин аббат совершенно прав, — заметил генерал, глядя на Муша.

Хитрый мальчуган притворялся, будто он ничего не понимает, когда ему было невыгодно понимать.

— Мальчишка смывленный, ясно, что он соображает, что хорошо, что дурно, — продолжал генерал. — В его возрасте он мог бы уже работать, а он только думает, как бы ему безнаказанно набедокурить. Он давно на примете у сторожей... Этот наглый мальчишка уже прекрасно знает, что землевладелец не является свидетелем потравы, совершенной на его земле, и не может составить протокол, и, пока я еще не был мэром, он преспокойно пас коров на моих лугах, и не думая уходить, когда видел меня. Зато теперь он немедленно удирает.

— Ах, как нехорошо, — сказала графиня. — Не следует брать ничего чужого, дружок!

— Есть-то ведь надо, милая барышня. Дедушка меня больше тумакami кормит, чем хлебом, а от затрещин только живот подтягивает. Когда коровы отелятся, я их малость поддаиваю, ну и сыт. Разве вы, ваше сиятельство, такие бедные, что нельзя вашей травой немножко поживиться?..

— Может быть, он сегодня весь день ничего не ел! — всполошилась графиня, тронутая такой ужасной нищетой. — Дайте ему хлеба, пусть он доест пулярку... Ну, словом, накормите его завтраком!.. — добавила она, глядя на камердинера. — Где ты ночуешь, мальчик?

— Везде, барыня. Зимой — где пустят, а в тепло — на воле.

— Сколько тебе лет?

— Двенадцать.

— Значит, время еще не ушло направить его на добрый путь, — сказала графиня, обращаясь к мужу.

— Из него выйдет солдат, — сурово отчеканил генерал. — Он прошел хорошую подготовку. Я вытерпел не меньше его, и вот видите, каков я стал!

— Извините меня, господин генерал, я нигде не записан, — сказал мальчуган, — мне не тянуть жеребья. Мамка-то моя невенчанная, и родила она меня в поле. Дедушка говорит, что я дите земли. Значит, мамка-то укрывала меня от солдатчины. И Мушем я только так зовусь, могу зваться и по-другому. Дедушка мне все объяснил, как мне выгодно будет: я не записан в казенных бумагах и, когда подрасту до жеребьевки, пойду бродяжить по Франции! Меня не изловишь!

— Ты любишь своего дедушку? — спросила графиня, пытаясь заглянуть в душу этого двенадцатилетнего мальчика.

— А то нет? Затрещин он мне отсыпает вволю, когда у него разойдется рука. Ничего не делаешь! Зато он хороший, забавник такой. А насчет колотушек дедушка говорит, что это он плату берет за то, что обучил меня читать и писать.

— Ты умеешь читать? — спросил граф.

— Еще как умею-то, ваше сиятельство! И даже самые маленькие буковки! Истинная правда, как то, что мы выдру поймали.

— Что здесь написано? — спросил граф, положив перед ним газету.

— «И-жи-днев-нае»... — прочел Муш, запнувшись только три раза.

Все, и даже аббат Бросет, рассмеялись.

— Еще бы! — закричал Муш, выходя из себя. — Заставили газетину читать! Дедушка говорит — газеты только для богатых, все равно потом узнаешь, что в них такое прописано.

— Мальчуган прав, генерал, он вызвал во мне желание еще раз повидаться с моим утренним победителем, — сказал Блонде. — Вижу теперь, что мистификация дедушки и Муша, прямо скажу, «мушина».

Муш прекрасно понимал, что служит предметом развлечения для господ; ученик дяди Фуршона оказался вполне достойным своего учителя: он вдруг расплакался.

— Как у вас хватает духа смеяться над ребенком, у которого нет башмаков на ногах?.. — сказала графиня.

— И который к тому же считает вполне естественным, что дедушка возмещает оплеухами свои труды по его обучению, — добавил Блонде.

— Слушай, мальчуган, правда, что вы поймали выдру? — спросила графиня.

— Да, барыня, правда, и выдра — правда, и то, что вы раскрасавица, — правда, — ответил Муш, утирая рукавом слезы.

— Так покажи нам эту выдру, — сказал генерал.

— Дедушка ее припрятал, ваше сиятельство. Но она еще дрыгала ногами, когда мы были у себя в мастерской... Вы пошлите за дедушкой, он сам хочет ее продать.

— Отведите его в людскую, — приказала графиня камердинеру Франсуа, — пусть он там позавтракает, пока придет дядя Фуршон, — пошлите за ним Шарля. Позаботьтесь, чтобы мальчику подыскали башмаки, панталоны и куртку. Пусть тот, кто придет сюда голым, уйдет отсюда одетым...

— Благослови вас бог, дорогая барыня, — сказал Муш, выходя из комнаты. — Господин кюре, уж будьте спокойны, я приберегу новое платье для праздников.

Эмиль и г-жа де Монкорне переглянулись, дивясь этим как бы вскользь брошенным словам, и взгляд их, казалось, говорил аббату: «А ведь мальчишка не так-то глуп!»

— Конечно, ваше сиятельство, — сказал кюре, когда мальчик уже вышел из столовой, — не следует сводить счеты с нищетой. Я лично думаю, что для нее имеются свои скрытые причины, судить о которых может только один бог, — причины физические, часто роковые, и причины нравственного порядка, порожденные свойствами характера и такими наклонностями, которые мы осуждаем, а меж тем они нередко проистекают из добрых качеств, к несчастью для общества не нашедших себе применения. Чудеса храбрости на полях сражений говорят нам, что отъявленные негодяи могут перерождаться в героев... Но в данном случае вы находитесь в особых, исключительных условиях, и если в ваших добрых делах вы не будете руководствоваться рассудительностью, вы, возможно, будете выплачивать жалованье своим врагам...

— Врагам? — воскликнула графиня.

— Жестоким врагам! — многозначительно подтвердил генерал.

— Дядя Фуршон и его зять Тонсар, — продолжал кюре, — это разум местного простонародья, с ними советуются во всех мелочах. Их макиавеллизм просто непостижим. Имейте в виду, что десяток крестьян, собравшихся в кабачке, ст#243;ят крупного политического деятеля...

В эту минуту Франсуа доложил о приходе Сибиле.

— Это наш министр финансов, — с улыбкой сказал генерал. — Попроси его сюда, Франсуа. Сибиле разъяснит вам, какое создалось у нас серьезное положение, — добавил он, посмотрев на жену и Блонде.

— Тем более что Сибиле и не особенно скрывает это от вас, — прошептал кюре.

Тут перед глазами Блонде предстал человек, о котором он много слышал с первого же дня своего приезда и с которым очень хотел познакомиться лично, — управляющий имением. Это был мужчина среднего роста, лет тридцати, с угрюмым, неприятным лицом, чуждым улыбке. Из-под нахмуренных бровей глядели зеленоватые, вечно бегающие глазки, скрывавшие его мысли. Сибиле был одет в коричневый сюртук, черные панталоны и жилет, носил длинные, гладко причесанные волосы, что придавало ему сходство с лицом духовного звания. Панталоны плохо скрывали кривизну его ног. Судя по бледному лицу, можно было подумать, что Сибиле человек болезненный, на самом же деле он был очень крепок. Глуховатый голос вполне согласовался с неблагоприятной наружностью.

Блонде незаметно переглянулся с аббатом Бросетом, и ответный взгляд молодого священника дал понять журналисту, что его подозрения относительно управляющего были для аббата вопросом решенным.

— По вашим подсчетам, милейший Сибиле, — сказал генерал, — крестьяне как будто крадут

у нас четверть дохода?

— Много больше, ваше сиятельство, — ответил управляющий. — Государство требует с вас меньше, чем присваивает себе здешняя беднота. Какой-нибудь шельмец вроде Муша ежедневно собирает с ваших полей по два буасо зерна. А старухи, которые, кажется, не сегодня-завтра умрут, ко времени сбора колосьев вдруг обретают и проворство, и здоровье, и молодость. Вы можете воочию убедиться в этом чуде, — прибавил Сибиле, обращаясь к Блонде, — через шесть дней начнется уборка хлебов, задержавшаяся из-за июльских дождей... На следующей неделе мы начнем жать рожь. Сбор колосьев следовало бы разрешать только людям, имеющим справку о бедности, выданную мэром данной общины; а главное, каждая община должна допускать к сбору колосьев только свою бедноту; у нас же общины разных кантонов собирают друг у друга колосья без всяких удостоверений. Если считать, что у нас в общине шестьдесят бедняков, то к ним пристанет еще человек сорок лодырей. Да что говорить, даже зажиточные крестьяне бросают свои дела и идут собирать чужие колосья и неснятый виноград. В нашем кантоне этот народ собирает скопом до трехсот буасо в день, уборка продолжается недели две, значит, мы ежегодно теряем четыре тысячи пятьсот буасо зерна. Вот и выходит, что сбор колосьев беднотой составляет больше чем десятую часть урожая. А из-за потрав мы лишаемся примерно одной шестой части сенокосов. Потери от лесных порубок не поддаются учету; уже принялись рубить шестилетний молодняк... Вы, ваше сиятельство, терпите большие убытки — более двадцати тысяч франков в год.

— Так вот, сударыня, — сказал генерал, обращаясь к жене, — вы сами теперь изволили убедиться!

— А это не преувеличено? — спросила г-жа де Монкорне.

— К несчастью, нет, сударыня, — ответил кюре. — Бедный дядя Низрон, знаете, тот седой старик, что, несмотря на свои республиканские убеждения, выполняет обязанности звонаря, церковного сторожа, могильщика, псаломщика и певчего, — словом, дедушка Женевьевы, которую вы поместили у госпожи Мишо...

— Пешина! — прервал аббата управляющий.

— Какая Пешина, в чем дело? — спросила графиня.

— Может быть, вы припомните, графиня, как встретили однажды на дороге Женевьеву в ужасно жалком виде и воскликнули по-итальянски: «Pissina!»¹⁸ Это прозвище так за ней и осталось, но его переименовали, и теперь вся округа зовет вашу подопечную Пешиной, — сказал кюре. — Только она одна и ходит в церковь с госпожой Мишо и госпожой Сибиле.

— И это ей сильно вредит! — сказал управляющий. — Ее попрекают религиозностью и не любят.

— Так вот, бедный семидесятидвухлетний старик Низрон набирает, и притом совершенно честно, около полутора буасо в день, — продолжал аббат. — Но эта самая честность и не позволяет ему продавать собранное зерно, как это делают все остальные; он оставляет его себе. Из уважения ко мне ваш помощник, господин Ланглуе, ничего не берет с него за помол, а моя служанка, когда печет хлеб, заодно печет и ему.

— Я ведь позабыла про свою маленькую протезу, — воскликнула графиня, испуганная словами управляющего. — С вашим приездом я совсем потеряла голову, — сказала она, обращаясь к Блонде. — Но после завтрака мы вместе пойдем к Авонским воротам, и я покажу вам в натуре одно из тех женских лиц, какие мы видим на картинах художников пятнадцатого века.

В это время дядя Фуршон, которого привел камердинер Франсуа, застучал своими поломанными деревянными башмаками, снимая их у дверей в буфетную. По знаку графини, которой камердинер доложил, что старик тут, в столовую вошел дядя Фуршон, держа в руке выдру, висевшую на бечевке, привязанной к ее желтым и звездообразным, как у всех перепончатых, лапам, а следом за ним явился Муш с набитым едою ртом. Старик обвел недоверчивым и раболепным взглядом, часто скрывающим подлинные мысли крестьян, четырех господ, сидевших за столом, посмотрел на Сибиле, а затем торжествующе потряс своей земноводной добычей.

— Вот она! — сказал он, обращаясь к Блонде.

¹⁸ Крошка, бедняжка (ит.).

— Моя выдра! — воскликнул парижанин. — Я за нее полностью заплатил.

— Э, господин хороший, — ответил Фуршон, — ваша выдра ушла! Она сидит сейчас в норе и не хочет оттуда вылезать, — ведь та была самка, а эта, между прочим, самец! Эту выдру Муш увидал издавеча, уже после того как вы отошли. Истинная правда, как то, что их сиятельство, господин граф, прославились со своими кирасирами под Ватерлоо. Этой выдре я хозяин, как их сиятельство, генерал, хозяин Эгам... Ну, а за двадцать франков выдра будет ваша, не то я снесу ее супарфекту, если господин Гурдон найдут, что она им дорога... По случаю того, что мы сегодня с вами охотились вместе, я вам, как полагается, предпочтение делаю...

— За двадцать франков! — воскликнул Блонде. — На добром французском языке это никак не может назваться предпочтением.

— Эх, господин хороший, — воскликнул старик. — Я так плохо понимаю по-французски, что, если вам угодно, спрошу у вас свои деньги по-бургундски, лишь бы они попали ко мне в карман, мне все едино, буду разговаривать хоть по-латыни: *latinus, latina, latinum*. Ведь эту же цену вы сами мне давали сегодня утром. А ваши денежки у меня отобрали мои же собственные детки, уж я плакал по ним, плакал, покуда шел сюда. Спросите Шарля... Не срамить же их из-за десяти франков, не тащить же их в суд за плутни... Как заведется у меня несколько су, так они беспрерывно их у меня вытащат, угостят вином... Разве легко, когда приходится идти за стаканчиком вина к чужим людям, а не к родной дочери? Вот они, теперешние детки! Этого только мы от революции и дождались! Все для детей, а отцов хоть и вовсе не надо! Нет, Муша я по-другому воспитываю, — он меня любит, пострел! — сказал он, дав легкий шлепок своему внуку.

— Мне кажется, вы готовите из него такого же воришку, как и все здешние жители, — сказал Сибиле. — Ведь дня не пройдет, чтоб он чего-нибудь не напакостил.

— Эх, господин Сибиле, у него совесть поспокойнее вашей. Бедный мальчонка! Что он возьмет-то? Немножко травки. Оно лучше, нежели душить человека! Понятно, он еще не знает, как вы, арифметики, не умеет вычитать, складывать и умножать... Ух, и вредите же вы нам! Рассказываете, будто мы шайка разбойников. От вас и пошла рознь между вот ими, нашим барином, человеком честным, и между нами, тоже честными людьми... Нету честнее нашего края! Ну, скажите на милость, какие у нас доходы? Мы с Мушем почитай что нагишом ходим! А уж на каких мягких перинах спим!.. Каждое утро умыты росой. Разве только кто позарится на воздух, которым мы дышим, да на солнышко, что нас пригревает, а то, право, уж и не знаю, что с нас взять! Богатый ворует сидя дома возле печки, — так оно много спокойней, чем подбирать, что валяется где-то в лесу. Для господина Гобертена нет ни стражников, ни лесников, а поглядите-ка на него: пришел сюда гол как сокол, а теперь нажил два миллиона. Долго ли сказать: «Воры!» А вот уже скоро пятнадцать годов, как дядя Гербе, суланжский сборщик податей, объездив деревни, в самую темноту отправляется со своей кассой домой, а никто с него и двух лиаров не требовал... Что-то не похоже это на воровскую страну! Что-то мы с воровства не богатеем! Ну-ка, скажите, кто из нас — мы или вы, буржуа, — может жить, ничего не делая?

— Если бы вы работали, то и у вас был бы обеспеченный доход, — промолвил кюре. — Бог благословляет труд.

— Не стану вам перечить, господин аббат, вы учений меня и, может статься, разъясните мне это дело. Ну, вот я тут весь перед вами — лентяй, бездельник, пьяница, никудышный дядя Фуршон... Кое-чему я учился, образования понюхал, побывал в фермерах, а потом пришла беда, и вот не сумел я поправиться... Ну какая же разница между мной и таким славным, таким честным дядей Низроном, семидесятилетним стариком виноградарем, — он мне ровесник — шестьдесят годов копался он в земле, вставал ни свет ни заря на работу; у него и тело крепче железа, и душа чище чистого! Богаче он меня, что ли? Пешина, его внучка, — в служанках у жены Мишо, а Муш, мой мальчонка, — свободен, как ветер! И выходит, бедняге Низрону за хорошие дела и мне за дурные одна награда. Он и не знает, что такое стаканчик вина, он скромнее какого ни на есть праведника, он хоронит мертвых, а под мою музыку живые пляшут. Он натерпелся и холода, и голода, а я пожил в свое удовольствие, как и надлежит веселому чертову отродью. Нам обоим с ним одинаково повезло, обоим нам побелило снегом головы, у обоих у нас шиш в кармане; я поставляю ему веревку, которой он звонит в свой колокол. Он хоть за Республику, а я даже не за публику. Вот и вся

разница. Честным ли трудом живет крестьянин или, как вы говорите, нечестным, все равно помират он, как и родился, в лохмотьях, а вы в тонком белье!..

Никто не перебил дядю Фуршона, по-видимому, обязанного своим красноречием тонсаровскому вину. Сначала Сибиле хотел было его остановить, но Блонде подал ему знак, и управляющий умолк. Кюре, генерал и графиня по взглядам журналиста поняли, что он хочет на живом примере изучить вопрос пауперизма и, может быть, отыгаться за утреннюю неудачу.

— А как вы понимаете воспитание Муша? Как думаете вы за него взяться, чтобы сделать его лучше ваших дочерей?.. — спросил Блонде.

— О боге он ему никогда не говорит, — сказал кюре.

— Вот уж чего нет так нет, господин кюре. Я ему говорю, бойся не бога, а людей! Бог добрый, он, по вашим словам, обещал нам царство небесное, потому что земное прихватили себе богачи. Я говорю ему: «Муш, бойся тюрьмы, из нее дорога на эшафот. Ничего не воруй, пусть тебе сами дают! От воровства недалеко до убийства, а за убийство тебя будут судить люди. Ножа правосудия — вот чего надо бояться! Оно бодрствует, чтобы сон богатых не пострадал от бессонницы бедноты. Учись грамоте. Будешь образованным, найдешь способ накопить денег под защитой законов, как господин Гобертен, — вот он молодец! Станешь управляющим, во! — как господин Сибиле, — он берет, что ему полагается с разрешения его сиятельства господина графа... Вся штука в том, чтобы держаться поближе к богатым: под столами у них валяются крошки». Вот это я называю самым что ни на есть хорошим и дельным воспитанием... И мой щенок против закона ниш. Из него выйдет добрый малый, он позаботится обо мне.

— А кем же вы его сделаете? — спросил Блонде.

— Для начала — слугой, — ответил Фуршон, — потому, имея хозяев перед глазами, он живо пообтешется, и будьте покойны: хороший пример поможет ему разбогатеть, не задевая законов, как вы все это делаете!.. Кабы вы, ваше сиятельство, назначили его к себе на конюшню, чтобы он приучился ходить за лошадьми, мальчонка был бы здорово рад... потому что он людей боится, а скотины нет.

— Вы, дядя Фуршон, человек умный, — прервал его Блонде, — вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что говорите, и без толку не болтаете...

— Нечего сказать, хорош ум! Да я свой ум в «Большом-У-поении» оставил вместе с двумя моими монетками. Вот оно что...

— Как же это такой человек, как вы, дошел до нищеты? Ведь при теперешнем положении крестьянин должен пенять на самого себя за постигшее его неблагополучие, он свободен, он может работать. Теперь не то, что раньше. Если крестьянин сумеет сколотить копейку, он всегда найдет продажную землю. Он может ее купить, а тогда он сам себе хозяин!

— Видел я прежние времена, вижу и теперешние, дорогой вы мой ученый барин, — ответил Фуршон. — Вывеску, правда, сменили, а вино осталось все то же! Нынешний день — только младший братец вчерашнего. Вот пропишите-ка это в своих газетах! Разве нас освободили? Мы все так же приписаны к своей деревне, и барин по-прежнему тут, и зовут его Труд... Все наше достояние — мотыга — по-прежнему у нас в руках. На барина ли, на налоги ли, — налогов с нас много берут, — а все одно надо всю жисть трудиться в поте лица.

— Но вы же можете выбрать себе какое-нибудь занятие, поискать счастья в другом месте? — сказал Блонде.

— Говорите — поискать счастья?.. А куда я пойду? Чтобы уйти из своего округа, нужен паспорт, а за него пожалуйста сорок су! Вот уж сорок годов не слыхал я, как у меня в кармане звякает паршивенькая монета в сорок су о свою соседку. Чтобы идти куда глаза глядят, надобно столько же экую, сколько встретишь на пути деревень, а много ли найдется Фуршонов, у которых есть на что побывать в шести деревнях? Только военная служба вытягивает нас из селений. А на что нам нужна она, эта армия? Чтобы полковник жил за счет солдат, как богатый живет за счет крестьянина? Пожалуй, на сотню полковников одного и то не сыщешь, чтоб из нашего брата, крестьян, был. Тут, как и везде, богатеет один, а сотня других пропадают. А почему они пропадают?.. Богу известно да ростовщикам тоже! Вот и выходит, что лучше всего сидеть по своим деревням, куда нас, не хуже овец, загнала тяжелая наша жизнь, как раньше загоняли господа. И плевать мне на то, что

нас здесь держит! Держит ли нас здесь нужда или барин — все одно мы, как каторжные, на весь век к земле прикованы. Вот мы ее, матушку, и ковыряем, и перекапываем, и навозим, и разделяваем для вас, что родились богатыми, как мы родились бедняками. Все мы, вместе взятые, никуда не уйдем, какие есть, такие и останемся... Наших в люди выходит куда меньше, чем ваших вниз скатывается! Мы хоть и не ученые, а в этом деле тоже кое-что понимаем. Не надо нам ставить каждое лыко в строку. Мы вас не беспокоим, дайте и нам спокойно пожить... Не то, если дело этак дальше пойдет, придется вам нас кормить в ваших тюрьмах, а там много лучше, чем на нашей соломке... А хотите оставаться хозяевами, так мы всегда будем врагами, — сегодня, как и тридцать лет назад. У вас — все, у нас — ничего, нельзя же еще требовать от нас и дружбы.

— Вот что называется открытым объявлением войны. — сказал генерал.

— Ваше сиятельство, — продолжал Фуршон, — когда Эги принадлежали бедняжке барышне (да помилует господь ее душу, потому, как говорят, она в молодости пожила в свое удовольствие), мы горя не знали. Она позволяла кормиться с ее полей и дровишки из ее леса таскать, бедней от этого она не стала! А вы хоть и не беднее ее, травите нас, ни дать ни взять как лютых зверей, и тягаете бедноту по судам!.. Ну, так вот, это кончится плохо! Быть из-за вас страшной беде. Я видел, как ваш лесник, мозгляк Ватель, чуть было не убил несчастную старуху из-за полена дров. Вас ославят врагом бедного люда, будут ругать на всех деревенских посиделках; будут так же проклинать, как благословляют покойную барышню! Проклятие бедноты, ваше сиятельство, быстро растет и вырастает много выше самых высоких ваших дубов, а из дубов делают виселицы... Никто здесь не говорит вам правды, — так вот вам эта самая правда! Я со дня на день смерти жду, мне терять нечего, ежели я ко всему прочему в придачу выложу вам правду!.. Под мою и Вермишелеву музыку по большим праздникам в «Кофейне мира» в Суланже пляшут крестьяне, и я слышу, что они промеж себя говорят. Ну так вот, они вас не очень-то жалуют, и вам здесь не житье. Если ваш проклятый Мишо не изменится, вас заставят его уволить... Надо думать, за мои советы да за выдрю стоит мне дать двадцать франков!..

В то время как старик произносил эту последнюю фразу, послышались приближающиеся мужские шаги, и тот, кому только что угрожал Фуршон, без доклада вошел в столовую. По взгляду, который Мишо метнул на защитника бедняков, легко было догадаться, что угроза дошла до его слуха, и вся смелость сразу слетела с Фуршона. Этот взгляд оказал на ловца выдр то же действие, что встреча с жандармом на вора. Фуршон знал, что проштрафился; Мишо, казалось, имел право потребовать у него отчета в словах, явно ставивших себе целью запугать обитателей Эгского замка.

— Вот наш военный министр, — сказал генерал, представляя Мишо журналисту.

— Простите, графиня, — сказал ей «министр», — что я прошел через гостиную, не осведомившись, угодно ли вам меня принять, но у меня неотложное дело к его превосходительству.

Принося извинение графине, Мишо в то же время наблюдал за Сибиле, который внутренне радовался дерзким речам Фуршона, но отражение этой радости на его лице ускользнуло от внимания сидевших за столом, всецело поглощенных Фуршоном, а Мишо, из тайных соображений постоянно наблюдавшего за Сибиле, поразило выражение его лица и весь его вид.

— Он прав, говоря, что заработал свои двадцать франков, ваше сиятельство, — воскликнул Сибиле. — Выдра обойдется вам недорого...

— Дай ему двадцать франков, — приказал генерал камердинеру.

— Вы, стало быть, отбираете у меня выдру? — спросил Блонде генерала.

— Я закажу из нее чучело! — заявил генерал.

— А ведь этот добрый барин обещал оставить мне шкурку, ваше сиятельство! — сказал дядя Фуршон.

— Хорошо, — воскликнула графиня, — вы получите еще пять франков за шкурку, а теперь уходите...

Изнеженное обоняние г-жи де Монкорне сильно страдало от крепкого, терпкого запаха, который шел от дяди Фуршона и Муша и отравлял воздух, и если бы эти двое бездомных бродяг задержались еще на некоторое время, она была бы вынуждена сама покинуть столовую. Именно этому неприятному запаху старик и был обязан двадцатью пятью франками. Он вышел, опасливо

поглядывая на Мишо и отвечивая ему бесчисленные поклоны.

— А то, что я говорил их сиятельству, господин Мишо, — сказал Фуршон, — я говорил им же на пользу.

— Или тем, которые вам за это платят, — ответил Мишо, пронизывая его взглядом.

— Подайте кофе и можете идти, — сказал генерал слугам, — не забудьте только затворить двери.

Блонде, еще не имевший случая видеть начальника охраны Эгского поместья, испытывал, глядя на него, совершенно иное впечатление, нежели только что произведенное на него управляющим Сибиле. Насколько последний внушал ему отвращение, настолько же Мишо вызывал чувство уважения и доверия.

Начальник охраны привлекал к себе прежде всего красивым складом тонкого лица безупречно овальной формы, разделенного носом на две совершенно симметричные части, что редко встречается у французов. При всей правильности черт лицо его не было лишено выразительности, — быть может, благодаря гармоничности цвета лица, где преобладали смуглые и красноватые оттенки, свидетельствующие о действенном мужестве. Светло-карие живые и проницательные глаза не скрывали мысли и всегда прямо смотрели в лицо собеседнику. Высокий и чистый лоб оттеняли густые черные волосы. Честность, решительность и святая доверчивость одушевляли это прекрасное чело, на котором невзгоды солдатской жизни проложили морщины; на нем без труда можно было прочесть любое промелькнувшее подозрение или недоверчивость. Как все военные, принятые в отборную кавалерию, начальник охраны по своему еще тонкому и гибкому стану мог почитаться статным мужчиной. Мишо, носивший усы, бакенбарды и узкий ободок бороды, напоминал тот воинственный тип, который чуть было не превратился в карикатуру, так опошил его безудержный поток патриотических рисунков и картин. Тип этот, на свое несчастье, стал обычным в рядах французской армии. Возможно также, что однообразие впечатлений, трудности бивуачной жизни, от которых не избавлены были ни высшие, ни низшие чины, и, наконец, тяготы войны, почти одни и те же у командиров и солдат, — возможно, что все это вместе выработало такое единообразие облика военных. Мишо носил синий мундир с черным атласным галстуком, высокие сапоги военного образца, и походка у него была соответственная, слегка деревянная. Плечи откинута назад, грудь колесом, как будто он все еще в строю. В петлице у него рдела красная ленточка ордена Почетного легиона. Добавим один моральный штрих, который завершит этот чисто физический набросок: если управляющий Сибиле с момента своего вступления в должность не упускал случая титуловать своего патрона «ваше сиятельство», Мишо никогда не называл хозяина иначе как «ваше превосходительство».

Блонде, украдкой указав аббату Бросету на управляющего и на начальника охраны, снова обменялся с ним взглядом, как бы говоря: «Какой контраст!» Затем, желая убедиться, что у обоих характер, мысли и речь соответствуют осанке, наружности и манерам, он посмотрел на Мишо и сказал:

— Удивительное дело! Сегодня я рано вышел из дома и застал ваших сторожей еще спящими.

— В котором часу? — с беспокойством спросил бывший военный.

— В половине восьмого.

Мишо лукаво взглянул на генерала.

— А через какие ворота вы изволили выйти? — осведомился он.

— Через Кушские. Сторож в одной рубашке выглянул в окно, — сказал Блонде.

— Гайяр, очевидно, только что лег, — заметил Мишо. — Когда вы сказали, будто рано вышли из дома, я подумал, что вы действительно встали чуть свет. Вот если бы тогда сторож был дома, я решил бы, что он захворал, но в половине восьмого он, должно быть, только еще ложился спать. Мы караулим по ночам, — продолжал после небольшой паузы Мишо, отвечая на удивленный взгляд графини, — но наша бдительность ровно ни к чему не приводит! Вы сейчас приказали выдать двадцать пять франков человеку, который только что преспокойно помогал скрыть следы покражи, совершенной сегодня утром у вас в лесу. Впрочем, мы поговорим об этом, ваше превосходительство, когда вы кончите завтрак. Надо же на что-нибудь решиться...

— Вы всегда преисполнены своими правами, дорогой Мишо, а *summum jus, summa injuria*¹⁹. Если вы не будете терпимее, вы наживете себе много неприятностей, — сказал Сибиле. — Мне жаль, что вы не слышали, о чем сейчас говорил здесь дядя Фуршон, которому вино развязало язык.

— Он меня напугал, — сказала графиня.

— Все, что он говорил, мне уже давно известно, — заметил генерал.

— Он, мошенник, вовсе не был пьян, он просто разыграл свою роль. Но для кого он старался?.. Может быть, вы это знаете? — спросил Мишо, пристально глядя на Сибиле, покрасневшего от этого взгляда.

— О, *rus!*..²⁰ — воскликнул Блонде, покосившись на аббата Бросета.

— Бедные люди! Им так тяжело живется, — сказала графиня. — И есть доля правды в том, что нам здесь выкрикивал Фуршон, именно выкрикивал — ведь нельзя же сказать, что он это высказывал.

— Сударыня, — ответил Мишо, — неужели вы думаете, что солдаты императора в течение четырнадцати лет возлежали на розах?.. Его превосходительство — граф, командор ордена Почетного легиона, он не раз получал денежные награды, а я дослужился только до младшего лейтенанта, но разве я ему завидую, хотя начинали мы службу одинаково и сражался я так же, как и он? Разве я стремлюсь опорочить его славу, украсть его награды, не признавать присвоенных его чину почестей. Крестьянин обязан повиноваться, как повинуются солдат; у него должна быть солдатская честность, солдатское уважение к приобретенным правам; он должен стараться выдвинуться в офицеры, — законно, трудом, а не воровством. Лемех и тесак — близнецы. У солдата есть одно только, чего нет у крестьянина, — смерть всегда глядит ему в глаза.

— Вот что мне хотелось бы сказать им с кафедры! — воскликнул аббат Бросет.

— Вы говорите, надо быть терпимее, — продолжал начальник охраны, отвечая на слова Сибиле. — Я готов терпеть потерю десяти процентов валового дохода, приносимого Эгами; но при таком порядке, который сейчас заведен, вы теряете все тридцать процентов, ваше превосходительство. И если господин Сибиле получает некоторый процент с дохода, я не понимаю его терпимости, так как он добровольно отказывается от тысячи или тысячи двухсот франков в год.

— Любезный Мишо, — возразил Сибиле ворчливым тоном, — я уже докладывал его сиятельству, что предпочитаю лишиться тысячи двухсот франков, нежели жизни. Я, кажется, уже не раз и вам советовал!..

— Лишиться жизни? — воскликнула графиня. — Дело идет о чьей-нибудь жизни, неужели это возможно?

— Здесь не место обсуждать вопросы государственной важности, — смеясь, заметил генерал. — Просто мой военный министр отличается отвагой и так же, как его генерал, не боится ничего, а Сибиле, по своему званию финансиста, робок и труслив.

— Скажите лучше: осторожен, ваше сиятельство! — воскликнул Сибиле.

— Вот как! Стало быть, мы здесь, как герои Купера в лесах Америки, окружены ловушками дикарей? — насмешливо спросил Блонде.

— Слушайте, господа, — ваша обязанность управлять, не пугая нас шумом колес административной машины, — сказала г-жа де Монкорне.

— А может быть, графиня, вам не бесполезно было бы узнать, сколько пота стоил хотя бы один из ваших хорошеньких чепчиков! — воскликнул аббат.

— Ни в коем случае! Ведь тогда я перестану носить хорошенькие чепчики, проникнусь благоговейным почтением к двадцатифранковой монете, сделаюсь скупой, как все женщины в деревне, а это мне не к лицу, — со смехом возразила графиня. — Извольте предложить мне руку, дорогой аббат, оставим генерала в обществе двух его министров, а сами прогуляемся к Авонским воротам навестить Олимпию Мишо, у которой я еще не была со дня своего приезда, и займемся моей маленькой подопечной.

¹⁹ Много суда — много несправедливости (*лат.*).

²⁰ О, деревня!.. (*лат.*)

И, тут же позабыв лохмотья Муша и Фуршона, их злобные взгляды и опасения Сибиле, очаровательная графиня отправилась к себе, чтобы переобуться и надеть шляпу.

Аббат Бросет и Блонде, покорные приказу хозяйки дома, вышли вслед за ней из столовой и, в ожидании ее, остановились на террасе перед главным фасадом замка.

— Что вы обо всем этом думаете? — спросил Блонде у аббата.

— Я здесь на положении парии, за каждым моим шагом следят, словно я общий враг, я все время должен быть настороже, не закрывать глаз, иначе я попаду в ловушку, которую мне расставляют, ведь от меня хотят избавиться, — ответил священник. — Говоря между нами, я дошел до того, что иногда сам себе задаю вопрос: не подстрелят ли меня здесь?

— И все-таки вы не уезжаете? — спросил Блонде.

— Господу богу надо служить столь же верно, как императору! — ответил священник с простотой, поразившей Блонде.

Писатель взял руку священника и сердечно пожал ее.

— Теперь вам должно быть понятно, — продолжал аббат Бросет, — что я ничего не могу узнать о здешних кознях. И все же мне сдается, что генерал живет тут «под несчастной звездой», как говорят в Артуа и в Бельгии.

Здесь уместно будет сказать несколько слов о кюре Бланжийского прихода.

Аббат Бросет, уроженец Отена, четвертый сын в зажиточной буржуазной семье, был человеком умным, с большим достоинством носившим священнический сан. Тщедушный, маленького роста, он искупал свою невзрачную внешность непреклонным видом, который так под стать бургундцам. Преданность делу побудила его принять этот малозначительный приход, ибо его религиозные убеждения были подкреплены политическими взглядами. Многое напоминало в нем прежних священнослужителей: он был страстно предан интересам церкви и духовенства, он понимал положение в стране, и эгоистические помыслы не оскверняли его рвения. «Служить» было его девизом, служить церкви и монархии на самом угрожаемом посту, служить в последних рядах, как солдат, который чувствует, что благодаря старанию и мужеству ему рано или поздно суждено стать генералом. Он не входил в сделку с совестью и не нарушал обетов целомудрия, бедности и послушания.

Этот выдающийся священник с первого же взгляда угадал привязанность Блонде к графине и понял, что в обществе хозяйки дома, урожденной Труавиль, и писателя монархического направления надо блеснуть умом, поскольку его духовный сан уже обеспечивает ему уважение. Почти каждый вечер он приходил в замок, чтобы составить партию в вист. Блонде, сумевший по достоинству оценить аббата Бросета, выказал ему много внимания, и оба они прониклись взаимной симпатией, как это бывает со всеми умными людьми, обрадованными встречей с собратом или, если хотите, со слушателем. Каждой картине нужна своя рама.

— Но чем же, господин аббат, объясняете вы создавшееся здесь положение, — ведь вы занимаете этот пост только из преданности делу.

— После столь лестного для меня заключения, — ответил с улыбкой аббат Бросет, — мне не хотелось бы отделываться общими фразами. То, что происходит у нас в долине, наблюдается повсеместно во Франции и коренится в надеждах, посеянных в крестьянстве тысяча семьсот восемьдесят девятым годом. Революционное движение затронуло одни местности больше, другие меньше, а эта пограничная полоса Бургундии, столь близкая к Парижу, принадлежит к тем местностям, где Революция была понята, как победа галла над франком²¹. С исторической точки зрения Жакерия²² для крестьян совсем еще недавнее прошлое, тогдашнее поражение глубоко запало им в душу. Они уже не помнят о самом факте, он перешел в разряд инстинктивных идей. Идея эта живет у крестьянина в крови, как идея превосходства жила некогда в крови дворянства. Победенные добились своего в революции тысяча семьсот восемьдесят девятого года. Крестьянство получило в

21 «Революция была понята, как победа галла над франком». — Французская историография начала XIX в. считала, что дворянство — потомки франков-завоевателей, а народ происходит от галлов, коренных французов.

22 Жакерия — от презрительного прозвища «Жак-Простак», данного дворянством французским крестьянам, — крупнейшее антифеодальное крестьянское восстание во Франции XIV в., жестоко подавленное дворянством.

собственность землю, владеть которой в течение двенадцати веков ему запрещало феодальное право. Отсюда любовь крестьян к земле, доходящая до того, что при разделах они готовы разрезать одну борозду на две части, а это нередко делает невозможным взимать налог, так как стоимость владения не покрывает расходов по взысканию недоимок...

— Их упрямство или, если хотите, их недоверчивость в этом отношении таковы, — прервал Блонде аббата, — что в тысяче кантонов из трех тысяч, на которые делится Франция, богатому человеку невозможно купить крестьянский участок. Крестьяне охотно перепродают друг другу свои клочки земли, но ни за какую цену и ни на каких условиях не уступят их буржуа. Чем выше цена, предлагаемая крупным землевладельцем, тем сильнее у крестьянина смутная тревога. Только в случае отчуждения крестьянская земля становится предметом обычной купли-продажи. Многие наблюдали этот факт, но так и не могли найти ему объяснение.

— Объясняется это вот чем, — ответил аббат Бросет, не без основания полагая, что у Блонде пауза равнозначна вопросу. — Двенадцать веков ровно ничего не составляют для сословия, которое никогда не отвлекалось от своей исконной идеи зрелищем последовательного развития цивилизации и все еще гордо носит широкополую, украшенную шелковым шнурком шляпу своих бывших хозяев, носит с того дня, как эта самая вышедшая из моды шляпа перешла к крестьянину. Любовь, корни которой глубоко ушли в самую гущу народа, — любовь, буйно обратившаяся на Наполеона и непонятая им даже в той мере, как это думалось ему, — любовь, которой объясняется его непостижимое возвращение в тысяча восемьсот пятнадцатом году, — всецело вытекала из этой заветной идеи. В глазах народа Наполеон, неразрывно связанный с народом миллионом солдат, все еще остается королем, вышедшим из недр революции, человеком, который отдал народу национальное имущество. Его коронование было освящено этой идеей.

— Идеей, на которую, к несчастью, покушались в тысяча восемьсот четырнадцатом году, хотя монархия должна почитать ее священной, — горячо подхватил Блонде, — ибо народ может найти недалеко от трона государя, которому его отец оставил в наследство голову Людовика Шестнадцатого.

— Вот и графиня, прекратим этот разговор, — прошептал аббат Бросет. — Фуршон ее напугал, а между тем в интересах трона, религии и здешнего края необходимо удержать ее в Эгах.

Причиной появления Мишо, начальника эгской охраны, было, конечно, нападение на Вателя. Но прежде чем приступить к рассказу о прениях, готовившихся на заседании эгского «государственного совета», необходимо ввиду сложности событий кратко изложить те обстоятельства, при которых генерал приобрел Эги, рассказать о веских основаниях, вызвавших назначение Сибиле управляющим этого великолепного поместья, ознакомить с причинами, которые привели Мишо на должность начальника охраны и, наконец, дать обзор предшествующих событий, обусловивших как настроение умов, так и опасения, высказанные Сибиле.

Этот беглый обзор будет иметь то достоинство, что он познакомит нас с некоторыми главными действующими лицами драмы, обрисует их интересы и даст представление об опасности, угрожающей генералу графу де Монкорне.

VI ИСТОРИЯ О ВОРАХ

Посетив около 1791 года свое поместье, девица Лагер взяла в управляющие сына бывшего суланжского судьи, по фамилии Гобертен. Городок Суланж, в наши дни простой кантональный центр, был столицей значительного графства в те времена, когда Бургундский дом воевал с французским королевским домом. Виль-о-Фэ, теперешняя резиденция супрефекта, был тогда небольшим феодальным владением Суланжей, наравне с Эгами, Ронкеролем, Сернэ, Кушем и пятнадцатью другими селами. Суланжи остались графами, тогда как Ронкероли стали нынче маркизами по воле могущественной силы, именуемой двором, некогда сделавшей герцогом сына неизвестного капитана Дюплесси и поставившей его выше целого ряда знатнейших французских фамилий. Это доказывает, что судьба городов так же изменчива, как и судьба отдельных семей.

Сын суланжского судьи, юноша без всякого состояния, занял место предыдущего управляю-

щего, который, разбогатев за тридцать лет управления Эгами, предпочел своей прежней должности треть паев в знаменитой компании Миноре. Переходя на роль поставщика провианта для интендантства, он в своих собственных интересах рекомендовал в управляющие тогда уже совершеннолетнего Франсуа Гобертена, в течение пяти лет прослужившего у него конторщиком, но обязал своего преемника прикрыть его отступление и в благодарность за преподанную ему науку по части управления имением получить от сильно напуганной революцией девицы Лагер расписку в окончательном расчете. Бывший судья, сделавшись общественным обвинителем департамента, стал покровителем пугливой певицы. Этот провинциальный Фукье-Тенвиль подстроил против театральной королевы, явно подозрительной по своим связям с аристократией, фиктивный бунт, чтобы его сын мог заслужить признательность за ее бутафорское спасение, что и помогло получить расписку в приеме отчетности от бывшего управляющего. Гражданка Лагер столько же из расчета, сколько из благодарности сделала тогда Франсуа Гобертена своим первым министром.

Прежний управляющий не баловал девицу Лагер: он отсылал ей ежегодно в Париж около тридцати тысяч франков, хотя Эги к этому времени должны были приносить по меньшей мере сорок тысяч дохода. Естественно, что ничего не понимавшая в делах оперная дива пришла в восторг, когда Гобертен обещал ей обеспечить доход в тридцать шесть тысяч.

Чтобы обосновать перед судом теории вероятности размеры состояния, нажитого вторым управляющим девицы Лагер, необходимо показать, с чего он начал. Благодаря влиянию отца молодой Гобертен был назначен мэром Бланжи. Следовательно, он имел возможность приказать (вопреки законам), чтобы все платежи вносились ему серебром, «терроризируя» (тогдашнее модное словечко) должников, которых он мог по своему усмотрению подвергать или не подвергать тяжелым реквизициям республиканского правительства. Сам же Гобертен платил своей хозяйке ассигнациями, пока были в ходу бумажные деньги, которые, правда, не обогатили государство, зато обогатили многих частных лиц. В течение трех лет, с 1792 по 1795 год, управляющий нажил в Эгах сто пятьдесят тысяч франков, которыми он и оперировал на парижской бирже. Девушке Лагер, оставшейся при своих ассигнациях, пришлось обратить в деньги бриллианты, теперь уже ей не нужные; она поручила Гобертену продать их, и тот честно отдал ей вырученные деньги серебром. Такая добросовестность очень растрогала девицу Лагер; с той поры она уверовала в Гобертена, как в самого Пиччини.

В 1796 году, ко времени своей женитьбы на гражданке Изоре Мушон, дочери бывшего члена Конвента и друга его отца, Гобертен владел тремястами пятьюдесятью тысячами франков серебром; полагая, что Директории обеспечено длительное существование, он пожелал, прежде чем жениться, получить от своей хозяйки похвальную аттестацию за пять лет управления, ссылаясь на перемену в своей жизни.

— Я буду отцом семейства, — сказал он. — Вы знаете, какая слава идет об управляющих: мой будущий тесть — республиканец истинно римской честности и к тому же человек влиятельный; я хочу доказать ему, что достоин быть его зятем.

Девушка Лагер утвердила все отчеты Гобертена в самых лестных для него выражениях.

Желая заслужить доверие г-жи дез Эг, управляющий в первое время попробовал несколько обуздать крестьян, вполне основательно опасаясь, как бы из-за их хищений не пострадал доход с леса и не сократились будущие магарычи от лесопромышленников. Но в те времена народ-властелин везде чувствовал себя дома, помещица испугалась неожиданных владык, увидев их вблизи, и сказала своему Ришелье, что хочет умереть спокойно. Доходы бывшей оперной примадонны настолько превышали ее расходы, что она смотрела сквозь пальцы на весьма роковые факты, терпела захват своей земли, не желая судиться с соседями. Зная, что парк окружен прочной оградой, она не опасалась непосредственного нарушения своей приятной жизни и в качестве истого философа желала только одного — покоя. Получать с имения на несколько тысяч франков больше или меньше, сделать скидку с договорной цены по требованию лесоторговца за порубки, произведенные крестьянами, — что значило все это в глазах отставной оперной дивы, расточительной и беззаботной женщины, нажившей на поприще удовольствий сто тысяч франков ежегодной ренты, а теперь безропотно позволявшей урезывать на две трети свой шестидесятитысячный доход?

— Э, всем надо жить, даже Республике! — говаривала она с беспечностью куртизанки старо-

го режима.

Ее камеристка и визирь в юбке, грозная девица Коше, видя, какую власть забрал Гобертен над хозяйкой, которую он, невзирая на революционные законы о равенстве, с самого начала стал величать «сударыней», попробовала было раскрыть ей глаза; но Гобертен, в свою очередь, раскрыл глаза девице Коше, показав ей донос, якобы полученный его отцом, общественным обвинителем, где оперная певица весьма настойчиво обвинялась в сношениях с Питтом и Кобургом²³. С той поры обе домашние власти поделили между собой выгоды, но на манер Монгомери²⁴. Горничная расхваливала хозяйке Гобертена, а Гобертен расхваливал хозяйке горничную. Впрочем, судьба мадмуазель Коше была вполне обеспечена, — особе этой было известно, что хозяйка отказала ей в завещании шестьдесят тысяч франков. Барыня уже не могла обойтись без своей камеристки, до того она к ней привыкла. Сия девица была посвящена во все тайны туалета своей дорогой барыни, она обладала талантом усыплять дорогую барыню по вечерам занимательными рассказами и будить по утрам лстивыми комплиментами, словом, до последнего дня жизни дорогой барыни преданная горничная уверяла ее, будто та ничуть не постарела, и надо полагать, что девица Коше нашла свою дорогую барыню еще красивей, когда та лежала в гробу...

Ежегодные барыши Гобертена и девицы Коше, их жалованье и доходы достигли такой значительной суммы, что и самые нежные родители не могли бы сильнее привязаться к столь прелестному созданию, как их хозяйка. Никто не знает, до какой степени мошенник лелеет свою жертву! Ласка и заботы, которыми любящая мать окружает свою дочь, ничто по сравнению с той лестью, которой делец окружает свою дойную корову. Зато и успех таких представлений «Тартюфа», разыгранных при закрытых дверях, огромен! Подобные отношения стоят дружбы! Мольер умер слишком рано, иначе он показал бы нам, как бедняга Оргон, замученный семьей, задержанный детьми, с сожалением вспоминает лстивые речи Тартюфа и грустно причитает: «Хорошее было времечко!»

За последние восемь лет своей жизни девица Лагер получала не больше тридцати тысяч франков из пятидесяти, которые Эги приносили на самом деле. Гобертен, как видно, пришел к тем же результатам, что и его предшественник, хотя и арендная плата, и цены на сельскохозяйственные продукты значительно возросли с 1791 по 1815 год, не говоря уж о том, что девица Лагер непрестанно приобретала новые земли. Но дело в том, что Гобертен задумал получить Эгское поместье по смерти его владелицы, а так как кончина ее была уже не за горами, в планы управляющего не входило повышать ценность этого великолепного имения и увеличивать его явные доходы. Девица Коше, посвященная во все его соображения, должна была участвовать в прибылях. На склоне своих дней бывшая театральная королева получила еще двадцать тысяч франков от так называемых *обеспеченных* ценностей (как политический язык напрашивается на шутку!) и не расходовала за год даже этих двадцати тысяч; ее управляющий, чтобы использовать свободные суммы, ежегодно приобретал земельные участки, и девица Лагер весьма этому удивлялась, ибо сама она привыкла жить в счет своих будущих доходов. Экономия, объяснявшаяся сокращением ее старушечьих потребностей, казалась ей результатом честности Гобертена и девицы Коше.

— Два перла, — говорила она знакомым, приходившим ее проводить.

Впрочем, Гобертен соблюдал в своих отчетах видимость честности. Он регулярно заносил на приход арендные платежи. Все, в чем певица могла разобраться при своих слабых познаниях в области арифметики, было ясно, отчетливо и точно. Управляющий нагонял себе барыши на других статьях — на всяких издержках, на расходах по хозяйству, на заключаемых сделках, на производимых работах, на измышляемых судебных процессах, на ремонте, на всяких мелочах, ибо счета никогда не проверялись владелицей, и ему случалось удваивать суммы с согласия подрядчиков, по-

23 «...обвинялась в сношениях с Питтом и Кобургом». — Питт Вильям-младший (1759—1806) — английский премьер-министр, ярый враг республиканской Франции и вдохновитель коалиции против нее. Кобург — герцог Саксен-Кобургский — австрийский фельдмаршал, принимавший деятельное участие в борьбе европейских государств против французской революции.

24 «...на манер Монгомери» — французская поговорка, означающая такой дележ, при котором одному достается львиная доля добычи.

лучавших за свое молчание соответственную мзду. При такой вольготности Гобертену не трудно было снискать всеобщее уважение, а хвалы по адресу мадмуазель Лагер не сходили с уст, ибо она всем давала заработать да, кроме того, еще и благотворительствовала.

— Дай бог здоровья нашей дорогой барышне! — слышалось со всех сторон.

И в самом деле, не было человека, который чем-нибудь от нее не поживился бы, прямым или косвенным образом. Как бы в возмездие за грехи ее молодости, старую артистку буквально обирали, но обирали умно, соблюдая известную меру, не доводя дело до того, чтобы у нее раскрылись глаза и она, продав Эги, уехала бы в Париж.

То же стремление поживиться на чужой счет было, увы, причиной убийства Поля-Луи Курье²⁵, — он имел неосторожность объявить о том, что продает землю и увозит жену, щедротами которой кормилось несколько туренских Тонсаров. Опасаясь невыгодных перемен, эгские мародеры рубили молодые деревья лишь в самой последней крайности, когда уже не оставалось ветвей, до которых можно было достать серпом, прикрепленным к шесту. В собственных интересах они старались наносить своим воровством возможно меньше вреда. И все же в последние годы жизни мадмуазель Лагер обычаем сбора хвороста стали уж слишком злоупотреблять. В иные светлые ночи из лесу выносили не менее двухсот вязанок, а на сборе колосьев и винограда Эги, как доказал Сибиле, теряли четвертую часть урожая.

Пока мадмуазель Лагер была жива, она не позволяла своей камеристке выходить замуж, ибо, как и многие барыни, питала к своей горничной себялюбивое пристрастие, многочисленные примеры которого можно найти в любой стране, пристрастие столь же нелепое, как и мания хранить до последнего издыхания совсем ненужные для материального благополучия ценности, рискуя, что тебя отравят нетерпеливые наследники. Но спустя три недели после погребения мадмуазель Лагер девица Коше вышла замуж за суланжского жандармского унтер-офицера по имени Судри, видного сорокалетнего мужчину, который с 1800 года, когда был учрежден жандармский корпус, почти ежедневно навещал ее в Эгах и не менее четырех раз в неделю обедал вместе с нею и четой Гобертенов.

Мадмуазель Лагер в течение всей своей жизни обедала одна или со своими гостями. При всей простоте отношений, ни камеристка, ни Гобертены не допускались к столу примадонны Королевской академии музыки и танца, до последнего часа сохранившей раз навсегда заведенный этикет, особую манеру одеваться, румяна, туфли без задника, карету, прислугу и присущую ей величественность богини. Она была богиней на сцене, богиней в Париже, богиней осталась она и в деревенской глуши, где память о ней живет и посейчас и «высшим обществом» Суланжа чтится, вне всякого сомнения, не менее благоговейно, чем память о дворе Людовика XVI.

Судри, с момента своего появления в этих местах начавший ухаживать за мамзель Коше, имел лучший дом в Суланже, капитал около шести тысяч франков и твердую надежду на пенсию в четыреста франков по выходе в отставку. Сделавшись мадам Судри, бывшая горничная стала пользоваться в Суланже великим почетом. Хотя она скрыла ото всех размеры своих сбережений, помещенных, так же как и капитал Гобертена, в Париже у некоего Леклерка, местного уроженца и комиссионера всех здешних виноторговцев, принявшего управляющего Эгов к себе в пайщики, все же, по общему мнению, бывшая горничная была самой крупной капиталисткой в городке, насчитывавшем около тысячи двухсот жителей.

К великому удивлению всей округи, чета Судри в брачном своем договоре узаконила побочного сына жандарма, тем самым обеспечив за ним состояние мадам Судри. К тому времени, когда этот сын приобрел официальную мать, он только что закончил юридическое образование в Париже и собирался там же пройти стаж, необходимый для поступления в судебное ведомство.

Стоит ли говорить, что за двадцать лет полного единомыслия супруги Судри и Гобертены крепко сдружились. И тем и другим не оставалось ничего иного, как до окончания дней своих выдавать друг друга *urbi et orbi*²⁶ за честнейших людей во всей Франции. Своекорыстие, основанное

25 Поль-Луи Курье (1772—1825) — французский публицист, автор памфлетов против Реставрации. Был убит своим слугой.

26 Ко всеобщему сведению (*лат.*).

на обоюдном знании тайных пятен, которые проступают на белых ризах совести, сковывает в нашем мире самыми неразрывными узами. Вы, читатели этой социальной драмы, сами настолько в этом убеждены, что для объяснения преданности и постоянства, заставляющих вас краснеть за собственный эгоизм, говорите о двух задушевных друзьях: «Ясно, что их связывает какое-нибудь преступление!»

За двадцатипятилетнее управление поместьем Гобертен нажил шестьсот тысяч франков серебром, а у камеристки примерно было двести пятьдесят тысяч франков. Быстрое и постоянное обращение их капиталов, доверенных торговому дому Леклерк и К°, что на Бетюнской набережной, на острове Людовика Святого, конкуренту знаменитого дома Гранде, весьма способствовало обогащению сего винного комиссионера и самого Гобертена.

Уже после смерти мадмуазель Лагер к старшей дочери управляющего, Женни, посватался Леклерк, глава торгового дома на Бетюнской набережной. Гобертен в то время льстил себя надеждой сделаться владельцем Эгов, надежда эта зиждилась на некоем тайном сговоре, имевшем место в конторе нотариуса Люпена, которому Гобертен одиннадцать лет назад помог обосноваться в Суланже.

Люпен, сын последнего управляющего графов Суланжей, занимался жульничеством при экспертизах, расценивая имущество на пятьдесят процентов ниже его стоимости, расклеивал какие-то темные объявления — словом, шел на всевозможные уловки, — к несчастью, весьма частые в глухой провинции, — для того чтобы, как говорится, сбить цену на ту или другую крупную недвижимость. По слухам, в Париже недавно сорганизовалась компания, которая угрозами взвинтить цены на торгах вымогает деньги с изобретателей подобных махинаций. Но в 1816 году пламя гласности еще не горело во Франции так, как теперь, и сообщники — бывшая горничная, нотариус и Гобертен — могли рассчитывать, что они тайно поделят между собой Эгское поместье, причем Гобертен в душе решил предложить компаньонам известную сумму с тем, чтобы они отступились от своей доли, когда земля будет куплена на его имя. Поверенный, которому Люпен поручил вести в суде дело о назначении торгов на имение, продал Гобертену в кредит для его сына свою адвокатскую контору и тем самым способствовал грабежу, хотя надо полагать, что одиннадцать пикардийских земледельцев, на коих словно с неба свалилось наследство девицы Лагер, не считали себя ограбленными.

В тот самый момент, когда все заинтересованные лица уже считали свое состояние удвоенным, накануне окончательного утверждения торгов, из Парижа приехал некий поверенный и поручил поверенному в Виль-о-Фэ, оказавшемуся его прежним конторщиком, приобрести имение Эги, которое тот и купил за миллион сто тысяч пятьдесят франков. Поднять цену выше миллиона ста тысяч франков никто из заговорщиков не решился. Гобертен заподозрил предательство со стороны Судри, а Судри и Люпен думали, что их обманул Гобертен, но когда стало известно имя действительного покупателя, они помирились. Хотя провинциальный поверенный и подозревал, что у Гобертена, Люпена и Судри был свой план, он имел осторожность ничего не сказать своему бывшему патрону, и вот почему: в случае если бы новые владельцы оказались невоздержанными на язык, наш судейский чиновник нажил бы себе столько врагов, что пребывание его в здешних местах стало бы невыносимым. Впрочем, тактика молчания, свойственная провинциальным жителям, была вполне обоснована, как это и явствует из дальнейшего повествования. Если провинциал скрытен, он вынужден к этому, оправданием ему служит опасность его положения, прекрасно выраженная в пословице: «С волками жить — по-волчьи выть», пословице, в которой передано все мировоззрение Филинта²⁷.

Когда генерал де Монкорне вступил во владение Эгами, Гобертен оказался не так богат, чтобы бросить свое место: ему пришлось дать в приданое за старшей дочерью, к которой сватался богатый банкир Леклерк, двести тысяч франков; тридцать тысяч франков следовало уплатить за нотариальную контору, приобретенную для сына; значит, у него осталось только триста семьдесят тысяч, а ему еще рано или поздно пришлось бы выделить приданое младшей дочери Элизе, кото-

²⁷ *Филинт* — персонаж комедии Мольера «Мизантроп»; в противоположность другому герою пьесы — Альцесту, он идет на компромисс со светским обществом. «Мировоззрение Филинта» — приспособленчество.

рую он мечтал выдать замуж, во всяком случае, не менее блестяще, чем старшую. Управляющий решил присмотреться к графу де Монкорне и выяснить, нельзя ли отбить у него охоту к жизни в деревне, а тогда уже попробовать единолично осуществить сорвавшийся замысел.

С проницательностью, свойственной людям, наживающим состояние хитростью, Гобертен предположил, что между старым воином и старой певицей должно существовать некоторое сходство характеров; предположение, впрочем, весьма резонное: оперная дива и наполеоновский генерал — не те же ли у них привычки к мотовству и беззаботности? Что оперной диве, что солдату богатство сваливается по милости случая, — одной при громе рукоплесканий, другому в грохоте пушек! Правда, среди военных встречаются ловкие, хитрые люди, тонкие политики, но они — исключение. А чаще всего солдат, особенно такой рьяный рубака, как Монкорне, прост, доверчив, неопытен в делах и к сельскому хозяйству с его мелочными заботами не приспособлен. Гобертен твердо надеялся загнать генерала в те же тенета, в которых мадмуазель Лагер закончила свои дни. А в свое время император вполне сознательно поставил генерала в Померании примерно на такую же должность, на какой Гобертен был в Эгах, — значит, генерал знал толк в сельскохозяйственных поставках интендантства.

Прибыв в деревню «сажать капусту», по выражению первого герцога Бирона, старый кирасир, чтобы несколько развлечься после постигшей его опалы, решил сам заняться делами. Хотя он и сдал свой корпус Бурбонам, услуга эта, оказанная многими генералами и получившая название роспуска Луарской армии, не могла искупить такого преступления, как участие в последнем походе героя Ста дней²⁸. При иностранцах пэру 1815 года нельзя было оставаться в армии, а тем паче появляться в Люксембургском дворце. И Монкорне, по совету одного опального маршала, отправился на лоно природы «выращивать морковку». Генерал не лишен был известной хитрости, свойственной старым служакам, и с первых же дней, которые он посвятил осмотру своих владений, признал в Гобертене типичного опереточного управителя из породы тех плутов, с которыми наполеоновским маршалам и герцогам, этим грибам, выросшим на народной почве, почти всем случалось встречаться на своем веку.

Генерал был человек себе на уме. Убедившись в великой опытности Гобертена как управляющего имением, он понял, насколько будет полезно сохранить его при себе и с его помощью постигнуть «это чертово сельское хозяйство»; поэтому он притворился, что следует по стопам мадмуазель Лагер, своей обманчивой беззаботностью введя управляющего в заблуждение. Генерал прикидывался простоватым ровно столько времени, сколько ему потребовалось на изучение слабых и сильных сторон эгского хозяйства: каковы разнообразные статьи дохода, каким образом эти доходы поступают, к каким улучшениям следует приступить в первую очередь, на чем навести экономию. Затем в один прекрасный день, изловив Гобертена, как говорится, с поличным, генерал страшно вспылал, что часто бывает с покорителями чужих стран, и в пылу гнева совершил одну из тех крупных ошибок, от которых вся его жизнь могла бы пошатнуться, не обладай он таким крупным состоянием и такой стойкостью, — ошибку, чреватую малыми и великими несчастьями, которыми избилует наша повесть. Воспитанный в школе императора, привыкший все рубить сплеча и презирающий «штафинок», Монкорне без долгих разговоров выставил за дверь мерзавца-управляющего. «Штатская» жизнь с ее церемониями была не по нутру генералу, и без того раздраженному опалой, поэтому он самым жестоким образом оскорбил Гобертена; впрочем, сам управляющий навлек на себя такую расправу своим циничным ответом, приведшим в ярость Монкорне.

— Вы кормитесь моей землей! — заявил ему граф с насмешливой суровостью.

— А по-вашему, мне надо было кормиться воздухом? — с усмешкой возразил Гобертен.

— Вон, негодяй, убирайтесь отсюда! — закричал генерал, ударив его хлыстом, — обстоятельство, которое Гобертен впоследствии всегда отрицал, благо это произошло без свидетелей.

— Я не уйду, пока не получу от вас расписки в том, что отчетность в полном порядке, — холодно заявил Гобертен, предварительно отойдя от свирепого кирасира.

— Посмотрим, что скажет о вас исправительный суд, — промолвил Монкорне, пожав плеча-

²⁸ Герой Ста дней — Наполеон Бонапарт. «Сто дней» — второе, краткое правление Наполеона (с 20 марта по 22 июня 1815 г.) после бегства его с о. Эльбы.

ми.

Услышав, что ему угрожают исправительным судом, Гобертен с усмешкой взглянул на графа. От этой усмешки у генерала сразу, словно подрезанная, опустилась рука. Поясним значение этой усмешки.

Уже два года, как зять Гобертена, некий Жандрен, бывший долгое время членом суда первой инстанции в Виль-о-Фэ, был назначен по протекции графа де Суланжа председателем этого суда. Возведенный в пэры в 1814 году, г-н де Суланж сохранил верность Бурбонам во время Ста дней, он-то и испросил указанное назначение у министра юстиции. Родство с председателем придавало Гобертену некоторый вес в здешних краях. И в самом деле, председатель суда в маленьком городке относительно более важная особа, чем председатель суда высшей инстанции в департаментском центре, ибо у того есть равные в лице начальника гарнизона, епископа, префекта и главного сборщика податей, тогда как у мирового судьи таких равных нет: прокуроров суда первой инстанции и супрефектов могут переводить с места на место или сменять. Молодой Судри, приятель Гобертена-сына, как по Парижу, так и по Эгам, был только что назначен товарищем прокурора в главном городе департамента. Прежде чем сделаться жандармским унтер-офицером, Судри-отец, служивший фурыером в артиллерии, был ранен в одном сражении, защищая г-на де Суланжа, бывшего тогда в чине подполковника. При учреждении жандармерии граф де Суланж, уже произведенный в полковники, исходатайствовал для своего спасителя место жандармского унтер-офицера в Суланже; впоследствии он же выхлопотал должность, которая положила начало служебной карьере молодого Судри. Женитьба парижского банкира Леклерка на девице Гобертен тоже была уже делом решенным, и в силу всех этих причин мошенник-управляющий чувствовал себя более сильным в этом крае, чем генерал-лейтенант, оставленный за штатом.

Если бы значение настоящей повести ограничивалось назидательным уроком, который можно извлечь из ссоры генерала с управляющим, то и тогда она была бы очень поучительна для многих в качестве житейского руководства. Умеющему с пользой для себя читать Макиавелли наглядно доказывается, в чем состоит человеческая мудрость: не угрожай, действуй без слов, тесни врага, не наступай, как говорится, змее на хвост и пуще всего остерегайся задеть самолюбие ниже стоящих. Поступок, причинивший какой бы то ни было материальный ущерб, с течением времени простится, его можно объяснить на тысячу разных ладов, но мнение, оскорбительное для нашего самолюбия, раны которого постоянно сочатся, никогда не прощается. Духовная личность более чувствительна и, в некотором смысле, более живуча, чем личность физическая. Сердце и кровь менее восприимчивы, нежели нервы. Словом, что бы мы ни делали, наше внутреннее существо всегда господствует над нами. Можно примирить два семейства, члены которых убивали друг друга, как это было в Бретани или Вандее в годы гражданской войны, но никогда не удастся примирить ограбленных с грабителями, так же как и оклеветанных с их клеветниками. Оскорблять друг друга позволительно лишь в эпических поэмах, да и то только перед смертельным ударом. Дикарь и крестьянин, весьма схожий с дикарем, прибегают к словам исключительно с целью завлечь в ловушку своего противника. С 1789 года Франция старается, вопреки очевидности, уверить людей, что они равны между собой; сказать человеку: «Вы мошенник!» — было бы не имеющей значения шуткой, но доказать ему это, поймав его с поличным и отстегав хлыстом, грозить ему исправительным судом, не доведя дела до суда, — значит указать ему на неравенство общественного положения. Если толпа не прощает никакого превосходства, как же может мошенник простить честному человеку?

Если бы Монкорне уволил своего управляющего под тем предлогом, что хочет на его место взять какого-нибудь бывшего военного в награду за прежние заслуги, конечно, и Гобертен, и генерал, не заблуждаясь насчет истины, прекрасно поняли бы друг друга. Но, пощадив самолюбие управителя, генерал дал бы ему возможность отступить с честью. Гобертен оставил бы тогда помещика в покое, забыл бы о неудаче на аукционе и, может быть, попробовал бы найти применение своим капиталам в Париже; теперь же с позором выгнанный управляющий затаил злобу на хозяина, а в провинции долго помнят зло, — мстительность, упорство и козни провинциалов способны удивить даже дипломатов, привыкших ничему не удивляться. Жгучая жажда мести побудила Гобертена обосноваться в Виль-о-Фэ и оттуда всячески вредить Монкорне; он решил не давать жи-

тя генералу и принудить его продать имение.

Генерал не разгадал Гобертена, в поведении которого не было ничего, что заставило бы насторожиться или почувствовать страх. По заведенному раз навсегда порядку бывший управляющий продолжал прикидываться, если не бедным, то, во всяком случае, необеспеченным. Это житейское правило он позаимствовал у своего предшественника. Поэтому Гобертен при каждом удобном случае всячески напирал на своих трех детей, на жену и на огромные расходы, связанные с большой семьей. Мадмуазель Лагер, которую Гобертен убедил, что ему не по средствам платить за обучение сына в Париже, взяла на себя все расходы и выдавала по сто луидоров в год своему дорожному крестнику, так как она была крестной матерью Клода Гобертена.

На следующий день после ссоры Гобертен явился в сопровождении сторожа Курткюиса, весьма заносчиво потребовал расписки в принятии отчетности, показав при этом лестные отзывы, полученные им от покойной владелицы, и с явной иронией попросил генерала указать, где же нажитые им, Гобертеном, капиталы и недвижимость. Если ему и случалось получать «благодарность» от лесопромышленников и фермеров при возобновлении аренды, то делалось это всегда, по его словам, с согласия мадмуазель Лагер, которая от этого не только не бывала внакладе, но, наоборот, обеспечивала себе полное спокойствие. Любой местный житель пошел бы за мадмуазель в огонь и в воду, а если генерал и впредь будет действовать в том же духе, то неприятностей ему не обобратся.

Гобертен считал себя вполне честным человеком, — черта, часто наблюдаемая в различных профессиях, где люди присваивают себе чужое добро способами, не предусмотренными в «Уголовном кодексе». Во-первых, он уже давно прикарманил серебро, которое вытянул с фермеров мадмуазель Лагер путем запугивания (тогда как все платежи ей он производил ассигнациями), и считал эти деньги своим законным достоянием. Он просто сделал обмен. С течением времени ему даже стало казаться, что он подвергнулся известной опасности, принимая в уплату звонкую монету. Ведь согласно закону мадмуазель должна была получать платежи только ассигнациями. «Согласно закону» — выражение очень солидное и служит опорой многим состояниям! Короче говоря, с тех пор как существует крупный землевладелец и управляющий, то есть с незапамятных времен, управляющий измыслил на свою потребу некое рассуждение, очень распространенное в наши дни среди кухарок; и вот оно в упрощенной форме:

«Если хозяйка, — рассуждает кухарка, — сама бы ходила на рынок, она, может статься, платила бы за провизию дороже, чем ставлю за нее в счет я; значит, хозяйка выгадывает на этом деле; так уж лучше пусть доход идет в мой карман, а не в карман лавочника».

«Если бы мадмуазель сама вела хозяйство, она не выручила бы с имения и тридцати тысяч; крестьяне, торговцы и рабочие украли бы у нее разницу; не разумнее ли, чтобы я взял эту разницу себе, но зато избавил мадмуазель от множества хлопот!» — рассуждал Гобертен.

Только католическая религия может положить конец подобным сделкам с совестью; но с 1789 года религия утратила власть над двумя третями населения Франции. Поэтому-то крестьяне, народ сообразительный, по бедности своей легко следуют дурным примерам, и в Эгской долине они совершенно деморализовались. По воскресеньям они отправлялись к обедне, но в церковь не заходили, по привычке собираясь на паперти для обсуждения торговых и прочих дел.

Теперь нетрудно понять, сколько зла причинила своей нерадивостью и попустительством бывшая примадонна Королевской музыкальной академии. Мадмуазель Лагер из эгоистических побуждений предала имущих, всегда ненавистных неимущим. С 1792 года все землевладельцы Франции связаны общими интересами. Но, увы, если феодальные семьи, которых значительно меньше, чем буржуазных, не сознавали единства своих интересов ни в 1400 году, при Людовике XI, ни в 1600 году, при Ришелье, можно ли предположить, что, при всех притязаниях XIX века на прогресс, буржуазия окажется более сплоченной, чем было дворянство? Олигархия ста тысяч богачей имеет все невыгоды демократии, не обладая ее преимуществами. «Каждый у себя, каждый за себя», — такой семейный эгоизм убьет эгоизм олигархический, столь необходимый современному обществу и в течение трех веков прекрасно осуществляемый Англией. Что бы ни творилось кругом, собственник только тогда поймет необходимость дисциплины, благодаря которой церковь стала образцовым видом правления, когда он почувствует, что опасность угрожает ему в его же

доме, а тогда уж будет слишком поздно. Смелость, с которой коммунизм, эта живая и действенная логика демократии, ведет нападение на нравственные устои общества, доказывает, что отныне народный Самсон стал более осторожен и подрывает столпы общества в подвале, вместо того чтобы сотрясать их в пиршественном зале.

VII ИСЧЕЗНУВШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ

Эгское поместье не могло обойтись без управляющего, так как генерал вовсе не собирался отказываться от удовольствия проводить зиму в Париже, где у него был великолепный особняк на улице Нев-де-Матюрен. Поэтому он стал подыскивать заместителя Гобертену, но, конечно, не проявил при этом такого рвения, какое проявил Гобертен, чтобы подсунуть ему своего человека.

Из всех должностей, на которых людям доверяют серьезное дело, нет ни одной, требующей столь большого опыта и расторопности, как должность управляющего крупным имением. Как трудно подыскать управляющего, знают только богатые землевладельцы, имения которых расположены за пределами полосы шириной примерно в сорок лье, опоясывающей столицу. Здесь уже нельзя использовать землю так же, как в близких к столице поместьях, сельскохозяйственной продукции которых обеспечен верный сбыт в Париже; здесь нельзя рассчитывать на твердый доход от долгосрочной аренды, которой наперебой добиваются разбогатевшие арендаторы. Такие фермеры-арендаторы приезжают в собственных кабриолетах и сами привозят очередные взносы кредитными билетами или же поручают уплату своим комиссионерам на Центральном рынке. Поэтому-то фермы, расположенные в департаментах Сены-и-Уазы, Сены-и-Марны, Уазы, Эра-и-Луары, Нижней Сены и Луары, пользуются таким большим спросом, что с капиталов, вложенных в них, не всегда удается получить полтора процента. По сравнению с доходностью земель в Голландии, Англии и Бельгии этот процент еще чрезвычайно велик. Но в пятидесяти лье от Парижа в крупных поместьях землю приходится пускать под самые различные культуры и производить самые разнообразные продукты; такое поместье представляет собою настоящее промышленное предприятие, подверженное всем случайностям фабрично-заводского производства. Иной богатый помещик ничем не отличается от купца, вынужденного искать сбыта для своих товаров, точь-в-точь как владелец железодельного завода или хлопчатобумажной мануфактуры. Он даже не может избежать конкуренции: крестьянин и мелкий землевладелец не останавливаются ни перед чем и пускаются на сделки, совершенно неприемлемые для человека воспитанного.

Управляющий должен знать межевание, местные обычаи, условия сбыта, разные способы эксплуатации земли; должен немножко разбираться в судебном крючкотворстве, чтобы лучше защищать вверенные ему интересы; быть знакомым с коммерческим счетоводством, обладать прекрасным здоровьем и быть неутомимым в ходьбе пешком и в верховой езде. Управляющий обязан представлять своего хозяина, он постоянно с ним общается и, следовательно, не может быть человеком из простонародья. Ввиду того, что редкий управляющий получает тысячу экю жалованья в год, задача кажется неразрешимой. Как найти столько ценных качеств за скромную плату в стране, где обладатель подобных качеств может занять любую должность? Выписать человека, незнакомого с краем, — значит, очень дорого заплатить за приобретение этим приезжим опыта. Подготовить молодого человека из местного населения — зачастую все равно, что искусственно вскормить неблагодарность. Остается, таким образом, только выбирать между честной бездарностью, малополезной из-за своей неповоротливости или близорукости, и смышленным плутом, пекущимся о собственных интересах. Отсюда та социальная номенклатура и та естественная история управляющих, которую следующим образом сформулировал один польский магнат: «У нас, — сказал он, — имеется два вида управляющих: одни думают только о себе, другие думают и о нас, и о себе; счастлив землевладелец, если ему удалось напасть на управляющего второго вида. Такого же управляющего, который думал бы только о нас, до сих пор еще не встречалось».

Управителя, помышляющего и о своих, и о хозяйских интересах, мы уже встречали (см. «Первые шаги в жизни» в «Сценах частной жизни»). Гобертен — тип управляющего, занятого исключительно собственным благополучием. Изобразить третью разновидность этой породы — зна-

чило бы предложить общественному вниманию малоправдоподобную личность, которая все же была знакома прежнему дворянству (см. «Музей древностей» в «Сценах провинциальной жизни») и сошла со сцены одновременно с ним. Непрестанное дробление крупных состояний неизбежно повлечет за собой перемены и в самом быте аристократии. В теперешней Франции не найти и двадцати крупных состояний, управление которыми поручено доверенным лицам, а лет через пятьдесят не найдется и ста крупных имений, отданных на попечение управляющих, если, конечно, не изменится «Гражданский кодекс». Богатому землевладельцу придется самому заботиться о собственных интересах.

Эта уже начавшаяся перемена вызвала следующий ответ одной остроумной старой дамы, у которой спросили, почему начиная с 1830 года она проводит лето в Париже: «Я перестала жить в поместьях с тех пор, как из них понаделали ферм». Но к чему приведет этот все сильнее разгорающийся спор человека с человеком, спор между богатым и бедным? Настоящая работа написана исключительно с целью осветить этот страшный социальный вопрос.

Нетрудно понять, в каком сложном и затруднительном положении оказался генерал, рассчитав Гобертена. Как всякий хозяин, вольный поступать по своему усмотрению, он в душе решил: «Прогоню этого мерзавца», но при этом он позабыл о случайностях, о своей вспыльчивости сангвиника-рубаки, готового прийти в ярость, как только какой-нибудь проступок откроет ему глаза на то, что он старался не видеть.

Впервые сделавшись землевладельцем, Монкорне, типичное детище Парижа, не позаботился заранее подыскать себе управляющего; теперь же, ознакомившись с краем, он понял, насколько необходимо такому человеку, как он, иметь посредника, чтобы вести дела со столькими людьми, принадлежащими к низшим слоям общества.

За те два часа, пока длилась бурная сцена между Гобертенем и его хозяином, управляющий сообразил, что генерал при своей горячности очень скоро окажется в затруднительном положении; выйдя из гостиной, где произошла ссора, он вскочил на свою лошадку, домчался до Суланжа и там стал держать совет с четою Судри.

Услышав его слова: «Я расстанусь с генералом. Кого бы ему подсунуть в управляющие, так чтобы он ничего не заподозрил?» — супруги Судри сразу поняли мысль своего приятеля. Не надо забывать, что Судри семнадцать лет стоял во главе кантональной полиции, а его жена, как и все субретки оперных див, была очень хитра.

— Долго придется ему искать, — сказала мадам Судри, — прежде чем он найдет кого-нибудь лучше нашего дорогого Сибиле.

— Крышка ему! — воскликнул Гобертен, еще весь красный от перенесенного унижения. — Люпен, — обратился он к нотариусу, присутствовавшему на этом совещании, — отправляйтесь-ка в Виль-о-Фэ да хорошенько настрочите Марешаля, на случай если наш красавец кирасир обратится к нему за советом.

Марешаль был тем самым поверенным, которого его бывший патрон, парижский поверенный в делах Монкорне, как и следовало ожидать, рекомендовал генералу в качестве советчика после удачной покупки Эгов.

Упомянутый Сибиле, старший сын секретаря суда в Виль-о-Фэ, двадцати пяти лет от роду, будучи еще конторщиком нотариуса, без гроша за душой, до безумия влюбился в дочь суланжского мирового судьи.

Этот достойный судья, по имени Саркюс, получавший полторы тысячи франков жалованья, женился на девушке без всякого приданого, старшей сестре суланжского аптекаря г-на Вермю. Единственной его дочери Аделине, богатой только своей красотой, пожалуй, проще было умереть, чем прожить на жалованье, которое получает в провинции конторщик нотариуса. Молодой Сибиле, пришедшийся дальней родней Гобертену по каким-то довольно трудно уловимым семейным связям, по которым в маленьких городках добрая половина обывателей оказывается в родстве друг с другом, получил при поддержке своего отца и Гобертена тощенькое местечко в оценочном управлении. На долю этого бедняги выпало нерадостное счастье за три года оказаться отцом двух детей. Секретарь суда, у которого на руках было еще пятеро детей, не мог помогать старшему сыну. У мирового судьи ничего не было, кроме дома в Суланже и ренты в сто экю. Поэтому-то г-

жа Сибиле-младшая вместе со своими двумя детьми большей частью жила у отца. Адольф Сибиле, которому приходилось разъезжать по всему департаменту, изредка навещал свою Аделину. Может быть, именно при таких условиях жены и бывают особенно плодовиты.

Восклицание Гобертена, понятное после этого беглого обзора материального положения молодой четы Сибиле, требует еще некоторых пояснений.

Адольф Сибиле, отличавшийся, как мы уже видели из ранее набросанного портрета, исключительно неприглядной внешностью, принадлежал к тому разряду мужчин, которые могут найти доступ к женскому сердцу, лишь пройдя через мэрию и церковь. Одаренный гибкостью пружины, он уступал, но вслед за тем сейчас же возвращался к своей цели. Такое обманчивое свойство весьма похоже на трусость, но, пройдя выучку в конторе провинциального нотариуса, Сибиле привык скрывать этот недостаток под личиной угрюмости, подменявшей отсутствующую силу. Многие фальшивые люди прячут свою паскудную душонку под напускной резкостью; ответьте им резкостью, и эффект будет тот же, как если бы вы прокололи булавкой надутый пузырь. Таков был сын секретаря суда. Но большинство людей не отличается наблюдательностью, а среди наблюдательных людей три четверти производят свои «наблюдения» уже после совершившегося факта, поэтому ворчливость Адольфа Сибиле сходилась за грубоватую прямооту (качество, превозносимое его патроном) и за несговорчивую честность, пока еще не подвергавшуюся серьезным испытаниям. Не которым людям их недостатки так же идут на пользу, как другим — их достоинства.

Хорошенькую г-жу Сибиле ее мать, умершая за три года до этого брака, воспитала с великой заботливостью, какую уделяет нежная мать воспитанию своей единственной дочери в глухом городке; девушкой Аделина любила молодого и красивого Амори Люпена, единственного сына суланжского нотариуса. В самом начале нашего повествования старик Люпен, прочивший в жены сыну Элизу Гобертен, отправил его в Париж на выучку к своему корреспонденту, нотариусу Кротта, у коего Амори должен был научиться составлять акты и контракты, но в активе Амори оказались только факты сумасбродства и долги, к которым его подстрекал Жорж Маре, другой ученик нотариуса Кротта, богатый молодой человек, посвятивший сотоварища в тайны парижской жизни. Когда нотариус Люпен поехал за своим сыном в Париж, Аделина уже носила фамилию Сибиле. Дело в том, что влюбленный Адольф посватался к ней, и старый мировой судья, побуждаемый Люпенем-отцом, поторопился с браком, на который Аделина согласилась с отчаяния.

Служба в оценочном управлении — отнюдь не карьера. Как и многие чиновничьи должности, она не сулит никакой будущности: это нечто вроде дыры в правительственной шумовке. Люди, попадающие в эти дыры (межевая часть, управление шоссейных дорог и мостов, учительство и т.д.), всегда несколько поздно спохватываются, что более ловкие тут же рядом с ними высасывают, как говорят оппозиционные писатели, соки из народа, — всякий раз как шумовка с помощью аппарата, именуемого бюджетом, погружается в налоговую гущу. Адольф, работавший с утра до ночи и очень мало получавший за свою работу, вскоре убедился, насколько бесплодна и бездонна поглотившая его дыра. Странствуя из одной общины в другую и тратя жалованье на обувь и дорожные расходы, он мечтал о более солидном и выгодном месте.

Только человек косой и невзрачный, да к тому же еще обремененный двумя детьми, прижитыми в законном браке, может понять, какое честолюбие развилось за эти три горькие года, изредка скрашенные любовью, у Сибиле, одинаково неприглядного и внешне, и внутренне, не уверенного в своем благополучии, которое хотя и не хромало на обе ноги, но, во всяком случае, было довольно шатким. Весьма возможно, что неполное счастье является главным побудителем скрытых дурных поступков и тайных подлостей. Человек, может быть, легче мирится с беспросветным несчастьем, чем с проблесками солнца и любви сквозь непрерывно льющийся дождь. В таких случаях бывают поражены и тело, и душа, которую разъедает проказа зависти. У мелких натур этот порок развивается в трусливую и вместе с тем грубую алчность, одновременно и дерзкую, и скрытую; у людей просвещенных он порождает антиобщественные взгляды, с помощью которых они забирают в руки своих начальников. Нельзя ли употребить как пословицу следующую мысль: «Скажи мне, что у тебя есть, и я скажу, что ты думаешь!»

При всей своей любви к жене Адольф Сибиле ежечасно твердил: «Какую я сделал глупость! У меня только две ноги, а надеты на них тройные оковы. Надо было сперва сколотить состояние, а

потом уж жениться. Что такое жена? Жена дело наживное, а вот нажить женатому состояние очень трудно».

В качестве родственника Адольф в течение трех лет три раза навестил Гобертена. По нескольким сказанным им словам Гобертен угадал, что душу его родственника, как глину при обжиге, опаляют помыслы об узаконенном воровстве. Будучи человеком хитрым, он быстро раскусил Сибиле и понял, что тот согласится на любые требования, лишь бы ему была пожива. При каждом своем посещении Сибиле угрюмо бубнил:

— Дайте мне какую-нибудь работу, братец. Возьмите к себе в приказчики и сделайте своим преемником. Испробуйте меня в деле! Я способен горы своротить, только бы доставить Аделине если не роскошное, то хотя бы безбедное существование. Вы благодетельствовали господина Леклерка; почему бы вам не устроить меня в Париже... хотя бы в банке.

— Еще успеется, я тебя не забуду, — отвечал его честолюбивый родственник. — Набирайся знаний, все пригодится!

Будучи в таком умонастроении, Адольф сразу же, как получил письмо, в котором мадам Судри спешно вызывала своего протеже, примчался в Суланж, строя тысячу воздушных замков.

Саркюс-отец, которого супруги Судри убедили похлопотать за зятя, на следующий же день явился к генералу и предложил ему Адольфа в управляющие. По совету мадам Судри, игравшей в городе роль оракула, старичок взял с собой дочь, которая действительно произвела самое благоприятное впечатление на графа Монкорне.

— Я не дам окончательного ответа, — сказал генерал, — пока не наведу всех необходимых справок; но я не стану подыскивать другого управляющего, пока не выясню, отвечает ли ваш зять всем требованиям, связанным с этой должностью. Мое желание устроить в Эгах столь очаровательную особу...

— Мать двоих детей, — довольно тонко вставила Аделина, чтобы избежать ухаживаний кирасира.

Супруги Судри, Гобертен и Люпен прекрасно предусмотрели все шаги, предпринятые генералом, поэтому в главном городе департамента, где находится суд второй инстанции, они обеспечили своему кандидату поддержку советника Жандрена, дальнего родственника председателя суда в Виль-о-Фэ, рекомендацию прокурора высшего суда, барона Бурляка, которому был подчинен Судри-сын, прокурор первой инстанции, и, наконец, поддержку некоего советника префектуры Саркюса, троюродного брата мирового судьи. Начиная с поверенного генерала в Виль-о-Фэ и кончая префектурой, где г-н Монкорне побывал лично, все с похвалой отзывались о бедном и безупречно честном чиновнике оценочного управления... История женитьбы Сибиле была интересна, как чувствительные романы мисс Эджворт, и сверх того создала ему славу человека бескорыстного.

Время, которое уволенный управляющий еще оставался по необходимости в Эгах, он употребил на то, чтобы подготовить множество затруднений для своего бывшего хозяина, о чем может дать ясное представление одна из разыгранных Гобертеном коротеньких сцен. Утром в день своего отъезда он повидал Курткюиса, единственного сторожа, которого держал в Эгах, хотя имение по размерам своим требовало по меньшей мере троих сторожей.

— Что же это, господин Гобертен, — спросил Курткюис, — у вас, стало быть, нелады с хозяином?

— А до тебя уже дошло? — сказал Гобертен. — Ну да, генералу вздумалось командовать нами, как своими кирасирами. Плохо он знает бургундцев! Их сиятельство изволят быть недовольны моей службой, а так как я недоволен его обращением, то мы с ним и рассорились и чуть не пустили в ход кулаки, так он разбушевался... Берегись теперь, Курткюис! Эх, старик, думал я дать тебе хозяина получше...

— Знаю, — ответил сторож, — а как бы я вам послужил! Да и как же не послужить, когда мы двадцать лет знаем друг друга! Вы же меня сюда и поставили еще при жизни нашей дорогой барыни! Уж и добрая же была барыня! Прямо сказать — святая! Теперь таких не увидишь... Мать родную все мы потеряли...

— Слушай-ка, Курткюис, если захочешь, ты можешь оказать нам большую услугу.

— Значит, вы никуда не уезжаете?.. А мы слышали, что вы собирались в Париж!..

— Нет, подождем, чем все это кончится, а пока что я займусь кое-какими делишками в Виль-о-Фэ. Генерал не представляет себе, что у нас за край, а его здесь здорово возненавидят, понимаешь... Надо посмотреть, как повернется дело. Не очень налегай на службу, хоть генерал тебе и прикажет строго взыскивать с народа, ведь он отлично видит, куда утекает добро.

— Он уволит меня, дорогой господин Гобертен! А вы знаете, как хорошо мне живется у Авонских ворот!..

— Генералу скоро опротивеет его имение, — сказал Гобертен, — и ты недолго проходишь без места, если он тебя ненароком и уволит. А потом, видишь вон леса... — продолжал он, указывая вдаль, — там я буду посильнее хозяев!

Разговор этот происходил в поле.

— Сидели бы уж парижские *арминаки* в своей парижской грязи, — сказал сторож.

Со времени междоусобиц XV века слово «арминаки» (арманьяки — парижане, противники герцогов Бургундских) сохранилось как бранное прозвище на окраине Верхней Бургундии, претерпев в разных местностях различные искажения.

— Он в Париж и вернется, только побитым! — сказал Гобертен. — А мы, придет время, распашем Эгский парк, потому что держать для удовольствия одного человека девятьсот арпанов лучшей в долине земли — это значит обворовывать народ!

— Что и говорить! На это бы прожило четыреста семейств! — воскликнул Курткюис.

— Если хочешь получить два арпана на свою долю, ты должен нам помочь выжить отсюда этого грубияна!..

В то самое время как Гобертен предавал генерала анафеме, почтенный мировой судья приехал в имение к славному командиру кирасиров вместе со своим зятем Сибиле, Аделиной и двумя внуками в плетеной тележке, взятой для этого случая у брата суланжского доктора, некоего г-на Гурдона, который занимал должность секретаря мирового суда и был куда состоятельнее самого судьи. Такое явление, отнюдь не соответствующее достоинству суда, наблюдается во всех мировых судах и судах первой инстанции, где у секретаря доход значительно больше, чем у председателя, между тем было бы так естественно положить секретарям определенное жалованье и соответственно уменьшить судебные издержки.

Простосердечье и спокойный нрав почтенного судьи, а также манеры и приятная внешность Аделины (и отец, и дочь от чистого сердца хвалили Сибиле, так как не имели ни малейшего представления о дипломатической миссии, возложенной на него Гобертенем) пришлось графу по душе, и он предложил молодой и трогательной чете условия, приравнивавшие положение управляющего к положению супрефекта первого класса.

Семейству Сибиле отвели прежнюю квартиру Гобертена — флигель, построенный Буре и предназначенный для украшения пейзажа и для жилища управляющего, — изящное здание в том архитектурном стиле, который нашел себе достаточное отражение в нашем описании Бланжийских ворот. Генерал оставил в распоряжении управляющего лошадь, которую мадмуазель Лагер предоставляла Гобертену ввиду больших размеров поместья, отдаленности рынков, где заключались сделки, и необходимости присматривать за хозяйством. Он назначил Сибиле двадцать пять сетье ржи, три бочки вина, дров по потребности, вдоволь овса и сена и, наконец, три процента с чистого дохода. Раз мадмуазель Лагер в 1800 году получала более сорока тысяч франков дохода, теперь в 1818 году, после сделанных ею значительных земельных приобретений, генерал вполне резонно желал получать шестьдесят тысяч. Значит, новый управляющий мог зарабатывать около двух тысяч франков деньгами. При готовой квартире, провизии и отоплении, при даровом корме для лошади и домашней птицы, при отсутствии налогов управляющий получил еще разрешение завести свой огород, причем граф обещал смотреть сквозь пальцы, если обработать землю помогут эгские садовники. Такие льготы, несомненно, стоили более двух тысяч франков. Ясно, что для человека, зарабатывавшего в оценочном управлении тысячу двести франков, попасть на должность управляющего Эгами значило перейти от нищеты к богатству.

— Если вы будете блюсти мои интересы, я вас не забуду, — сказал генерал. — Во-первых, я имею возможность предоставить вам сбор податей по Кушу, Бланжи и Сернэ, отделив его от сбора

податей по Суланжу. Словом, если вы доведете мой доход до шестидесяти тысяч франков, я в долгу не останусь.

К несчастью, достойный мировой судья и Аделина в порыве охватившей их радости имели неосторожность сообщить мадам Судри об обещании графа касательно сбора податей, не подумав о том, что суланжским сборщиком податей был некто Гербе, брат содержателя почтовых лошадей в Куше и, как увидим в дальнейшем, свойственник Гобертенов и Жандренов.

— Ну, это не так-то просто, моя милая, — сказала мадам Судри. — Но все же пусть граф хлопочет. И представить себе нельзя, как самые трудные дела легко улаживаются в Париже. Я видела кавалера Глюка у ног покойницы барыни, и она пела в его опере, несмотря на то что пошла бы в огонь и воду за Пиччини, одного из самых любезных мужчин того времени. Славный был господин, всякий раз, как придет к барыне, непременно обнимет меня за талию и назовет «очаровательной плутовкой».

— Вот тебе на! — воскликнул жандармский унтер-офицер, когда жена рассказала ему 소중한 Аделиной новость. — Уж не воображает ли он, что будет распоряжаться в нашей долине, все переворачивать по-своему и командовать жителями, как кирасирами у себя в полку: «Направо! Налево!» Привыкли эти господа офицеры приказывать! Да нет, брат, подождешь! За нас вступятся господа Суланж и Ронкероль... Бедный дядя Гербе. Он и не подозревает, что у него собираются оборвать лучшие розы на кусте!

Это выражение в духе Дора²⁹ бывшая горничная позаимствовала у своей хозяйки, позаимствовавшей его у Буре, в свою очередь позаимствовавшего его у одного из сотрудников «Меркурия», а Судри повторял его так часто, что в Суланже оно вошло в поговорку.

Дядя Гербе, суланжский сборщик податей, был прославленным остроумцем, то есть первым шутником в городке и желанным гостем в салоне мадам Судри. Выпад жандармского унтер-офицера против эгского помещика прекрасно отображает мнение, сложившееся о Монкорне в том краю, от Куша до Виль-о-Фэ, при содействии Гобертена, всюду подливавшего масла в огонь.

Сибиле был принят на должность управляющего в конце осени 1817 года. Весь 1818 год генерал не заглядывал в Эги, так как хлопоты, связанные с его женитьбой на мадмуазель де Труавиль, с которой он обвенчался в самом начале 1819 года, задержали его почти на все лето в окрестностях Алансона, в замке будущего тестя, где он ухаживал за своей невестой. Кроме Эгов и великолепного особняка, генерал де Монкорне имел шестьдесят тысяч франков ежегодного дохода с государственной ренты и получал пенсию по чину генерал-лейтенанта в запасе. Правда, Наполеон возвел этого славного рубаку в графы, дав ему герб в виде щита, разделенного на четыре поля: в первом — по голубому полю с золотыми звездами три серебряные пирамиды; во втором — по зеленому полю три серебряных охотничьих рога; в третьем — по красному полю золотая пушка на черном лафете с золотым полумесяцем наверху; в четвертом — по золотому полю зеленая корона с девизом, достойным средневековья: «Труби атаку!» — и все же Монкорне отлично понимал, что отец его был краснодеревцем из Сент-Антуанского предместья, хотя весьма охотно и позабыл бы об этом обстоятельстве. Ему до смерти хотелось получить пэрство. Он ни во что не ставил имевшийся у него большой крест Почетного легиона, крест Святого Людовика и свои сто сорок тысяч франков дохода. Уязвленный бесом аристократизма, он не мог спокойно глядеть на голубую ленту. Славный эслингский кирасир готов был лизать грязь на Королевском мосту, только бы быть принятым у Наварренов, Ленонкуров, Гранлье, Мофриньезов, д'Эспаров, Ванденесов, Шолье, Верней, д'Эрувилей и им подобных.

Начиная с 1818 года, когда ему была доказана невозможность переворота в пользу Бонапартов, Монкорне загорелся желанием породниться с каким-нибудь знатным семейством и через некоторых своих приятельниц, всячески прославлявших его в Сен-Жерменском предместье, предлагал благородным невестам руку и сердце, а в придачу особняк и состояние.

После невероятных усилий герцогиня де Карильяно нашла наконец подходящую для генерала партию в одной из трех ветвей рода де Труавилей, а именно в семье виконта, состоявшего с 1789 года на русской службе и вернувшегося из эмиграции в 1815 году. Сам виконт, не имевший

29 Дора Клод (1734—1780) — французский поэт, представитель светской фривольной поэзии.

как младший член семьи никаких средств, был женат на некоей княжне Шербеловой, принесшей ему в приданое около миллиона; однако с рождением двух сыновей и трех дочерей состояние его значительно уменьшилось. К этому древнему и влиятельному семейству принадлежали: один пэр Франции, маркиз де Труавиль, глава рода и носитель герба, и два обремененных обширным потомством депутата, пристроившихся к финансам, министерству и двору, как рыба к приманке. Поэтому, когда Монкорне был представлен де Труавилям супругой маршала, одной из наиболее преданных Бурбонам наполеоновских герцогинь, его приняли весьма благосклонно. Взамен своего состояния и беззаветной любви к будущей жене Монкорне потребовал для себя назначения в королевскую гвардию, титул маркиза и звание пэра Франции, но все три ветви рода де Труавилей пообещали ему только свою поддержку.

— Вы понимаете, что это значит? — сказала супруга маршала своему старому приятелю, жаловавшемуся на неопределенность подобного обещания. — Королем нельзя распоряжаться, мы можем только постараться, чтобы он сам пожелал...

По брачному контракту Монкорне сделал Виржини де Труавиль своей наследницей. Всецело подчинившись жене, как это явствует из письма Блонде, он пока только мечтал о будущем потомстве. Но зато он был принят Людовиком XVIII, который пожаловал ему орден Святого Людовика, разрешил присоединить к своему смехотворному гербу герб Труавилей и пообещал титул маркиза, когда Монкорне заслужит своей преданностью звание пэра.

Через несколько дней после этой аудиенции был убит герцог Беррийский; Марсан одержал верх, Виллель стал министром; все нити, протянутые Труавилями, порвались, их пришлось подвизывать к новым министерским колышкам.

— Подождем, — сказали Труавили генералу Монкорне, которого, кстати сказать, Сен-Жерменское предместье осыпало любезностями.

Все это объясняет, почему генерал возвратился в Эги только в 1820 году.

Счастье, и не снившееся сыну торговца из Сент-Антуанского предместья, — молодая, изящная, умная и ласковая жена, словом, настоящая Труавиль, раскрывшая перед ним двери всех салонов Сен-Жерменского предместья, парижские удовольствия, которые он спешил ей доставить, — все эти разнообразные радости стерли воспоминание о сцене с эгским управляющим, и генерал забыл не только самого Гобертена, но даже его фамилию. В 1820 году он повез графиню в Эги, чтобы показать ей свое поместье. Он утвердил, не особенно в них вникая, все счета и договоры, представленные Сибиле: счастье ведь не придирчиво. Графиня, которую очень обрадовало, что у их управляющего такая очаровательная жена, осыпала Аделину подарками. Она поручила прибывшему из Парижа архитектору произвести кое-какие перемены в замке, так как решила, к великому восторгу мужа, проводить полгода в этом великолепном поместье. Все сбережения генерала ушли на заказанные архитектору переделки и на прелестную обстановку, выписанную из Парижа. Тогда-то Эги и приобрели тот последний штрих, благодаря которому они стали единственным в своем роде памятником изящества за пять истекших столетий.

В 1821 году Сибиле, можно сказать, вытребовал генерала в Эги ранее мая месяца. Надо было разрешить неотложное дело: 15 мая истек срок девятилетнего договора на тридцать тысяч франков, заключенного Гобертенем в 1812 году с фирмой лесопромышленников.

Прежде всего Сибиле, ревниво оберегая свое честное имя, не хотел вмешиваться в возобновление договора. «Вам известно, ваше сиятельство, — писал он графу, — что я такими делами не занимаюсь». Вдобавок, лесопромышленник претендовал на возмещение убытков от порубок; мадмуазель Лагер, ненавидевшая судебные процессы, шла на это, а деньги делились поровну между арендатором и Гобертенем. Претензия лесопромышленников основывалась на том, что местные крестьяне вели себя так, будто пользуются в Эгских лесах узаконенным правом рубки. Братья Гравло, которые держали в Париже лесной двор, отказывались производить последний взнос, предлагая доказать экспертизой, что ценность леса убавилась на одну пятую, и ссылались на обычай, заведенный еще при мадмуазель Лагер.

«Я уже предъявил этим господам, — писал генералу Сибиле, — иск в виль-о-фэйском суде, ибо в связи с настоящим договором они избрали своим местожительством дом моего бывшего пэра, нотариуса Корбине. Я опасаясь решения в их пользу».

— Дело идет о наших доходах, ангел мой, — сказал генерал, показывая письмо жене. — Не согласитесь ли вы отправиться в Эги раньше, чем в прошлом году?

— Поезжайте, я приеду, как только наступят первые теплые дни, — сказала графиня, радуясь перспективе остаться одной в Париже.

Итак, зная, что смертельная язва пожирает самую крупную статью его дохода, генерал уехал один, с твердым намерением принять самые решительные меры. Но он, как мы увидим, упустил из виду Гобертена.

VIII БОЛЬШИЕ ПЕРЕВОРОТЫ В МАЛЕНЬКОЙ ДОЛИНЕ

— Итак, мэтр Сибиле, — говорил генерал на следующий день после приезда своему управляющему, доказывая таким дружеским обращением, как высоко он ценит юридические познания бывшего писца, — стало быть, положение наше, выражаясь министерским слогом, весьма затруднительно?

— Так точно, ваше сиятельство, — ответил Сибиле, следуя за генералом.

Счастливый владелец Эгов прогуливался перед конторой по небольшому цветнику, разбитому Сибиле, за которым простирался луг, орошаемый великолепным каналом, описанным Блонде. Отсюда виднелся Эгский замок, а из его окон был виден боковой фасад флигеля, отведенного управляющему.

— Но в чем же трудности? — снова заговорил генерал. — Я буду судиться с братьями Гравло. Денежные раны не смертельны. Я широко оповещу о торгах и благодаря конкуренции получу за свой лес настоящую цену.

— Дела так не делаются, ваше сиятельство, — возразил Сибиле. — Ну, а если не окажется желающих, что тогда?

— Сам буду сводить лес и торговать им.

— Как? Вы сами сделаетесь лесоторговцем? — спросил Сибиле, заметив, что генерал пожимает плечами. — Хорошо, пусть так. Оставим в стороне ваши здешние дела. Ну, а в Париже? Вам придется нанять там лесной склад, оплатить патент, налоги, сплавной сбор, ввозную пошлину, оплатить выгрузку бревен, укладку в штабели, наконец, держать приказчика...

— Нет, это неосуществимо, — поспешно возразил запуганный генерал. — Но почему же не окажется желающих?

— У вас, ваше сиятельство, есть здесь враги.

— Кто же?

— Прежде всего господин Гобертен...

— Это кто? Тот мошенник, место которого вы заступили?

— Не так громко, ваше сиятельство, — воскликнул Сибиле, — не так громко! Моя кухарка может услышать...

— Как! — возмутился генерал. — У себя дома я не могу говорить о негодяе, который меня обкрадывал?

— Ради вашего спокойствия, ваше сиятельство, отойдемте подальше!.. Господин Гобертен — мэр в Виль-о-Фэ.

— Ах, так! С чем я и поздравляю Виль-о-Фэ! Вот, черт побери, недурной градоправитель!

— Соболаговолите выслушать меня, ваше сиятельство, поверьте, это очень серьезно: дело идет о вашем будущем пребывании здесь.

— Ну, слушаю. Сядем на скамейку.

— Ваше сиятельство, когда вы уволили господина Гобертена, ему пришлось подыскать себе какое-нибудь занятие, потому что он был небогат...

— Небогат? Да ведь он воровал здесь по двадцать тысяч франков в год!

— Ваше сиятельство, я вовсе не собираюсь его оправдывать, — возразил Сибиле. — Я желаю процветания Эгам, хотя бы только для того, чтобы доказать бесчестность Гобертена. Но не будем себя обманывать: это самый опасный мошенник во всей Бургундии, а при его теперешнем

положении он может вам сильно навредить.

— Каким образом? — спросил генерал с озабоченным видом.

— Сейчас Гобертен снабжает дровами почти треть Парижа. Он здесь главный агент по лесным операциям, руководит эксплуатацией леса, рубкой, охраной, сплавом, выгрузкой из воды и дальнейшей отправкой лесных материалов. Он постоянно имеет дело с рабочими и устанавливает им плату. Три года потратил он на то, чтобы добиться такого положения, но теперь чувствует себя, как в крепости. Он — доверенное лицо всех лесопромышленников, ни одному из них он не оказывает предпочтения, он наладил все работы к их общей выгоде: теперь лесные операции значительно облегчены и обходятся им много дешевле, чем в те времена, когда каждый лесоторговец держал своего приказчика. Таким путем он ловко сумел устранить конкуренцию и забрал все подряды в свои руки; удельное ведомство и казна — его данники. Их подряды на вырубку леса, идущие с торгов, всегда достаются клиентам Гобертена; никому уже не по силам с ним тягаться. В прошлом году господин Мариот из Оссэра, подстрекаемый главным управляющим уделов, попробовал было конкурировать с Гобертенем. Для начала Гобертен заставил его сполна оплатить участки; затем, когда дело дошло до сводки леса, авонские рабочие заломили такую цену, что господину Мариоту пришлось выписать рабочих из Оссэра, а здешние рабочие их поколотили. Господин Мариот затеял судебный процесс по делу о стачке и драке. Процесс обошелся ему недешево; он оплатил все судебные издержки, так как у осужденных не оказалось и ломаного гроша за душой, да, кроме того, у него на совести то, что из-за него осудили бедняков. Судясь с бедняками, только озлобляешь против себя население. Позвольте попутно высказать вам эту истину, потому что вам придется вести борьбу со всей беднотой здешнего кантона. Но дело этим не ограничилось. В итоге старик Мариот, человек неплохой, понес еще убыток на всей операции. Ему приходилось платить за все наличными, а продавать в рассрочку, так как Гобертен, чтобы разорить конкурента, отпускал лесной материал с неслыханной рассрочкой, и Мариот поневоле продавал лес иной раз на пять процентов ниже себестоимости, в результате чего его кредит сильно пошатнулся. Короче говоря, Гобертен и по сию пору так преследует и донимает Мариота, что тот, по слухам, собирается покинуть не только Оссэр, но даже выехать из департамента, и хорошо сделает. После этого случая помещики надолго попали в лапы к лесоторговцам, которые теперь сами устанавливают цены, как парижские скупщики мебели на аукционах. Но вместе с тем Гобертен избавляет помещиков от стольких хлопот, что они в конце концов выигрывают на этом деле.

— Каким же образом? — спросил генерал.

— Во-первых, всякое упрощение рано или поздно идет на пользу всем заинтересованным лицам, — ответил Сибиле. — Затем помещики могут быть уверены в поступлении доходов. А в сельскохозяйственном деле это главное — вы в этом скоро убедитесь! Наконец, господин Гобертен — родной отец для рабочих: он им хорошо платит и никогда не оставляет без заработка; а так как семьи этих рабочих живут в окрестных деревнях, то у лесопромышленников и помещиков, которые поручили вести свои дела Гобертену, вот как господа де Суланж и де Ронкероль, крестьяне деревьев не рубят: они собирают валежник, и только.

— Вижу, что мошенник Гобертен не терял даром времени! — воскликнул генерал.

— Да, это человек ловкий! — подтвердил Сибиле. — По его словам, он теперь управляет долей половиной департамента, вместо того чтобы управлять Эгами. С каждого он берет немножко, но при двухмиллионном обороте это «немножко» дает ему от сорока до пятидесяти тысяч франков в год. «За все платят парижские печи!» — говорит он. Вот какой у вас противник, ваше сиятельство! Мой вам совет сложить оружие и пойти на мировую. Как вы знаете, он в дружбе с суланжским жандармским унтер-офицером Судри и с нашим бланжийским мэром господином Ригу; все жандармы — его ставленники; бороться с разоряющими вас злоупотреблениями при таких условиях совершенно невозможно. За последние два года ваши леса окончательно загублены. У господ Гравло есть шансы выиграть процесс, ибо они говорят: «Согласно арендному договору охрана леса лежит на вас; вы его не охраняете, чем наносите нам убыток; потрудитесь этот убыток возместить». Рассуждение правильное, но это еще не основание, чтобы выиграть процесс.

— Надо быть готовым к процессу, хотя бы и с денежными потерями, лишь бы оградить себя от таких притязаний в будущем, — промолвил генерал.

— Вы очень обрадуете Гобертена, — заметил Сибиле.

— Чем?

— Судиться с господами Гравло — это значит схватиться врукопашную с Гобертенем, их представителем, — ответил Сибиле. — Гобертен только об этом процессе и мечтает. Он так и горит, хвалится, что доведет дело до кассационного суда.

— Ах он мошенник!.. Ах он...

— Если вы вздумаете сами сводить свои леса, — продолжал Сибиле, поворачивая нож в ране, — вы попадете в руки рабочих, которые запросят с вас не «купеческую», а «господскую» цену и отольют вам такую пулю, что вы окажетесь в положении бедняги Мариота и вам придется продавать лес себе в убыток. Если вы будете искать арендатора, вам его не найти: трудно ожидать, чтобы кто-нибудь ради частного лица пошел на риск, на который старик Мариот пошел в интересах уделов и казны... Посмотрел бы я, как этот голубчик будет жаловаться начальству на свои потери! Начальство — это чиновник, похожий на вашего покорного слугу, когда он служил в оценочном управлении, — почтенный субъект в потертом сюртуке, читающий газету за канцелярским столом. Получает ли он сто франков в месяц или тысячу — разницы никакой! Попробуйте поговорить о каких-нибудь скидках, о каких-нибудь льготах с государственным казначейством, представленным таким чиновником! Он будет слушать вас, чиня перо и посвистывая. Вы вне закона, ваше сиятельство!

— Что же делать? — гневно крикнул генерал и принялся быстро шагать взад и вперед около скамейки.

— Ваше сиятельство, то, что я сейчас скажу, отнюдь не в моих интересах: вам надо продать Эги и уехать отсюда! — выпалил вдруг Сибиле.

Услышав эти слова, генерал подскочил, как ужаленный, и уставился на Сибиле испытующим взглядом.

— Чтобы генерал императорской гвардии отступил перед такими негодьями, да еще когда графине нравятся Эги!.. — воскликнул он. — Да я отхлестаю Гобертена по щекам на площади в Виль-о-Фэ, он поневоле будет со мной драться, и я убью его, как собаку!

— Ваше сиятельство, Гобертен не так глуп, чтобы ввязываться с вами в ссору. К тому же нельзя безнаказанно оскорблять мэра такой значительной супрефектуры, как Виль-о-Фэ.

— Я добьюсь, чтобы его сместили. Травили меня поддержат, дело идет о моих доходах...

— Вам это не удастся, ваше сиятельство. У Гобертена сильная рука! Вы только создадите себе затруднения, из которых вам не выпутаться...

— Ну, а процесс? — спросил генерал. — Надо думать о сегодняшнем дне.

— Ваше сиятельство, я устрою так, что вы его выиграете, — сказал Сибиле с выражением скромной решимости на лице.

— Молодец, Сибиле! — воскликнул генерал, горячо пожимая руку управляющего. — Но каким образом?

— Вы выиграете дело в кассационном суде, когда оно туда в конце концов попадет. По-моему, братья Гравло правы, но мало быть правым по закону и по существу, надо еще все правильно обставить с формальной стороны, а они пренебрегли формальностями, которые всегда важнее самой сущности. Почему арендаторы не предупредили вас о необходимости более тщательной охраны леса? Нельзя требовать по окончании срока договора возмещения убытков, понесенных за время девятилетней аренды; в договоре имеется параграф, на который можно в данном случае сослаться. Вы проиграете дело в Виль-о-Фэ, может быть, проиграете его и во второй инстанции, но выиграете его в Париже. Вам придется потратить много денег на экспертизы, пойти на разорительные расходы. Даже выиграв дело, вы израсходуете от двенадцати до пятнадцати тысяч франков; но если вы захотите, вы непременно выиграете дело. Этот процесс не примирит с вами братьев Гравло, так как для них он будет еще разорительнее, чем для вас; они вас возненавидят, вы прослывете сутягой, на вас будут клеветать; но процесс вы все-таки выиграете...

— Что же делать? — повторил генерал, на которого доводы Сибиле действовали, как самые злые горчичники.

Он вспомнил, как проучил Гобертена хлыстом, и теперь, кажется, охотно отхлестал бы себя

самого, и Сибиле без труда читал на его раскрасневшемся лице все переживаемые им муки.

— Что делать, ваше сиятельство?.. Выход один: пойти на мировую. Но самим вам мириться неудобно. Надо сделать так, будто я вас обворовываю. Правда, для нас, бедняков, все богатство и утешение в добром имени, и нам не следует, конечно, казаться мошенниками. Ведь о нас всегда судят по тому, чем мы кажемся. Гобертен в свое время спас жизнь мадмуазель Лагер, а все думали, что он ее обкрадывал; зато она вознаградила его за преданность, завещав ему бриллиант стоимостью в десять тысяч франков, мадам Гобертен носит его теперь в фероньерке.

Генерал еще раз окинул Сибиле испытующим взглядом, но сквозившая в этом взгляде подозрительность, прикрытая благодушной улыбкой, по-видимому, не дошла до управляющего.

— Моя бесчестность так обрадует господина Гобертена, — продолжал Сибиле, — что он сразу станет мне покровительствовать. Поэтому он внимательнейшим образом выслушает следующее мое предложение: «Я могу сорвать с графа двадцать тысяч франков в пользу братьев Гравло при условии, что они поделятся со мной. Если противники ваши согласятся, я верну вам десять тысяч франков, вы потеряете только десять тысяч, — приличия соблюдены, и дело прекращено.

— Ты добрый малый, Сибиле, — сказал генерал, пожимая ему руку. — Если ты сумеешь и в дальнейшем так же улаживать дела, ты в моих глазах золото, а не управляющий!

— Что касается дальнейшего, — ответил Сибиле, — то вы не умрете с голоду, если года два-три не будете сводить лес. Для начала примитесь хорошенько его оберегать. За это время в Авоне утечет немало воды. Гобертен может умереть, а может, он настолько разбогатеет, что отстранится от дел; наконец, у вас будет время найти ему конкурента, — пирог достаточно велик, чтобы его поделить пополам; в противовес Гобертену вы подыщите другого.

— Сибиле, — воскликнул старый солдат, приходя в восторг от открывающихся перед ним различных способов разрешить задачу, — я дам тебе тысячу экю, если ты закончишь дело таким образом; а насчет дальнейшего подумаем.

— Ваше сиятельство, — сказал Сибиле, — прежде всего берегите леса. Взгляните, в какое состояние привели их крестьяне за два года вашего отсутствия... Что мог я с этим поделаться? Я управляющий, а не сторож. Для охраны Эгов нужно иметь конного объездчика и трех лесников.

— Будем защищаться. Раз это война — будем воевать! Этого я не боюсь, — сказал Монкорне, потирая руки.

— Это денежная война, — заметил Сибиле, — и она покажется вам труднее обычной. Можно убить человека, но корысть не убьешь. Вы будете биться с врагом на том поле, где сталкиваются все землевладельцы, это поле — сбыт! Мало уметь производить — надо уметь продать, а чтобы продать, надо быть в добрых отношениях со всеми.

— За меня будет местное население.

— А чем вы этого добьетесь? — спросил Сибиле.

— Благотворительностью.

— Оказывать благодеяния крестьянам нашей долины и мелким суланжским обывателям? — воскликнул Сибиле, вдруг начав косить еще сильнее, ибо один его глаз гораздо больше светился иронией, нежели другой. — Вы, ваше сиятельство, не отдаете себе отчета в том, что собираетесь предпринять; да здесь самого господина нашего Иисуса Христа вторично распяли бы на кресте!.. Если вам дорог собственный покой, ваше сиятельство, берите пример с мадмуазель Лагер, закройте глаза на то, что вас грабят... или же нагоните на крестьян страх. Народом, женщинами и детьми можно управлять только страхом. В этом великий секрет силы Конвента и императора.

— Вот как! Стало быть, мы здесь в вертепе разбойников! — воскликнул генерал.

— Мой друг, — обратилась к Сибиле подошедшая Аделина, — завтрак готов. Простите, граф, но муж еще ничего не ел с самого утра, он ездил сегодня в Ронкероль продавать зерно.

— Ступайте, ступайте, Сибиле!

На следующее утро, поднявшись чуть свет, бывший кирасир снова прошел через Авонские ворота, имея в виду поговорить со своим единственным сторожем и выяснить его настроение.

Участок Эгского леса площадью в семьсот — восемьсот арпанов лежал по течению Авоны, и, чтобы сохранить величественный вид реки, по обоим берегам почти прямого русла на протяжении трех лье было оставлено по полосе невырубленных высоких деревьев. Фаворитка Генриха IV,

некогда владевшая Эгами, такая же страстная охотница, как и сам Беарнец, приказала выстроить в 1593 году одноарочный мост, который соединил эту часть леса с купленным для нее гораздо более значительным участком, расположенным на холме по ту сторону реки. Тогда-то и были построены Авонские ворота и охотничий домик, а всем известно, с какой пышностью тогдашние архитекторы сооружали здания, служившие охоте, главному развлечению дворянства и королей. Отсюда тянулось шесть аллей, сходящихся к площадке в форме полумесяца. Посредине этого полумесяца возвышался обелиск, на одной стороне которого был изображен наваррский герб, а на другой герб графини де Море; обелиск завершался солнцем, некогда покрытым позолотой. Вторая площадка в форме полумесяца, разбитая на берегу Авоны, соединялась с площадкой, устроенной у ворот, прямой аллей, в конце которой был виден выгнутый горб упомянутого моста в венецианском вкусе.

Между двумя красивыми решетками, напоминавшими великолепную, к сожалению разрушенную, решетку сада на Королевской площади в Париже, возвышался кирпичный флигель под островерхой кровлей, с фасадом, отделанным, как и в замке, лестничной кладкой из камня, тесаного алмазной гранью. Этот старинный архитектурный стиль, придававший флигелю казенный вид, подходит в городах только к тюрьмам, но среди лесного пейзажа он приобретает своеобразную величавость. За купой деревьев виднелись псарни, соколиный двор, фазанник и помещения для егерьей, в свое время восхищавшие всю Бургундию, а теперь пришедшие в упадок.

В 1595 году из этого роскошного охотничьего домика выступила королевская охота; впереди бежали прекрасные собаки, излюбленные Паоло Веронезе и Рубенсом; лошади с лоснящимися голубовато-белыми крупами, уцелевшие только в чудесных творениях Вувермана, приплясывали под всадниками; за ними следовали охотники в парадной ливрее, словно сошедшие с полотна Ван дер Мелена; доезжачие, в сапогах с раструбами, в штанах желтой кожи, оживляли эту картину. Под наваррским гербом обелиска, воздвигнутого в ознаменование посещения Беарнца и охоты его с прекрасной графиней де Море, была проставлена соответствующая дата. Ревнивая фаворитка, сын которой был узаконен королем, не пожелала видеть на обелиске роковой для нее французский герб.

И вот перед взором генерала предстало это великолепное здание с позеленевшей от мха четырехскатной крышей. Изъеденные временем камни облицовки, казалось, выставили напоказ все свои язвы, вызывая об осквернении памятника старины. Из свинцовых оконных переплетов, кое-где разошедшихся, выпали восьмиугольные стекла, и окна как будто окривели. Между балюстрадами перил цвели желтофиоли, во все расщелины впивался белыми мохнатыми когтями плющ.

Всюду была мерзость запустения, отпечаток, накладываемый временными постояльцами на все, чем они пользуются. Два окна во втором этаже были заткнуты сеном. В окно нижнего была видна комната, заваленная всяким инструментом и вязанками хвороста; а из другого окна высывала морду корова, ставя в известность посетителей, что Курткюис, не желая совершать длинный путь из флигеля к службам, обратил в коровник парадную залу — ту самую залу, где в кессонах лепного потолка были изображены гербы всех владельцев поместья Эги!..

Двор был обезображен почерневшим и грязным частоколом, за которым под дощатым навесом жили свиньи, а в отдельных загородках, откуда помет вычищался один раз в полгода, — утки и куры. На кустах, нахально торчавших по всему двору, сушились старые тряпки.

В тот момент, когда генерал подъезжал по ведущей от моста аллее, жена Курткюиса была занята чисткой котелка, в котором только что варила кофе с молоком. Сторож сидел в кресле, греясь на солнце, и взирал на жену взглядом дикаря. Услышав топот лошади, он обернулся и, узнав во всаднике графа, сконфузился.

— Ну, приятель Курткюис, — обратился генерал к сторожу, — чему же удивляться, что посторонние вырубают мои леса раньше господ Гравло: ты, очевидно, думаешь, что живешь здесь на покое!

— Честное слово, ваше сиятельство, я провел столько ночей в лесу, что схватил простуду. Сегодня утром я совсем занемог, жена даже ставила мне припарки; как изволите видеть, она чистит котелочек, в котором их грела.

— Вот что, любезный, — сказал генерал, — я не знаю иной болезни, кроме голода, от которой помогали бы кофейные припарки. Слушай, мошенник! Я вчера объехал свои леса и леса де

Ронкеролей и де Суланжей; их леса в полной сохранности, а мой — в самом плачевном состоянии.

— Эх, ваше сиятельство, ведь они — здешние старожилы! Их добра не трогают. Да разве мне одному с шестью общинами управиться? Жизнь мне дороже вашего леса! Попробуй кто-нибудь как следует караулить ваш лес, он живо получит вместо награды пулю в лоб, — подстрелят из-за угла.

— Трус! — крикнул генерал, едва сдерживая ярость, вызванную дерзким ответом Курткюиса. — Сегодня ночь была прекрасная, но она обошлась мне в сто экю, а в будущем даст тысячу франков убытка... Или вы, милейший, уберетесь отсюда, или же все должно измениться. Вину вашу я готов простить. Слушайте мои условия: в вашу пользу поступают штрафы, и, кроме того, вы будете получать по три франка с каждого протокола. Если я ошибусь в своем расчете, то вы получите расчет, и притом без пенсии; если же вы будете мне верно служить, если вам удастся прекратить порубки, обещаю вам пожизненную пенсию в сто экю. Подумайте-ка хорошенько. Вот шесть дорог, — сказал он, указывая на шесть аллей, — надо выбрать одну, как сделал это я, не опасаясь пуль; постарайтесь выбрать верную дорогу!

Курткюис, низенький сорокашестилетний человек, с лицом круглым, как луна, был большим лодырем. Он рассчитывал до самой смерти прожить в этом флигеле, который уже считал своим. Две его коровы кормились в лесу, дрова у него были даровые, он возился у себя в саду и не гонялся за порубщиками. Такая нерадивость была на руку Гобертену, и Курткюис это понимал. Порубщика он ловил только в том случае, если имел против него зуб. Прежде он преследовал девушек, не поддававшихся на его ухаживания, да тех людей, с кем не поладил; но теперь он уже давно жил со всеми в мире, крестьяне его любили за снисходительность.

В «Большом-У-поении» он всегда был желанным гостем. Женщины, собиравшие хворост, ни в чем ему не перечили, жена его и он сам получали подарки натурой ото всех мародеров. Дрова ему доставляли на дом, виноградник обрабатывали. Словом, все лесокрады работали на него. Насчет будущей своей судьбы он не беспокоился, рассчитывая на Гобертена и на два арпана земли при ожидаемой продаже Эгов; и вдруг его мирный сон был потревожен резкими словами генерала, который наконец, по прошествии четырех лет, проявил истинную природу собственника и впредь не желал быть жертвой обмана.

Курткюис надел фуражку, ягдташ, гетры, перевязь со свежееиспеченным гербом Монкорне, перекинул через плечо ружье и, поглядывая на окружающие леса, посвистывая своих собак, не спеша зашагал к Виль-о-Фэ с тем беззаботным видом, за которым крестьяне умеют скрывать свои самые глубокие думы.

— Ты жалуешься на Обойщика, — сказал Гобертен Курткюису, — а ведь теперь счастье в твоих руках! Как, этот дуралей обещает платить тебе по три франка за протокол и отдавать в твою пользу штрафы! Сумей только сговориться с приятелями, и ты наготовишь ему этих протоколов сколько угодно, хоть целую сотню. Да если у тебя будет тысяча франков, ты купишь Башельри у Ригу и сам сделаешься хозяином. Только, чур, лови тех, кто гол как сокол. С нищего взятки гладки. Не отказывайся от предложения Обойщика и не мешай ему пожинать убытки, если он их любит. У каждого свой вкус. Предпочел же дядюшка Мариот убытки барышам, несмотря на все мои предупреждения.

Курткюис вернулся домой, еще больше проникшись уважением к Гобертену и сторя желанием поскорее сделаться землевладельцем и буржуа, как другие.

Вернувшись в замок, генерал Монкорне поделился с Сибиле впечатлениями от своей поездки.

— Вы, ваше сиятельство, поступили совершенно правильно, — сказал управляющий, потирая руки, — но не надо останавливаться на полдороге. Следовало бы сместить казенного стражника, раз он попустительствует крестьянам, опустошающим наши луга и поля. Вы, ваше сиятельство, легко могли бы получить назначение на должность мэра здешней общины и взять на место Водуайе какого-нибудь бывшего солдата, который не побоится выполнить отданное ему приказание. Крупный землевладелец должен быть мэром своей округи. Вспомните, сколько у нас было затруднений при теперешнем мэре!

Мэр бланжийской общины, по фамилии Ригу, бывший бенедиктинский монах, женился в

первом году Республики на служанке прежнего бланжийского кюре. Несмотря на то, что женатый монах не должен был пользоваться симпатиями префектуры, его с 1815 года держали на должности мэра, так как в Бланжи он один был способен занимать этот пост. Но когда в 1817 году епископ назначил аббата Бросета в бланжийский приход, в течение двадцати пяти лет остававшийся без духовного пастыря, между вероотступником и молодым церковнослужителем, с характером которого мы уже познакомились, естественно, разгорелась жестокая борьба.

Война, завязавшаяся с той поры между мэрией и домом священника, принесла популярность презираемому до того времени отцу города: Ригу, ненавистный крестьянам за его ростовщические махинации, вдруг превратился в защитника их политических и экономических интересов, которым будто бы угрожала Реставрация, а в особенности духовенство.

Главный орган либеральной партии газета «Конститюсьонель», которую в складчину выписывали двадцать человек на имя дядюшки Сокара, владельца питейного заведения, погостив в «Кофейне мира» и побывав в руках всех местных чиновников, на седьмой день переключивалась к Ригу. Ригу передавал газету мельнику Ланглуэме, а тот уступал ее уже в окончательно истрепанном виде всем умеющим читать. Таким образом, передовицы и антирелигиозные измышления парижского либерального листка определяли общественное мнение Эгской долины. Поэтому Ригу, подобно достопочтенному аббату Грегуару³⁰, обратился в героя. У него, как и у некоторых парижских банкиров, политика, окрашенная в популярный красный цвет, прикрывала гнусное грабительство.

В данное время монах-расстрига, как в свое время великий оратор Франсуа Келлер³¹, слыл защитником народных прав, меж тем как несколько лет назад Ригу не решился бы выйти в поле после наступления темноты из боязни попасть в ловушку и умереть от «несчастливого случая». Преследования за политические убеждения не только возвеличивают человека, но и обеляют его прошлое. В этом отношении либеральная партия оказалась великим чудотворцем. Ее пагубный орган, мудро понявший всю выгоду быть столь же пошлым, столь же клеветническим, столь же легковверным и глупо вероломным, как и все человеческие сборища, составляющие в совокупности «публику», быть может, нанес такой же ущерб частным интересам, как и интересам церкви.

Ригу надеялся встретить в опальном бонапартистском генерале, в сыне народа, выращенном революцией, врага Бурбонов и попов; но генерал в силу своих тайных честолюбивых замыслов постарался в первые приезды в Эги уклониться от визита супругов Ригу.

Это была вторая важная ошибка, допущенная генералом из-за его аристократических замашек, и когда читатель ближе познакомится с ужасной личностью Ригу, хищника-ростовщика Эгской долины, он поймет, как велика была эта ошибка, к тому же еще усугубленная дерзкой выходкой графини, о чем будет рассказано в своем месте при изложении истории Ригу.

Если бы Монкорне постарался снискать расположение мэра, если бы он домогался его дружбы, — влияние расстриги, быть может, парализовало бы влияние Гобертена. Но вместо этого генерал затеял в виль-о-фэйском суде три процесса против бывшего монаха, и один из них был уже выигран Ригу. До сего дня Монкорне так поглощали его честолюбивые проекты и женитьба, что он совершенно позабыл о Ригу; но как только Сибиле посоветовал ему занять место мэра, он нанял почтовых лошадей и отправился с визитом к префекту.

Префект, граф Марсиаль де ла Рош-Югон, государственный советник, был другом генерала с 1804 года. По его совету Монкорне, видевшийся с ним в Париже, и приобрел Эги. Граф Марсиаль, при Наполеоне состоявший префектом и сохранивший эту должность при Бурбонах, ухаживал теперь за епископом, чтобы удержаться на своем посту. А епископ уже неоднократно просил о смещении Ригу. Марсиаль, хорошо знакомый с положением дел в общине, очень обрадовался просьбе генерала, и не далее как через месяц Монкорне получил желаемое назначение.

По предложению своего друга генерал остановился в префектуре, и случай, впрочем, довольно естественный, свел его там с отставным унтер-офицером бывшей императорской гвардии, кото-

30 Аббат Грегуар Анри (1750—1831) — деятель французской революции 1789 г.; член Конвента; выступал за свержение монархии и установление республики. В период Реставрации принадлежал к либеральной оппозиции.

31 Франсуа Келлер — банкир, действующее лицо ряда произведений Бальзака.

рому затягивали назначение пенсии. Генерал однажды уже помог этому храброму кавалеристу по фамилии Груазон, и тот не забыл оказанной ему услуги; он рассказал графу о своих злоключениях; у него не было никаких средств к существованию. Монкорне пообещал Груазону выхлопотать причитающуюся ему пенсию и предложил место стражника в Бланжи, предоставив ему таким образом возможность отплатить за услугу преданной службой. Новый мэр и новый стражник одновременно приступили к исполнению своих обязанностей, и, разумеется, генерал снабдил своего солдата достаточно внушительными инструкциями.

От прежнего стражника, по фамилии Водуайе, крестьянина из Ронкероля, как и от большинства казенных стражников, было мало проку, он без толку слонялся взад и вперед, занимаясь пустяками и милостиво принимал лесть бедняков, всегда готовых подкупить этого низшего представителя власти, этого часового, охраняющего собственность. Водуайе был знаком с г-ном Судри, суланжским жандармским унтер-офицером, так как жандармские унтер-офицеры, выполняющие при составлении дознаний по уголовным делам почти что судебные функции, постоянно имеют дело со стражниками, своими естественными шпионами. Судри направил его к Гобертену, который весьма радушно принял своего старого знакомого, угостил вином и выслушал рассказ о его несчастьях.

— Голубчик, — сказал ему виль-о-фэйский мэр, умевший разговаривать с каждым на его языке, — то, что случилось с тобой, ожидает нас всех. Дворяне вернулись, а графы и герцоги, которых понаделал император, — заодно с ними; все они хотят раздавить народ, восстановить прежние права и отнять у нас землю. Но мы — бургундцы, и будем защищаться; надо прогнать *арми-наков* обратно в Париж. Возвращаясь в Бланжи, будешь работать у господина Полисара приказчиком по продаже леса, — он взял с торгов Ронкерольские леса. Ступай, голубчик, я найду тебе работу на целый год. Но твердо запомни: это лес *наш*, чтоб никаких порубок, гони порубщиков в шею! Пускай они идут рубить в Эги. А продажный хворост пусть покупают у нас, а не в Эгах. Скоро опять будешь стражником, долго все это не протянется! Генералу надоест жить среди «воров»! Знаешь, ведь Обойщик обозвал меня вором, меня, сына честного республиканца, меня, зятя Мушона, славного представителя народа, который не оставил после себя ни сантима. Похоронить не на что было!

Генерал увеличил жалованье новому стражнику до трехсот франков и выстроил дом для мэрии, где и отвел ему помещение; затем он женил Груазона на дочери своего недавно умершего фермера, оставившего сироте три арпана виноградника. Не удивительно, что Груазон был предан генералу, как собака хозяину. Его вполне законную верность признавала вся община. Стражника боялись и уважали, но так же, как капитана корабля, нелюбимого экипажем; крестьяне сторонились его, как прокаженного. Они встречали молчанием или скрытой под личиной благодушия насмешкой этого караульщика, которого подстерегали другие караульщики. Один против многих, он был совершенно беспомощен. Порубщики изобретали всяческие способы красть лес, не оставляя улики, и старый служака выходил из себя, чувствуя свое бессилие. В своих новых обязанностях он открыл прелесть партизанской войны и радость охоты — охоты на преступление. Он привык к честной войне, требующей, чтобы игра велась до некоторой степени в открытую, и был врагом всякого вероломства; поэтому он возненавидел своих противников, изобретательных на всяческие подвохи, изощренных в воровстве и больно задевавших его самолюбие. Он скоро заметил, что владения соседних помещиков застрахованы от набегов, что крестьяне покушаются только на собственность графа Монкорне, и тогда он проникся презрением к крестьянам, считая, что с их стороны черная неблагодарность грабить наполеоновского генерала, человека исключительной доброты и великодушия; и скоро к презрению присоединилась ненависть. Но он тщетно пытался стать вездесущим, он не мог попасть всюду, а правонарушители действовали всюду и одновременно. Груазон дал понять генералу, что необходимо организовать охрану по всем правилам военного искусства, что при всем его рвении он один ничего не сделает, и указал ему на злые умыслы жителей Эгской долины.

— Тут что-то кроется, ваше превосходительство, — сказал он. — Уж очень они осмелели, ничего не бояться, словно за них сам господь бог!

— Посмотрим, — ответил граф.

Роковое слово! Для крупных политиков глагол «смотреть» не должен иметь будущего времени.

Монкорне в этот момент был занят разрешением вопроса, казавшегося ему более срочным: он подыскивал себе заместителя на время пребывания в Париже. Так как помощником мэра мог быть только человек грамотный, ему не оставалось ничего другого, как остановить свой выбор на Ланглуэме, арендаторе мельницы. Выбор оказался более чем неудачным. Не говоря уже о том, что интересы генерала-мэра и мельника-заместителя были диаметрально противоположны, Ланглуэме вел еще какие-то темные дела с Ригу, ссужавшим его деньгами для оборота и закупок. Мельник покупал весь укос с лугов замка на сено своим лошадям, причем благодаря его проискам Сибиле не удавалось продать этот укос никому, кроме него. Каждый раз все луга в общине оказывались проданными по хорошей цене раньше эгских лугов; и эгские покосы, оставшиеся последними, шли по дешевой цене, хотя были лучше других; ясно, что Ланглуэме мог пригодиться генералу лишь как временный заместитель; но во Франции временное — вечно, хотя французов упрекают в непостоянстве. Ланглуэме по совету Ригу притворился горячо преданным генералу. Итак, он был заместителем мэра в тот момент, когда, подчиняясь всемогуществу автора, начинается наша драма.

В отсутствие мэра в общинном совете царил Ригу, который, само собой разумеется, состоял его членом. Он добивался решений, противных интересам генерала. То он проводил ассигнование средств на расходы, выгодные только крестьянам и основной тяжестью ложившиеся на владельца Эгов, который по обширности своего имени платил две трети налогов; то по его настоянию совет отклонял такие полезные затраты, как прибавка оклада аббату, ремонт церковного дома или жалование (sic!) школьному учителю.

— Что же будет с нами, если крестьяне выучатся грамоте? — наивно сказал генералу Ланглуэме в оправдание такого нелиберального решения, отвергнувшего учителя из «Братства учения Христова», которого аббат Бросет пытался устроить в Бланжи.

По возвращении в Париж генерал, очень довольный Груазоном, решил отыскать старых солдат императорской гвардии, рассчитывая с их помощью должным образом наладить охрану Эгов. После долгих поисков, после расспросов у своих приятелей и офицеров, состоявших на половинном окладе, он раскопал Мишо, отставного вахмистра из кирасиров наполеоновской гвардии, одного из тех людей, которых солдаты на своем солдатском языке называют «неуваристыми», — прозвище, явно отдающее бивуачной кухней, где частенько кормят неуварившимися бобами. Мишо подобрал себе в помощники трех своих знакомых, уверенный, что они будут служить генералу не за страх, а за совесть.

Первый из них, по фамилии Штейнгель, чистокровный эльзасец, был незаконный сын носившего ту же фамилию генерала, убитого во время первых побед Бонапарта, в самом начале итальянских походов. Рослый и сильный, он принадлежал к категории солдат, привыкших, как русские солдаты, повиноваться беспрекословно. Ничто не могло остановить его при исполнении долга, он, не рассуждая, арестовал бы императора или папу, если бы получил на то приказание. Опасность он презирал. Несмотря на свое бесстрашие, Штейнгель не получил ни одной царапины за шестнадцать лет войны. Все тяготы службы он принимал со стоическим безразличием и засыпал под открытым небом, как в своей постели. При каждой новой невзгоде он только говорил: «Что поделаешь, верно, уж сегодня день такой выдался».

Второй лесник, Ватель, из полковых выкормышей, капрал вольтижеров³², развеселый малый, несколько вольный в обхождении с прекрасным полом, без всяких религиозных принципов, храбрый до дерзости, был способен с усмешкой расстрелять своего товарища. Без всяких перспектив в будущем, не зная, за какое дело приняться, он охотно согласился на предложенную службу, которая рисовалась ему как ряд удачных набегов и стычек, а так как он боготворил «великую армию» и императора, то поклялся служить храброму Монкорне верой и правдой. Это был один из тех неисправимых задир, которым жизнь без врагов кажется бесцветной, — словом, натура сутяги и полицейского. А потому, не случись тут судебного пристава, он арестовал бы старуху Тонсар вме-

32 *Вольтижеры* — отряды легкой пехоты, существовавшие во Франции от наполеоновских войн до 1870 г.

сте с ее вязанкой в самом «Большом-У-поении», послав к черту закон о неприкосновенности жилища.

Третий сторож, Гайяр, старый, весь израненный солдат, дослужившийся до подпоручика, принадлежал к разряду солдат-хлебопашцев. По сравнению с судьбой императора все казалось ему безразличным; но это безразличие стоило страстности Вателя. На руках у него была незаконная дочь, служба у генерала давала ему средства к существованию, и он поступил на новое место совершенно так же, как поступил бы на службу в полк.

Генерал прибыл в Эги раньше своих новых служак, чтобы уволить Курткюиса, и был поражен наглым бесстыдством сторожа. Бывает повиновение, равносильное злейшему издевательству раба над приказанием господина. Всякое дело может быть доведено до абсурда, а Курткюис перешел все границы.

Сто двадцать шесть протоколов против порубщиков, по большей части составленные Курткюисом с их доброго согласия, были предъявлены в суланжский мировой суд и рассмотрены там в порядке упрощенного судопроизводства, в результате чего было вынесено шестьдесят девять составленных по всем правилам приговоров, копии с которых были вручены судебному приставу; и Брюне, в восторге от такой неожиданной крупной прибыли, заготовил все бумаги, необходимые для составления протоколов, именуемых на судебном языке «протоколами о несостоятельности», то есть о такой предельной нищете, против которой правосудие бессильно. Этим актом судебный пристав удостоверяет, что ответчик не владеет никаким имуществом и живет в крайней нужде. Ну, а там, где ничего нет, кредитор, будь то сам король, теряет свое право... на взыскание. Все эти нарочно подобранные бедняки проживали в пяти окрестных общинах, куда судебный пристав и выезжал, как и полагалось, вместе со своими понятыми — Вермишелем и Фуршоном. Затем Брюне передал все бумаги Сибиле, приложив к ним счет на пять тысяч франков за судебные издержки, и попросил управляющего поставить его в известность о дальнейших распоряжениях графа де Монкорне.

В то время как Сибиле, имея на руках судебные акты, спокойно знакомил своего патрона с результатами приказания, столь неосмотрительно данного Курткюису, и хладнокровно наблюдал один из сильнейших приступов гнева, когда-либо испытанных генералом французской кавалерии, появился сам Курткюис, чтобы засвидетельствовать свое почтение хозяину и получить с него примерно тысячу сто франков — сумму обещанного ему вознаграждения. Генерал закусил удила и так вспылил, что забыл и о графской короне, и о своем высоком чине: он снова превратился в простого кирасира и разразился руганью, за которую впоследствии ему пришлось краснеть.

— Ах! так, тысяча сто франков?... — закричал он. — Тысяча сто оплеух тебе в рожу!.. тысяча сто пинков тебе в... Ты воображаешь, что я не вижу тебя насквозь... Вон отсюда, не то я тебя в порошок сотру!

Взглянув на побагровевшего генерала, Курткюис при первых же словах его выпорхнул из комнаты легче ласточки.

— Ваше сиятельство, — очень мягко сказал Сибиле, — вы не правы!

— Я не прав?! Я?!

— Господи боже мой, ваше сиятельство!.. Берегитесь, этот мошенник подаст на вас в суд...

— Наплевать мне на суд! Ступайте, и чтобы этот негодяй убирался отсюда сию же минуту! Проследите, чтобы он сдал все, что принадлежит мне, и приготовьте расчет.

Четыре часа спустя во всем околотке уже судачили об этом происшествии. Генерал якобы до полусмерти избил несчастного Курткюиса, отказался заплатить то, что полагается, а должен был ему две тысячи франков.

Об эгском помещике опять пошли самые нелепые толки. Говорили, будто он сошел с ума. На следующий день Брюне, только что предъявлявший иски от имени генерала, доставил ему самому повестку мирового суда по иску Курткюиса. Льву грозили укусы тысячи мошек; его мучения только начинались.

Водворение лесника связано с некоторыми формальностями: он должен принести присягу в суде первой инстанции; поэтому прошло несколько дней, пока три новых караульщика были облечены официальными полномочиями. Хотя генерал написал Мишо, чтобы тот с женой приезжал, не

дожидаясь, пока для него приготовят квартиру в охотничьем домике у Авонских ворот, будущий начальник охраны задержался недели на две из-за своей женитьбы и приехавших в Париж родственников жены. В течение этих двух недель Эгские леса из-за ряда формальностей, с которыми не очень-то торопились в Виль-о-Фэ, никем не охранялись, и окрестные воры опустошали их без зазрения совести.

Появление трех сторожей в суконных зеленых мундирах (любимый цвет императора) было великим событием для всей Эгской долины, начиная от Куша и до Виль-о-Фэ; их отличная выправка и решительный вид говорили за то, что это люди твердого характера, хорошие ходоки, подвижные и способные проводить целые ночи в лесу.

Во всем кантоне один только Груазон обрадовался отставным гвардейцам. Придя в великий восторг от такой подмоги, он разразился угрозами по адресу воров, предрекая, что в самом близком будущем их крепко прижмут и не дадут больше вольничать. Таким образом, можно считать, что и тут не обошлось без обычного объявления войны, в данном случае войны ожесточенной, хотя и глухой.

Сибиле обратил внимание генерала на безусловно враждебное отношение к Эгам всей суланжской жандармерии и в особенности унтер-офицера Судри; он намекнул, какую пользу могла бы принести расположенная к Монкорне жандармерия.

— С хорошим унтер-офицером и преданными вашим интересам жандармами вы будете держать в руках всю округу! — сказал он.

Граф помчался в департаментский центр и добился у дивизионного генерала отставки Судри и замены его неким Виоле, отличным жандармом, служившим в департаментском центре и прекрасно отрекомендованным как самим дивизионным генералом, так и префектом. По распоряжению жандармского полковника, старого товарища Монкорне, все жандармы суланжской команды были переведены в другие пункты департамента, а вместо них были назначены отборные люди, получившие секретное предписание строго наблюдать, чтобы поместьем графа де Монкорне не наносилось никакого ущерба; в особенности же рекомендовалось им не подпадать под влияние суланжского населения.

Этот переворот, совершенный с такой быстротой, что не было никакой возможности ему воспрепятствовать, поверг в удивление всех обитателей Виль-о-Фэ и Суланжа. Судри всем жаловался на то, что его сместили, а Гобертен постарался провести его в мэры и таким образом опять подчинил ему жандармерию. Поднялись крики о тирании. Монкорне сделался предметом общей ненависти. Мало того, что пять-шесть человек утратили из-за него свое прежнее положение, он задел самолюбие многих тщеславных людей. Крестьяне, возбужденные речами суланжских и виль-о-фэйских обывателей, а также разговорами Ригу, мельника Ланглюме и Гербе, содержателя почтовой станции в Куше, решили, что им не сегодня завтра угрожает потеря законных, как они считали, прав.

Генерал прекратил судебное дело, поднятое его бывшим сторожем, уплатив Курткюису все, что тот с него требовал.

Курткюис купил за две тысячи франков небольшой участок земли, вклинившийся в эгские земли, у ремизов, где водилась дичь. Ригу не имел в виду продавать Башельри, но теперь он с особым злорадством уступил эту землю за полуторную цену Курткюису. Таким образом, Курткюис зависел теперь от Ригу, который держал его в руках, так как бывший сторож остался ему должен, заплатив за участок только тысячу франков.

Три лесника, Мишо и стражник стали с этой поры вести жизнь гверильясов³³. Они исходили весь лес, стараясь изучить его как можно внимательнее, так как на глубоком знании леса зиждется вся наука лесного сторожа, которая избавляет его от лишней потери времени; они ночевали в лесу, освоились со всеми тропинками, знакомились с породой и возрастом каждого дерева, приучались распознавать разнообразные лесные звуки и шумы. Кроме того, они наблюдали за местными жителями — за целыми семьями в различных деревнях кантона и за отдельными людьми, разузнавая их нравы, характер и средства к существованию. Все это много труднее, чем думают! Видя столь

33 *Гверильясы* — испанские партизаны, боровшиеся с наполеоновскими оккупантами в 1808—1813 гг.

мудрые меры, крестьяне, кормившиеся Эгами, замкнулись в полном молчании и встретили умелых караульщиков притворной покорностью.

Мишо и Сибиле с самого начала не понравились друг другу. Прямой и честный военный, краса унтер-офицерства наполеоновской гвардии, не выносил слащавой грубости и вечно недовольного вида управляющего, которого он сразу же окрестил «пролазой». Он вскоре же обратил внимание и на возражения Сибиле против несомненно полезных мер, и на его доводы в оправдание сомнительно полезных затей. Вместо того чтобы успокоить генерала, Сибиле, как читатель уже мог видеть из нашего беглого очерка, постоянно возбуждал его и подстрекал к крайним мерам, в то же время стараясь запугать множеством ожидавших его неприятностей, нескончаемыми дразгмами, придумывая все новые непреодолимые препятствия. Хотя Мишо и не догадывался о роли шпиона и провокатора, взятой на себя Сибиле, который, как только водворился в имении, тут же решил избрать себе хозяином либо генерала, либо Гобертена, в зависимости от того, что будет выгоднее, все же он разглядел в управляющем человека алчного и дурного и не знал, чем объяснить честность Сибиле. Впрочем, генералу пришлось по вкусу глубокая антипатия, разъединявшая двух его служащих. Неприязнь к управляющему побуждала Мишо следить за всеми его действиями, хотя он никогда не унился бы до шпионства, если бы его об этом попросил генерал. Сибиле пробовал умаслить начальника охраны и униженно подолблялся к нему, но ему ничего не удалось добиться: Мишо не отказался от сугубо вежливой холодности, которой этот честный солдат как бы огораживал себя от управляющего.

После этих предварительных сведений мы легко поймем, чем руководствовались враги генерала и в чем заключалась суть его разговора со своими двумя «министрами».

IX О «МЕДИОКРАТИИ»

— Ну, Мишо, что слышно нового? — спросил генерал, когда графиня вышла из столовой.

— Ваше превосходительство, поверьте мне, тут не надо говорить о делах: и у стен бывают уши, а я бы хотел быть уверенным, что наш разговор останется в тайне.

— Хорошо, — ответил генерал, — прогуляемся до конторы; пройдем по тропинке через луг, там уж никто нас не подслушает...

Несколько минут спустя генерал, сопровождаемый Мишо и Сибиле, шел через луг, в то время как графиня с аббатом Бросетом и Блонде направлялась к Авонским воротам. Мишо рассказал о происшествии в «Большом-У-поении».

— Ватель был неправ, — сказал Сибиле.

— Что ему и доказали, засыпав золой глаза, — ответил Мишо, — но не в этом дело. Помните, ваше превосходительство, мы предполагали забрать скот всех осужденных лесокрадов, — ну, так это нам не удастся. Ни Брюне, ни его собрат Плиссу не окажут нам добросовестного содействия; они всегда сумеют предупредить крестьян о предполагаемом аресте. Понятой судебного пристава, Вермишель, пришел за дядей Фуршоном в «Большое-У-поение», а Мари Тонсар, подруга Бонебо, переполошилась и со всех ног бросилась в Куш. Я сидел с удочкой под Авонским мостом, высматривая одного мошенника, замыслившего недоброе дело, и слышал, как Мари сообщила об этом Бонебо; тот, видя, что дочка Тонсара устала бежавши, сам вместо нее пустился в Куш. Словом, безобразия опять начинаются.

— Решительные меры с нашей стороны с каждым днем становятся все необходимее, — сказал Сибиле.

— Что я вам говорил! — воскликнул генерал. — Надо требовать, чтобы немедленно были приведены в исполнение все приговоры, присуждающие к тюремному заключению или к аресту за причиненные убытки и понесенные мною судебные издержки.

— Этот народ ни во что не ставит закон, они убеждают друг друга, что их не посмеют арестовать, — возразил Сибиле. — Они думают вас запугать! У них, несомненно, есть поддержка в Виль-о-Фэ, потому что местный прокурор, видимо, окончательно забыл о приговорах.

— Мне кажется, — сказал Мишо, замечая задумчивость, охватившую генерала, — мне ка-

жется, что, затратив крупную сумму денег, вы еще можете спасти свое имение.

— Лучше затратить деньги, чем прибегать к строгим мерам, — сказал Сибиле.

— Что же вы придумали? — спросил Монкорне у своего начальника охраны.

— Очень просто, — сказал Мишо, — надо только обнести лес такой же оградой, как и парк, и мы можем быть спокойны. Тогда малейшая порубка уже будет уголовным преступлением и дело о ней будет подлежать рассмотрению суда присяжных.

— Считая по девяти франков за погонный туаэ, одни материалы обойдутся его сиятельству в треть стоимости всего имения! — заметил, смеясь, Сибиле.

— Хорошо, — сказал Монкорне, — я сию же минуту отправлюсь к департаментскому прокурору.

— Департаментский прокурор, — мягко заметил Сибиле, — может оказаться одного мнения с окружным прокурором: такая намеренная нерадивость говорит о наличии между ними какого-то соглашения.

— Тем более надо в этом убедиться! — воскликнул Монкорне. — Если потребуется сместить здешних судей, прокурорский надзор и самого департаментского прокурора, я отправлюсь к министру юстиции, а понадобится — так дойду и до самого короля!

Тут Мишо настойчиво и выразительно посмотрел на генерала, и тот, обернувшись к Сибиле, сказал ему: «Прощайте, любезнейший!» Управляющий прекрасно его понял.

— Согласны ли вы, ваше сиятельство, пользуясь вашей властью мэра, ограничить вольности при сборе колосьев? — сказал Сибиле, кланяясь графу. — Скоро начинается уборка, и если вы собираетесь опубликовать постановление о выдаче свидетельств о бедности и о запрете сбора колосьев неимущим из соседних общин, — с этим делом надо поторопиться.

— Хорошо! Договоритесь с Груазоном, — ответил граф. — С таким народом, — добавил он, — надо в точности придерживаться законов.

Таким образом, управляющий в один миг одержал верх: в порыве гнева, вызванном случаем с Вателем, генерал вдруг одобрил те самые меры, которые Сибиле предлагал ему в течение двух недель, тщетно добиваясь его согласия.

Когда Сибиле отошел, граф спросил вполголоса своего начальника охраны:

— Ну, мой дорогой Мишо, в чем дело?

— У вас враг в собственном доме, ваше превосходительство, и вы доверяете ему планы, о которых не должен бы знать даже лучший ваш друг.

— Я разделяю твои подозрения, дорогой друг, — ответил генерал, — и впредь не повторю такой ошибки. Чтобы сместить Сибиле, я жду только, когда ты войдешь в курс управления имением, а Ватель сможет занять твоё место. Но в чем же я могу упрекнуть Сибиле? Он аккуратен и честен, за пять лет не присвоил себе и ста франков. У него отвратительнейший характер, вот и все. Какой же у него может быть умысел?

— Ваше превосходительство, — очень серьезно промолвил Мишо, — я это узнаю, потому что умысел безусловно у него имеется. И если только вы разрешите, то кошелек с тысячей франков развяжет язык здешнему плуту дяде Фуршону, хотя с сегодняшнего утра я сильно подозреваю, что дядя Фуршон служит и нашим и вашим. Вас хотят вынудить продать Эги, — так мне сказал этот пройдоха веревочник. Да будет вам известно: от Куша и до Виль-о-Фэ нет такого крестьянина, нет такого городского жителя, фермера, кабатчика, который не припас бы денег ко дню раздела добычи. Фуршон мне признался, что его зять Тонсар уже приглядел себе участок... Общее убеждение, что вы продадите Эги, как зараза, распространилось по всей долине. Весьма возможно, что флигель управляющего и тот или другой прилегающий к нему участок обещаны Сибиле за шпионство. Все, что мы говорим между собой, тотчас же становится известно в Виль-о-Фэ. Сибиле — родственник вашего недруга Гобертена. Слова, сорвавшиеся у вас о департаментском прокуроре, быть может, дойдут до него раньше, чем вы доедете до префектуры. Вы еще не знаете жителей здешнего кантона!

— Я не знаю?.. Да это сплошь каналы! И чтобы я отступил перед такими негодьями!.. — воскликнул генерал. — Да я лучше собственными руками сожгу Эги!..

— Жечь не надо, лучше наметим такой план действия, чтобы разрушить все хитрости этих

лилипутов. Если верить их угрозам, они ни перед чем не остановятся, лишь бы вам насолить, а потому, ваше превосходительство, раз уж вы заговорили о пожаре, советую вам застраховать все постройки и фермы.

— Кстати, Мишо, ты не знаешь, что они разумеют под словом «обойщик»? Когда я шел вчера по берегу Туны, мальчишки крикнули: «Обойщик идет!» — и как припустились от меня.

— Сибиле с удовольствием ответил бы вам на этот вопрос, он ведь любит, когда вы выходите из себя, — с грустным видом сказал Мишо. — Но раз уж вы спросили... Ну, так это прозвище, которым наградили вас здешние разбойники, ваше превосходительство.

— А почему?

— Но, ваше превосходительство, потому... что ваш отец...

— Ах, сукины дети!.. — бледнея, воскликнул граф. — Да, Мишо, мой отец был мебельщиком, краснодеревцем; графиня ничего об этом не знает... О, если только кто-нибудь посмеет!.. Впрочем, я танцевал с королевами и с императрицами! Все скажу ей сегодня же вечером! — воскликнул он после минутного раздумья.

— Они считают вас трусом, — продолжал Мишо.

— Так!

— Они говорят: как это удалось ему спастись при Эслинге, когда там погибли почти все его товарищи...

Это обвинение вызвало лишь усмешку у генерала.

— Мишо, я еду в префектуру, — запальчиво воскликнул он, — хотя бы только для того, чтобы заказать страховые полисы! Предупреди графиню о моем отъезде. Они хотят войны — будет им война! И уж я дойму и суланжских горожан, и их приспешников — крестьян... Мы в неприятельской стране, — значит, надо быть осторожным! Предупреди лесников, чтоб не выходили из пределов законности. Бедняга Ватель! Позаботься о нем. Графиня напугана, надо, чтоб до нее ничего не дошло, а то она сюда больше не придет!..

Ни генерал, ни даже Мишо не понимали опасности своего положения. В этой бургундской долине Мишо был еще совсем новым человеком и не имел представления о том, как силен противник, хотя и видел его действия. А генерал верил во всемогущество закона.

Закон, в том виде, как его создают теперешние законодатели, не имеет той силы, какую в нем предполагают. Он не одинаково применяется во всей стране и претерпевает на практике такие изменения, что может стать отрицанием самой своей сути. Явление это более или менее отчетливо наблюдается во все эпохи. Найдется ли такой неграмотный историк, который станет утверждать, что постановления самой сильной власти — Конвента — применялись одинаково во всей Франции, что рекрутский набор, реквизиция съестных припасов и денег, объявленные Конвентом, осуществлялись в Провансе, в глуши Нормандии и в пограничной полосе Бретани совершенно так же, как они выполнялись в крупных центрах общественной жизни? Какой философ посмеет отрицать, что в одном департаменте слетит с плеч голова, а в соседнем уцелеет — за те же самые, а иногда и за более ужасные преступления? Мы требуем равенства в жизни, тогда как неравенство царит в самом законе, в применении смертной казни!

Если численность населения какого-нибудь города ниже известной цифры, административные меры уже иные. Во Франции есть около ста городов, где законы применяются во всей своей строгости, где умственный уровень граждан высок, где они понимают, сколь важно общее благо, и думают о будущем, о котором печется закон; но во всей остальной Франции, где принимаются в соображение одни только непосредственные житейские выгоды, люди стремятся избежать всего, что так или иначе грозит этим интересам. Поэтому приблизительно в половине Франции действует какая-то сила инерции, о которую разбиваются любые требования закона, любые административные меры. Это противодействие, разумеется, не касается существенных сторон государственной жизни. Взимание налогов, рекрутский набор, кара за крупные преступления, конечно, идут своим чередом. Но за пределами этой общепризнанной необходимости все законодательные постановления, касающиеся нравов, частных интересов и некоторых злоупотреблений, совершенно парализуются общей *злой волей*. Сейчас, когда выходит в свет эта повесть, легко заметить, наблюдая печальные следствия закона об охоте, то же противодействие, с которым в свое время столк-

нулся в Бретани Людовик XIV. Ради спасения жизни нескольким животным ежегодно приносятся в жертву двадцать или тридцать человеческих жизней.

Во Франции для двадцати миллионов жителей закон — просто лист белой бумаги, вывешенный у входа в церковь или в мэрию. Этим объясняется, почему Муш употреблял слово «бумага», желая сказать «власть». Многие мэры кантонов (не говоря уже о мэрах сельских общин) завертывают виноград или крупу в «Вестник законодательных распоряжений». Если же говорить о мэрах сельских общин, то просто страшно становится, когда подумаешь, сколько среди них совсем неграмотных и как они ведут запись актов гражданского состояния. Опасность такого положения, прекрасно известная серьезным правителям, с течением времени, конечно, станет меньше; но есть другое обстоятельство, неодолимое для центральной власти, против которой у нас так ратуют, как вообще ратуют во Франции против всего большого, полезного и прочного, — существует сила, которую следует назвать «медиократия», и с ней-то и предстояло столкнуться генералу.

В свое время много кричали о тирании дворянства; теперь кричат о тирании капиталистов, о злоупотреблениях власти, хотя, быть может, это неизбежные болячки, причина которых — общественное ярмо, Жан-Жаком Руссо называемое договором, другими — конституцией, а третьими — хартией; здесь виноват царь, там — король, в Англии — парламент. Однако нивелировка, начатая в 1793 году и возобновленная в 1830 году, подготовила двусмысленное владычество буржуазии и отдала ей во власть Францию. К несчастью, в наше время нередко можно встретить городок, кантон или супрефектуру, поработанные одним каким-нибудь семейством. Впрочем, могущество, которое сумел завоевать Гобертен в самый разгар Реставрации, лучше всяких голословных утверждений покажет нам во всю величину это общественное зло. Много угнетенных городков найдут свое отражение в этой картине, много втихомолку погубленных людей, быть может, обретут некоторое утешение в своих больших личных горестях, прочтя эту маленькую, но широко обнародованную эпитафию.

В то время как генерал воображал, что он возобновляет войну, хотя, в сущности, она никогда и не прекращалась, его бывший управляющий доплетал последние петли той сети, в которой он держал весь виль-о-фэйский округ. Чтобы не отвлекаться в дальнейшем, необходимо бегло окинуть взглядом те ветви родословного древа, которыми Гобертен охватил всю округу, точно удав, до того ловко обвивающийся вокруг гигантского ствола, что путешественник принимает его за естественное явление азиатской растительности.

В 1793 году в Авонской долине жили три брата по фамилии Мушон. Из ненависти к прежним феодальным властителям Эгскую долину с 1793 года начали называть Авонской.

Старший из братьев Мушон, управляющий именьями Ронкеролей, был избран в Конвент депутатом от департамента. По примеру друга своего, общественного обвинителя Гобертена, спасшего Суланжей, он спас имение и жизнь Ронкеролей. У него было две дочери: одна вышла замуж за адвоката Жандрена, другая — за Гобертена-сына. Этот Мушон умер в 1804 году.

Второй брат получил бесплатно, по протекции своего старшего брата, должность содержателя почтовой станции в Куше. У него была единственная дочь и наследница, вышедшая замуж за богатого местного фермера Гербе. Этот второй брат умер в 1817 году.

Последний Мушон, принявший сан священника, еще до революции был назначен кюре в Виль-о-Фэ; после восстановления католической церкви он снова занял место кюре в этой маленькой столице Авонской долины и по-прежнему отправлял там обязанности священнослужителя. В свое время кюре Мушон отказался от присяги и долго скрывался в Эгах, живя в «обители» на острове под тайным покровительством отца и сына Гобертенов. Теперь он был шестидесятилетним стариком, всеми любимым и уважаемым за свой характер, весьма сходный с характером местных жителей. Он был бережлив до скупости и посему прослыл богатым человеком, а предполагаемое богатство еще усугубляло общее уважение. Епископ очень ценил аббата Мушона, которого все величали достопочтенным виль-о-фэйским кюре; не менее, чем за богатство, почитали кюре Мушона и за его неоднократный отказ (что было достоверно известно прихожанам) от прекрасного прихода в главном городе департамента, куда хотел его назначить епископ.

В описываемое время у Гобертена, мэра города Виль-о-Фэ, была крепкая поддержка в лице г-на Жандрена, председателя суда первой инстанции. Гобертен-сын, стряпчий с самой богатой

практикой в суде и твердо установившейся репутацией в округе, проработав пять лет, уже поговаривал о продаже своей нотариальной конторы. Он хотел заниматься только адвокатской деятельностью, так как собирался заступить место своего дяди Жандрена, когда тот выйдет в отставку. Единственный сын председателя Жандрена служил по закладу недвижимых имуществ.

Судри-сын, занимавший уже два года важную должность в прокурорском надзоре, был душой и телом предан Гобертену. Дальновидная мадам Судри не упустила случая упрочить положение своего пасынка блестящей перспективой в будущем, женив его на единственной дочери Ригу. Двойное наследство — от монаха-расстриги и от отца, которое должен был получить прокурор, — выдвигало этого молодого человека в ряды самых богатых и значительных лиц департамента.

Супрефект Виль-о-Фэ г-н де Люпо, племянник старшего секретаря одного из важнейших министров, намечался в мужья мадмуазель Элизе Гобертен, младшей дочери мэра, приданое которой, так же как и приданое старшей дочери, доходило до двухсот тысяч франков, не считая надежд на будущее. Этот чиновник, сам того не зная, поступил весьма умно, влюбившись в Элизу сразу же по приезде в Виль-о-Фэ в 1819 году. Не выказав он таких намерений, сочтенных вполне приемлемыми, его давно вынудили бы просить о переводе, но предполагалось, что он уже принадлежит к семье Гобертена, глава которой, соглашаясь на этот брак, имел больше видов на дядюшку, нежели на племянника. Зато и дядюшка в интересах племянника предоставлял все свое влияние к услугам Гобертена.

Итак, церковь, суд, в обоих своих видах, — сменяемый и несменяемый³⁴, — муниципалитет и префектура, то есть все четыре ноги власти, передвигались по воле мэра.

Вот таким образом и утвердил Гобертен свое могущество, укрепившись и сверху, и снизу в той сфере, где действовал.

Департамент, к которому принадлежал Виль-о-Фэ, по количеству своего народонаселения имел право посылать в палату шесть депутатов. Округ Виль-о-Фэ с момента образования левого центра избрал своим депутатом Леклерка, банкира и владельца винных складов, зятя Гобертена, ставшего членом правления Французского банка. Число выборщиков от богатой Авонской долины в Большой избирательной коллегии³⁵ было настолько значительно, что г-ну де Ронкеролью, покровителю семейства Мушонов, всегда было обеспечено избрание, хотя бы путем сделки: избиратели Виль-о-Фэ предоставляли свою поддержку префекту под условием, чтобы он отстаивал в Большой коллегии кандидатуру маркиза де Ронкероля. Поэтому Гобертен, первый придумавший эту выборную комбинацию, был на прекрасном счету в префектуре, которую он избавлял от многих хлопот. Префект проводил трех правительственных кандидатов и двух депутатов левого центра. Эти два депутата — один маркиз де Ронкероль, шурин графа де Серизи, а другой — председатель правления банка — не были страшны кабинету, и выборы по этому департаменту считались в Министерстве внутренних дел как нельзя более благополучными.

Граф де Суланж, пэр Франции, кандидат в маршалы, верный приверженец Бурбонов, знал, что его леса и земли содержатся в полном порядке и тщательно охраняются благодаря нотариусу Люпену и Судри; он мог почитаться покровителем Жандрена, так как выхлопотал ему сначала место судьи, а затем председателя суда, в чем ему оказал содействие и г-н де Ронкероль.

Господа Леклерк и де Ронкероль заседали на скамьях левого центра, ближе к левой, чем к центру, занимая политическое положение, весьма выгодное для тех, кто смотрит на политическую совесть, как на легко сменяемую одежду.

Брату г-на Леклерка были отданы местные сборы в Виль-о-Фэ. Сам банкир, депутат округа, только что приобрел поблизости от столицы Авонской долины великолепное поместье с замком и парком, приносявшее тридцать тысяч франков дохода, что делало г-на Леклерка влиятельным человеком в кантоне.

Таким образом, Гобертен мог рассчитывать на сильную и энергичную поддержку в высших

34 «... суд... сменяемый и несменяемый». — В описываемый Бальзаком период несменяемыми судьями или членами суда были во Франции лица, назначенные королевским указом; остальные могли быть сменяемы.

35 Большая избирательная коллегия. — Законом 1820 г. во Франции были утверждены две избирательные коллегии по выборам в палату депутатов. Коллегия округа именовалась Малой коллегией, а коллегия департамента — Большой.

правительственных сферах, в обеих палатах и в одном из главнейших министерств, причем он до сего времени никогда не обращался к своим покровителям по пустякам и не слишком часто утруждал их серьезными просьбами.

Советник Жандрен, назначенный председателем департаментского суда, заправлял в нем всеми делами, так как старший председатель, один из трех правительственных депутатов, оратор, необходимый партии центра, поручал в течение полугода свои обязанности по суду председателю Жандрену. Наконец, советник префектуры, двоюродный брат Саркюса, прозванный Саркюсом-богатым, был правой рукой префекта и тоже депутатом. Не будь семейных соображений и родственных уз, связывающих Гобертена с молодым де Люпо, население виль-о-фэйского округа *пожелало* бы себе в супрефекты одного из братьев г-жи Саркюс. Эта дама, супруга советника префектуры, принадлежала к суланжскому семейству Валля, приходившемуся родней Гобертенам; молва утверждала, будто в дни своей молодости она отличала нотариуса Люпена. Хотя ей уже минуло сорок пять лет и сын ее готовился в инженеры, Люпен при своих наездах в департаментский центр всегда являлся засвидетельствовать ей свое почтение и позавтракать или отобедать у нее.

Сын суланжского сборщика податей, он же племянник содержателя почтовой станции г-на Гербе, занимал важное место судебного следователя при виль-о-фэйском суде. Третий судья, сын нотариуса Корбине, был, разумеется, предан и душой и телом всесильному мэру. Наконец, помощником судьи был сын жандармского поручика молодой Вигор. Сибиле-отец, служивший секретарем суда с момента его учреждения, выдал свою сестру замуж за Вигора, жандармского поручика в Виль-о-Фэ. Старик Сибиле, отец шестерых детей, приходился свойственником отцу Гобертена по жене своей, урожденной Гобертен-Валля.

Полтора года тому назад оба депутата, г-н де Суланж и председатель Гобертен, соединенными усилиями создали для второго сына секретаря Сибиле место полицейского комиссара в Виль-о-Фэ.

Старшая дочь Сибиле вышла замуж за учителя, г-на Эрве, школа которого в связи с этим браком была преобразована в коллеж, и теперь в Виль-о-Фэ уже год был свой собственный коллеж.

Третий Сибиле, старший писец у нотариуса Корбине, собирался купить контору своего патрона и ждал только денежного поручительства от Судри, Гобертенов и Леклерков.

Последний сын секретаря служил в управлении государственными имуществами, но ему была обещана должность сборщика в управлении косвенными налогами, когда занимавший это место чиновник выслужит срок для получения пенсии и выйдет в отставку.

Наконец, младшая шестнадцатилетняя дочь Сибиле была просватана за капитана Корбине, брата нотариуса, и ему было выхлопотано место почтмейстера.

Конная почта в Виль-о-Фэ была в руках зятя банкира Леклерка, г-на Вигора-старшего, являвшегося и командиром местной Национальной гвардии.

Некая пожилая девица Гобертен-Валля, сестра супруги секретаря суда, занималась продажей гербовой бумаги.

Словом, в Виль-о-Фэ, куда ни повернись, всюду сидел сочлен этой незримой коалиции, вождем которой, признанным всеми от мала и до велика, был мэр города, главный агент всех лесопромышленников — Гобертен!..

Спустившись от супрефектуры в долину Авоны, вы также неминуемо сталкивались с г-ном Гобертенем: в Суланже — через чету Судри, через заместителя мэра, Люпена, управлявшего суланжским поместьем и состоявшего в постоянной переписке с графом, через мирового судью Саркюса, через сборщика податей Гербе, через доктора Гурдона, женатого на представительнице семейства Жандрен-Ватбле. Гобертен управлял селением Бланжи через г-на Ригу; Кушем — через содержателя почтовой станции, мэра сельской общины. По тому, как честолюбивый мэр Виль-о-Фэ распространял свое влияние на долину Авоны, легко догадаться, как он прибирал к рукам и остальной округ.

Глава банкирского дома Леклерк был пешкой, носившей депутатское звание. Он с самого же начала согласился уступить свое депутатское кресло Гобертену, как только сам станет сборщиком налогов по департаменту. Прокурор Судри должен был занять пост товарища прокурора при де-

партаментском суде, а богатый судебный следователь Гербе рассчитывал на место члена судебной палаты. Таким образом, замещение этих должностей не только никого не ущемляло, а, наоборот, способствовало продвижению по службе молодых виль-о-фэйских честолюбцев и обеспечивало коалиции дружбу их семейств.

Влияние Гобертена было так велико, так значительно, что Ригу, Судри, Жандрены, Гербе, Люпены и даже сам Саркюс-богатый помещали свои капиталы, сбережения и тайные свои накопления по его указаниям. К тому же город Виль-о-Фэ верил своему мэру. Таланты Гобертена превозносились не менее его честности и обязательности: он готов был в лепешку разбиться для родных и знакомых, конечно, при условии, чтобы и ему платили тем же. Муниципальный совет обожал своего главу. Поэтому весь департамент осуждал г-на Мариота из Оссэра за то, что он пошел против милейшего г-на Гобертена.

Виль-о-фэйские буржуа сами не подозревали, какая они сила, ибо им еще не представилось случая проявить себя в деле; пока они хвастались только, что у них всюду свои люди, и считали себя добрыми патриотами. Итак, все было подвластно этой хитрой, хотя и неприметной тирании, которую все считали победой их города. Так, например, как только либеральная оппозиция объявила войну старшей ветви Бурбонов, Гобертен, не знавший, куда бы пристроить своего побочного сына по фамилии Бурнье, о существовании которого не подозревала мадам Гобертен, ибо тот давно проживал под присмотром Леклерка в Париже, где учился на типографского фактора, выхлопотал ему патент на открытие типографии в Виль-о-Фэ. По совету своего покровителя молодой Бурнье стал издавать газету под названием «Авонский курьер», она выходила три раза в неделю и сразу же отбила доход от казенных объявлений у официального органа префектуры. Новая департаментская газета поддерживала правительство в целом, а в частности — левый центр и была чрезвычайно полезна для торговли, ибо регулярно печатала справочные цены бургундских рынков; в общем же она была полностью предана интересам триумvirата — Ригу, Гобертена, Судри. Очутившись во главе довольно выгодного предприятия, уже начавшего давать некоторую прибыль, Бурнье стал ухаживать за дочерью стряпчего Марешаля. Этот брак считали вполне вероятным.

Единственным чужаком в этом огромном авонском клане был инженер путейского ведомства, поэтому общественное мнение настоятельно требовало замены его г-ном Саркюсом, сыном Саркюса-богатого, и по всему можно было заключить, что этот «недосмотр» скоро будет исправлен.

Грозная лига, захватившая в свои руки все государственные и частные должности, выжимавшая соки из края и присосавшаяся к власти, словно рыба-прилипала ко дну корабля, как-то ускользала от постороннего глаза. Генерал Монкорне и не подозревал о ней. Префектура не могла нарадоваться на виль-о-фэйский округ, о котором в Министерстве внутренних дел говорили: «Вот примерная супрефектура, все в ней идет как по маслу! Если бы все округа были такими, как было бы хорошо!» Дух кумовства так удачно сочетался с духом местного патриотизма, что здесь, как и во многих маленьких городках и даже департаментских центрах, чиновник-чужак не удержался бы и года.

Такая властолюбивая компания породнившихся между собой буржуа связывает по рукам и ногам намеченную ею жертву, затыкает ей рот, так что она не смеет и пикнуть и чувствует себя, как улитка, заползшая в улей и увязшая в липком меду. У этой незримой, неуловимой тирании есть могущественные союзники: желание жить среди родни, присматривать за своими владениями, взаимная поддержка, спокойствие центральной власти, которая знает, что ее представитель — свой человек в городе. Поэтому-то кумовство развито и в высших департаментских сферах, и в захолустных городках.

К чему же все это приводит? Местные и краевые интересы берут верх над общегосударственными, воля парижской центральной власти часто бывает нарушена, истинное положение вещей искажается.

Совершенно ясно, что, если не говорить об удовлетворении основных потребностей государства, законы, вместо того чтобы влиять на массы, сами подпадают под их влияние, и население, вместо того чтобы применяться к ним, приспосабливает их к себе. Всякий, кому приходилось путе-

шествовать по югу и западу Франции или по Эльзасу не только с целью ночевать в гостиницах и любоваться памятниками старины или красивыми видами, должен признать справедливость этих наблюдений. Такое буржуазное кумовство в настоящее время проявляется в единичных случаях; но при современных законах эти случаи легко могут умножиться. Господство пошлых людей может привести к большим бедствиям, как это наглядно покажут некоторые моменты драмы, разыгравшейся в описываемое нами время в Эгской долине.

Строй, разрушать который было гораздо более неосторожно, чем это принято думать, — строй былой монархии и империи — отчасти устранял эти злоупотребления благодаря искони установившимся различиям в общественном положении, сословиям и существованию социальных противовесов, получивших глупейшее название «привилегий». Привилегий больше не существует, ибо каждому дозволено карабкаться на ярмарочную мачту за призом в виде власти. А все-таки не лучше ли общепризнанные и всем известные привилегии, чем привилегии, добытые так случайно, установленные с помощью хитрости, в обход равенства, которое хотят сделать общественным достоянием, — привилегии, воздвигающие новый деспотизм, только на этаж ниже, чем прежний, так сказать «подвальный»? Неужели для того и свергли знатных тиранов, преданных своей стране, чтобы вместо них создать себялюбивых мелких тиранчиков? Надо ли власти ютиться в подвалах вместо того, чтобы царить на своем настоящем месте? Об этом следует подумать. Дух захолюстия в том виде, как он сейчас описан, захватит и парламент.

Друг Монкорне, граф де ля Рош Югон, был уволен в отставку вскоре же после его посещения генералом. Отставка бросила этого государственного деятеля в объятия либеральной оппозиции, где он стал одним из столпов левой партии, но которую, однако, очень быстро покинул ради поста посланника. Его преемником, к счастью для генерала, оказался зять маркиза де Труавиля, граф де Катеран. Префект встретил Монкорне по-родственному и любезно просил его чувствовать себя в префектуре как дома. Выслушав жалобы генерала, он пригласил на следующий день к завтраку епископа, департаментского прокурора, жандармского полковника, советника префектуры Саркюса и дивизионного генерала.

Департаментский прокурор барон Бурляк, снискавший известность в процессах ля Шантери и Рифозля, был из числа людей, готовых служить любому правительству, приверженных власти, какова бы эта власть ни была, и потому очень для нее ценных. Слепой преданностью императору он достиг высокой судейской должности, а благодаря непреклонному характеру и добросовестному отношению к служебному долгу сумел ее сохранить. В свое время он ожесточенно преследовал остатки шуанов, а теперь с таким же ожесточением преследовал бонапартистов. Но годы и житейские бури понемногу смягчили его суровость, теперь он всех пленял своим обращением и манерами.

Граф де Монкорне рассказал о создавшемся положении и об опасениях начальника охраны; он говорил о необходимости острастки, о поддержании прав помещиков.

Департаментские чины очень внимательно выслушали его, отвечая лишь общими словами вроде: «Конечно, сила должна остаться на стороне закона»; «Ваше дело — дело всех помещиков»; «Мы обратим внимание, но теперешние обстоятельства требуют исключительной осторожности»; «Монархия обязана больше делать для народа, чем сделал бы для себя сам народ, если бы он, как в 1793 году, оказался господином положения»; «Народ страдает, наша обязанность служить не только вам, но и ему».

Непреклонный прокурор департаментского суда очень мягко высказал ряд глубоких и весьма благих соображений о положении низших классов, соображений, которые могли бы доказать нашим будущим утопистам, что тогдашние чиновники высшего ранга уже понимали трудность задачи, стоящей перед современным обществом.

Нелишним будет добавить, что в этот период Реставрации во многих пунктах королевства произошли кровавые стычки, вызванные как раз лесными порубками и злоупотреблениями, вошедшими в обычай у крестьян некоторых сельских общин. И министерству, и двору были очень неприятны такого рода бунты и кровь, пролитая при их подавлении, все равно успешном или неуспешном. Отлично сознавая необходимость крутых мер, правительство, однако, считало представителей власти, подавлявших волнения силой, неумелыми, а проявивших слабость — увольня-

ло. Поэтому префекты всячески старались избежать таких прискорбных случаев.

При начале беседы Саркюс-богатый незаметно для генерала подмигнул прокурору и префекту, и это определило дальнейшее направление разговора. Прокурор был осведомлен о настроении умов в Эгской долине через своего подчиненного Судри.

— Я предвижу ужасную борьбу, — сказал Судри, специально приехавший к своему начальнику. — Жандармов перебьют, я это знаю через своих агентов. Нам не миновать неприятного процесса. Присяжные нас не поддержат, когда почувствуют, что им грозит месть со стороны семейств двадцати или тридцати подсудимых; они не вынесут смертного приговора убийцам, не осудят на каторжные работы их сообщников, как мы того потребуем в обвинительном акте. Даже если вы сами выступите на процессе, вам с трудом удастся добиться нескольких лет тюремного заключения для главных виновников. Лучше закрыть глаза, чем смотреть слишком зорко, раз мы уверены, что наша зоркость вызовет столкновение, которое обязательно приведет к кровопролитию, а государству, возможно, обойдется в шесть тысяч франков, не считая того, что весь этот народ надо кормить на каторге. Это несколько дорогая плата за победу, которая, наверно, покажет всем слабость правосудия.

Не имея понятия о силе «медиократии» в Эгской долине, Монкорне не поднял разговора о Гобертене, который своими руками подливал масло в огонь, всячески раздувая утихшую было неприязнь. После завтрака департаментский прокурор взял графа Монкорне под руку и увел его в кабинет префекта. По окончании этого совещания генерал написал графине, что уезжает в Париж и вернется только через неделю. По мерам, принятым в дальнейшем генералом, согласно указанию барона Бурляка, можно судить, сколь разумны были преподанные им советы; и если Эги еще могли избежать влияния *злой воли*, то лишь благодаря политике, которой прокурор в беседе с глазу на глаз посоветовал держаться графу де Монкорне.

Иные люди, прежде всего интересующиеся развитием действия в рассказе, будут бранить нас за растянутость всех этих объяснений; но здесь полезно заметить, что бытописатель подчинен более строгим законам, чем рассказчик; он должен придать характер правдоподобия даже истине, между тем как в области рассказа, в точном смысле этого слова, самое невозможное оправдывается просто-напросто тем фактом, что оно совершилось. Превратности социальной или частной жизни порождаются множеством незначительных причин, связанных буквально со всем. Ученый обязан разрыть лавину, поглотившую целые селения, чтобы показать нам камни, оторвавшиеся от горной вершины и вызвавшие образование снегового обвала. Если бы речь шла только о самоубийстве, то ведь в Париже их ежегодно совершается до пятисот, — эта мелодрама стала явлением обыденным, и каждый может удовлетвориться самым кратким объяснением вызвавших ее причин. Но кого же удастся уверить, что в наше время, когда богатство ценится дороже жизни, возможно самоубийство собственности? *De re vestra agitur*³⁶, — сказал некий баснописец. В данном случае дело идет обо всех, кто чем-нибудь владеет.

Примите во внимание, что заговоры, подобные описываемому заговору целого кантона и захолустного городка против старого генерала, при всей своей храбрости вышедшего невредимым из множества сражений, возникали и в других департаментах против людей, стремившихся принести пользу. Такая коалиция непрестанно угрожает каждому даровитому человеку, каждому крупному государственному деятелю, талантливому агроному и вообще каждому новатору.

Это последнее пояснение, носящее, так сказать, политический характер, не только дает правильное освещение портретам действующих лиц этой драмы, не только раскрывает значение каждого мелкого обстоятельства, но также проливает яркий свет и на весь ход событий настоящего повествования, где сталкиваются все социальные интересы.

Х

ГРУСТНОЕ НАСТРОЕНИЕ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ

В то время как генерал усаживался в коляску, чтобы ехать в префектуру, графиня подходила

36 Речь идет о ваших делах (*лат.*).

к Авонским воротам, где полтора года назад поселились Мишо и Олимпия.

Кто припомнит сделанное нами выше описание охотничьего домика, тот, несомненно, подумает, что его теперь заново отстроили. Прежде всего выпавший и попорченный временем кирпич и обвалившаяся штукатурка были заменены новыми. Вычищенная аспидная крыша с белой балюстрадой, отчетливо вырисовывавшейся на ее синеватом фоне, придавала зданию былой веселый вид. За расчищенной и посыпанной песком площадкой перед домом следил специально приставленный человек, обязанностью которого было поддерживать в порядке садовые аллеи. Оконные наличники, карнизы — словом, вся каменная отделка здания была восстановлена, и дом принял свой прежний нарядный вид. Птичник, конюшни и хлев, перенесенные на фазаний двор и скрытые купой деревьев, уже не портили общей картины, наоборот, смутно доносившиеся со двора звуки, воркование и хлопанье крыльев, присоединяясь к неумолчному лесному гомону, приятно вторили непрерывной мелодии вечно поющей природы. Здесь сочетались естественность запущенного леса с изяществом английского парка. Все вокруг радовало взор каким-то спокойным достоинством, приветливостью, да и внутри благодаря заботам молодой и счастливой хозяйки все выглядело совершенно иначе, чем при Курткюисе, при котором на всем лежал отпечаток грубой нерадивости.

В описываемое время года природа блистала всем своим великолепием. Ароматы цветочных клумб сливались с благоуханием леса. Из парка, с недавно скошенных лужаек, доносился запах свежего сена.

Дойдя до конца одной из выходивших к флигелю извилистых аллей, графиня и два ее гостя увидели г-жу Мишо, сидевшую возле дома и занятую шитьем приданого для своего будущего ребенка. Женщина, в такой позе и за таким занятием, вносит в пейзаж что-то очень человеческое, и в действительной жизни это так трогательно, что некоторые художники по неразумию пытались перенести такое настроение на свое полотно. Эти художники упускают из виду, что «дух» пейзажа, если он удачно передан, подавляет человека своей величественностью, а в жизни соотношение между человеком и обстановкой никогда не бывает нарушено, ибо наш взгляд замыкает подобную сцену в определенную рамку. И Пуссен, наш французский Рафаэль, правильно поступил, отведя пейзажу второстепенную роль в своих «Аркадских пастухах», ибо он понял, что человек мал и жалок на картине, где главное — природа.

А тут взгляд радовало лето во всей своей красе, созревшая жатва, картина, полная здоровых и простых чувств. Тут нашла свое воплощение мечта многих людей, чья бурная жизнь, полная и дурным, и хорошим, породила в них стремление к покою.

Расскажем в немногих словах роман этой супружеской четы. Жюстен Мишо не особенно горячо откликнулся на предложение славного командира кирасиров поступить к нему в начальники охраны его поместья: он в то время подумывал вернуться на военную службу; но в связи с этим предложением и переговорами ему пришлось побывать в особняке графа, где он увидел старшую камеристку графини. Молодая девушка, доверенная попечению графини семьей честных фермеров из окрестностей Алансона, могла рассчитывать в будущем на некоторый достаток, ибо ее ожидало наследство от нескольких родственников, примерно двадцать — тридцать тысяч франков. Подобно многим земледельцам, которые поженились в молодом возрасте и все еще смотрят из рук родителей, отец и мать девушки очень нуждались и, не имея возможности дать образование своей старшей дочери, поместили ее на службу к молодой графине. Г-жа де Монкорне обучила Олимпию Шарель кройке и шитью, приказала подавать ей обед отдельно от другой прислуги и была вознаграждена за свое внимание безграничной преданностью, столь нужной парижанкам. Олимпия Шарель, хорошенькая нормандка, с золотисто-белокурыми волосами, склонная к полноте, с живыми, умными глазами, примечательная изящным носиком с горбинкой, как у маркизы, и девичьим обликом, при испанских линиях стана отличалась благовоспитанностью, какую может приобрести камеристка, по своему происхождению стоящая чуть выше простонародья, ежели ее знатной хозяйке будет угодно приблизить ее к себе. Она всегда была прилично одета, скромно себя держала и изъяснялась вполне правильным языком. Мишо сразу же поддался ее чарам, особенно когда узнал, что его красавица со временем получит неплохое состояние. Препятствия встретились со стороны графини, не желавшей расстаться с такой драгоценной горничной, но когда Монкорне объяснил ей, какое создалось в Эгах положение, она не стала спорить, и теперь свадьбу за-

держивала только необходимость посоветоваться с родителями невесты; они не замедлили дать свое согласие.

Жюстен Мишо, по примеру генерала, смотрел на свою молодую жену, как на высшее существо, которому следовало повиноваться по-военному, не рассуждая. В этом душевном спокойствии и занятиях вне дома он нашел то счастье, о котором мечтает солдат, покидая военную службу: труд, необходимый для здоровья тела, и усталость, необходимую для наслаждения отдыхом. Несмотря на всеми признанную свою храбрость, Мишо ни разу не был серьезно ранен и не испытывал тех болей, которые, несомненно, озлобляют ветеранов. Как у всех действительно сильных людей, у него был ровный характер, и жена полюбила его от всего сердца. Поселившись в охотничьем домике, эта счастливая супружеская пара наслаждалась счастьем медового месяца в полной гармонии и с природой, и с искусством, творения коего ее окружали, — обстоятельство довольно редкое! Окружающая обстановка далеко не всегда соответствует нашему душевному настроению.

Открывшаяся перед нашими путниками картина была так прелестна, что графиня остановила Блонде и аббата Бросета, чтобы они могли полюбоваться очаровательной Олимпией Мишо, незаметно для нее.

— Гуляя, я всегда захожу в эту часть парка, — шепнула графиня. — Я с таким же удовольствием смотрю на этот домик и на двух его голубков, с каким люблю красивый пейзаж.

Говоря это, она многозначительно оперлась на руку Эмиля Блонде, желая поделиться с ним столь деликатными чувствами, что передать их словами поистине трудно, но женщины поймут ее.

— О, как бы мне хотелось быть в Эгах таким привратником, — улыбаясь, ответил Блонде. — Но скажите, что с вами? — спросил он, заметив на лице графини выражение печали, которое вызвали его слова.

— Так, пустяки.

— Думая о чем-нибудь значительном, женщина всегда считает своим долгом лицемерно заявить: «Так, пустяки».

— Но ведь бывает, что женщину мучат мысли, которые вам могут показаться пустыми, а для нас они ужасны. Я тоже завидую участи Олимпии.

— Да услышит вас бог! — промолвил аббат Бросет, сопровождая эти слова улыбкой, чтобы сгладить всю их серьезность.

Госпожа Монкорне встревожилась, уловив в позе и в выражении лица Олимпии какое-то беспокойство и грусть. По тому, как женщина вытягивает нитку при каждом стежке, другая женщина угадывает ее настроение. В самом деле, хотя жена начальника охраны была одета в премиленькое розовое платье, а непокрытая голова ее была тщательно причесана, мысли ее, очевидно, шли вразрез с этим нарядом, с погожим днем и спокойной работой. Ее красивый лоб, ее рассеянный взгляд, скользивший то по песчаной площадке, то по листве деревьев, выдавали затаенную тревогу, и тем откровеннее, что она не подозревала о присутствии наблюдателей.

— А я завидовала ей!.. Откуда у нее мрачные мысли?.. — сказала графиня священнику.

— Сударыня, — тихо ответил аббат Бросет, — скажите, почему среди полного счастья человек всегда подвержен неясным, но зловещим предчувствиям?

— Аббат, — заметил с улыбкой Блонде, — вы позволяете себе епископские ответы!.. «Ничего не украдешь, за все расплатишься!» — сказал Наполеон.

— Такое изречение, высказанное устами императора, вырастает до размеров народной мудрости, — ответил аббат.

— В чем дело, Олимпия, что с тобой, дружок? — спросила графиня, подходя к своей бывшей горничной. — Ты как будто задумчива и печальна... Уж не было ли у вас размолвки?..

Госпожа Мишо встала, и выражение ее лица сразу изменилось.

— Дитя мое, — отечески обратился к ней Эмиль Блонде, — хотел бы я знать, почему мы грустны, когда тут во флигеле нам почти так же хорошо, как графу д'Артуа в Тюильри? Ваше жилище точно соловьиное гнездышко в зеленой чаще! Ведь у вас муж первый храбрец во всей наполеоновской гвардии, красавец, влюблен в вас до безумия? Если бы я только знал, какие условия предложил вам Монкорне, я бы бросил свое ремесло писака и поступил бы на место начальника охраны!

— Это не место для человека с вашим талантом, сударь, — ответила Олимпия, улыбаясь Блонде, как старому знакомому.

— Но что же с тобой, дружок? — спросила графиня.

— Мне страшно, сударыня...

— Страшно! Чего же? — живо спросила графиня, вспомнив при этих словах о Муше и Фуршоне.

— Страшно волков? — сказал Эмиль, делая г-же Мишо знак, не понятый ею.

— Нет, сударь, здешних крестьян. Я родилась в Перше, у нас, конечно, встречаются дурные люди, но я не думаю, чтобы там их было так много и таких злых, как здесь. Я притворяюсь, будто дела Мишо меня не касаются, но я все вижу: он настолько не доверяет крестьянам, что носит при себе оружие даже среди бела дня, если ему приходится идти лесом. Он велит лесникам всегда быть начеку. Здесь иногда бродят люди, от которых нельзя ждать ничего доброго. Как-то на днях я прошла вдоль ограды к истоку ручейка, что вытекает из лесу и шагах в пятистах отсюда проходит в парк сквозь железную решетку; его зовут Серебряным ручьем, потому что, как говорят, Буре приказал рассыпать по его песчаному дну серебряные блески... Вам, сударыня, об этом рассказывали? Так вот, я подслушала разговор двух старых женщин, полоскавших белье в том месте, где ручей пересекает Кушскую аллею; они не знали, что я рядом. Оттуда виден наш флигель. Старухи показывали на него. «И уйму же денег потратили на этого молодчика, что сменил старика Курткуиса!» — сказала одна. «А как же не платить человеку, который подрядился тиранить бедный народ!» — ответила другая. «Недолго ему тиранить, — возразила первая, — скоро придет конец. Что там ни говори, а запастись дровами — наше право. Покойница барыня позволяла нам собирать хворост. Тридцать лет собирали, значит, так уж заведено». — «Посмотрим, что зимой будет, — сказала вторая старуха. — Муж мой всеми святыми клянется, что хоть сюда с целого света жандармов сгонят, мы все-таки будем ходить в лес, муж и сам пойдет, а там как хотят, им же хуже будет». — «А то как же! Помирать нам, что ли, от холода, да и хлеб печь тоже надо! — сказала первая. — У них-то во всем достаток! О молоденькой женушке подлеца Мишо позаботятся!..» Ну, а потом, сударыня, они наговорили всяких мерзостей про меня, про вас, про графа... И под конец сказали, что сначала сожгут фермы, а потом замок...

— Э! — воскликнул Эмиль. — Бабья болтовня! Генерала обворовывали, а теперь воровству будет положен конец. Народ озлился, вот и все! Поверьте, что сила всегда на стороне правительства, даже и в Бургундии. В случае беспорядков пришлют, если потребуется, целый кавалерийский полк.

Кюре за спиной графини делал знаки г-же Мишо, давая ей понять, чтобы она молчала о своих страхах, без сомнения порожденных предвидением, всегдашним спутником истинной любви. Человек, все помыслы которого заняты одним существом, в конце концов начинает проникать в духовный мир окружающих и замечать в нем признаки будущего. Любящая жена полна предчувствий, позднее озаряющих ее материнство. В этом причина грустного настроения, необъяснимой печали, часто непонятной мужчинам, которых жизненные заботы и непрерывная деятельность отвлекают от подобной сосредоточенности чувств. Всякая истинная любовь связана у женщин с ясновидением, у одних более, у других менее проникновенным, у одних более, у других менее глубоким, — в зависимости от характера.

— Ну, дружок, покажи свой домик господину Блонде, — промолвила графиня, очнувшись от задумчивости, когда она даже позабыла о Пешине, ради которой, собственно, и пришла сюда.

Внутреннее убранство реставрированного флигеля вполне соответствовало его великолепно-му наружному виду. Парижский архитектор, приезжавший со своими рабочими (обида, которую жители Виль-о-Фэ никак не могли простить эгскому помещику), восстанавливая первоначальное расположение дома, устроил в нижнем этаже четыре комнаты. Во-первых, переднюю, откуда шла старинная винтовая деревянная лестница с перилами, а за нею — кухню; затем по обе стороны от передней — столовую и гостиную с гербами, вырезанными на потолке мореного дуба. Художник, приглашенный г-жой Монкорне для реставрации Эгов, позаботился, чтобы обстановка гостиной вполне соответствовала старинной отделке этой комнаты.

В то время мода еще не придавала преувеличенной ценности осколкам ушедших столетий.

Резные ореховые кресла, вышитые стулья с высокими спинками, консоли, часы, гобелены, столы и люстры, лежавшие на складах оссэрсских и виль-о-фэйских перекупщиков, стоили вдвое дешевле, чем рыночная мебель из Сент-Антуанского предместья. Архитектор купил два-три воза разного умело подобранного старья, добавил кое-какие вещи, оказавшиеся ненужными в замке, и создал из гостиной авонского флигеля своего рода художественное произведение. Столовую он окрасил под дерево и оклеил так называемыми шотландскими обоями, а г-жа Мишо повесила на окна белые перкалевые занавески с зеленой каймой, поставила стулья красного дерева с зеленой суконной обивкой, два громадных буфета и стол красного дерева. Эта комната, украшенная гравюрами, изображавшими сцены из военной жизни, отапливалась изразцовой печью, по обе ее стороны на стене красовались охотничьи ружья. Все это дешево обошедшееся великолепие почиталось в Эгской долине последним словом азиатской роскоши. Странное дело! Оно вызвало зависть Гобертена, который, не отказываясь от мысли распродать Эги по участкам, решил *in petto*³⁷ сохранить для себя этот роскошный флигель.

В трех комнатах второго этажа помещалась супружеская чета. На окнах висели кисейные занавески, наводившие парижанина на мысль о мещанских вкусах и склонностях хозяйки. Предоставленная самой себе, г-жа Мишо выбрала глянцевые обои. В спальне стояла рыночная мебель красного дерева с плюшевой обивкой, кровать «ладьей» с колонками и венцом, откуда спускался вышитый кисейный полог. Камин украшали алебастровые часы, а по обе их стороны стояли два канделябра в кисейных чехлах и две вазы с искусственными цветами под стеклянным колпаком — свадебный подарок Мишо. Под крышей находились, также отделанные заново, комнаты кухарки, слуги и Пешины.

— Олимпия, дружок, ты ведь сказала мне не все? — спросила графиня, входя в спальню г-жи Мишо без Эмиля Блонде и юре, которые остались на лестнице и, услышав стук закрываемой двери, спустились вниз.

Госпожа Мишо, смущенная красноречивой мимикой аббата Бросета, решила избежать разговора о своих опасениях, тревоживших ее более, чем она это высказывала, и поделилась с графиней секретом, напомнившим последней о цели ее прихода.

— Вы знаете, сударыня, что я люблю мужа. Ну так, скажите, было бы вам приятно видеть возле себя, у себя же в доме соперницу?

— Соперницу?!

— Да, сударыня. Та смуглянка, которую вы отдали мне на попечение, влюблена в Мишо, сама того, бедняжка, не зная. Поведение этой девочки, долгое время остававшееся для меня загадкой, разъяснилось в самые последние дни.

— Влюблена? В тринадцать лет!..

— Да, сударыня... И согласитесь, что это может встревожить женщину, уже четвертый месяц носящую под сердцем ребенка, которого ей самой предстоит кормить. Но чтобы не выказывать своей тревоги при ваших гостях, я наговорила вам разных глупостей, — хитро добавила великодушная жена начальника охраны.

Госпожа Мишо вовсе не боялась Женеьевы Низрон, уже несколько дней она испытывала совсем иной, смертельный страх, который злорадно поддерживали в ней напугавшие ее крестьяне.

— Но что же дало тебе повод предполагать?..

— Ничего и все! — ответила Олимпия, глядя на графиню. — Если я ей что-нибудь прикажу, девочка чуть двигается, хуже черепahi, но стоит только о чем-нибудь попросить Жюстену, и она становится проворнее ящерицы. Чуть она услышит голос моего мужа, и уж вся трепещет, как листочек, а когда смотрит на него, лицо у нее такое радостное, как у святой при вознесении на небо; но она и не подозревает, что это любовь, она сама не понимает, что любит.

— Бедная девочка! — с простодушной улыбкой сказала графиня.

— И вот, — продолжала мадам Мишо, тоже улыбнувшись в ответ на улыбку прежней своей хозяйки, — когда Жюстена нет дома, Женеьева мрачна, а если я спрошу, что ее тревожит, она уверяет, что боится господина Ригу... Какие глупости! Она воображает, что все на нее зарятся, а

37 Втайне (*ut.*).

сама чернее сажи в печной трубе. Когда Жюстен объезжает по ночам леса, девочка беспокоится не меньше моего. Я открою окно, прислушиваюсь, не раздастся ли топот лошади, и вижу свет у Пешины, — так ее здесь называют, — значит, она тоже не спит и ждет его; и ложится она спать только после его возвращения домой.

— В тринадцать лет! — вновь воскликнула графиня. — Несчастная!..

— Несчастная?.. — воскликнула Олимпия. — Нет, эта ребяческая страсть спасет ее.

— Спасет? От чего? — спросила г-жа Монкорне.

— От участи, ожидающей здесь почти всех девушек ее возраста. С тех пор как я ее немного отмыла, она стала не такой некрасивой, в ней теперь есть что-то своенравное, что-то дикое, что привлекает мужчин. Она так изменилась, что вам, сударыня, ее не узнать. Сын этого ужасного трактирщика, хозяина «Большого-У-поения», Никола, — негодяй из негодяев, хуже его не найдешь во всей нашей общине, прицепился к бедняжке; он гоняется за ней, как за дичью. Трудно поверить, что такой богатый человек, как господин Ригу, каждые три года меняющий служанок, мог преследовать двенадцатилетнюю дурнушку, но нет ничего удивительного, что Никола Тонсар бежит за Пешиной, — мне Жюстен говорил. Это ужасно, потому что люди в здешнем краю, право, хуже зверей. Но Жюстен, двое наших слуг и я не спускаем глаз с девочки. Можете о ней не беспокоиться, сударыня, она выходит одна только днем и не дальше как до Кушских ворот. Если случайно она попадет в ловушку, любовь к Жюстену придаст ей силы и хитрости, ведь всякая женщина умеет сопротивляться ненавистному человеку, когда сердце влечет ее к другому.

— Ради нее я и пришла, — сказала графиня. — Я не знала, что тебе так нужен мой приход. Знаешь, дружок, ведь девочка-то вырастет и похорошеет!..

— О сударыня, — с улыбкой возразила Олимпия, — я совершенно уверена в Жюстене. Что это за человек! Какое у него сердце!.. Если бы вы только знали, как глубоко признателен он генералу: Жюстен говорит, что обязан ему своим счастьем. Он всей душой ему предан и готов ради него, как на войне, рисковать жизнью, забывая, что скоро станет отцом семейства.

— Ну, вот! А я готова была тебя пожалеть, — сказала графиня, бросая на Олимпию взгляд, от которого та зарделась. — Но теперь я уже тебя не жалею, я вижу, что ты счастлива. Какое прекрасное и благородное чувство супружеская любовь! — добавила она, громко высказывая мысль, которую незадолго перед этим не решилась выразить при аббате Бросете.

Графиня де Монкорне ушла в свои мечты, а Олимпия, сочувствуя этим мечтам, не нарушила молчания.

— Она честная девочка? — спросила графиня, словно отрываясь от своих грез.

— Можете на нее положиться, как на меня, — ответила г-жа Мишо.

— Не болтливая?

— Могила!

— Благодарная?

— Ах, сударыня, иной раз она так льнет ко мне, столько в ней смирения! Просто ангел; целует мне руки и говорит такие слова, что сердце разрывается... Позавчера она меня спросила: «Можно ли умереть от любви?» — «Почему ты об этом спрашиваешь?» — «Чтобы узнать, а может, это болезнь!»

— Она так сказала? — воскликнула графиня.

— Если бы я помнила все ее слова, я бы вам еще не то рассказала! — промолвила Олимпия. — Можно подумать, что она перечувствовала больше, чем я.

— Как тебе кажется, дружок, могла бы она заменить тебя? Мне очень трудно обойтись без моей Олимпии, — сказала графиня, как-то грустно улыбнувшись.

— Пока еще нет, сударыня, она еще слишком молода; но года через два — вполне. Кроме того, если понадобится удалить ее отсюда, я вам скажу. Ее надо еще учить, она ровно ничего не знает. Дедушка Женеьевы, старик Низрон, скорее даст отрубить себе голову, чем скажет неправду. Он лучше с голоду умрет, а чужого не возьмет ни крошки; уж такие у него убеждения, и внучка его воспитана в тех же понятиях. Пешина стала бы считать себя вашей ровней, дедушка Низрон сам говорит, что воспитал ее республиканкой, точно так же, как дядя Фуршон готовит из Муша бродягу. Я только посмеиваюсь над ее выходками, но вас они могли бы рассердить. Она в вас по-

читает только свою благотельницу, а не человека благородного звания. Что тут поделаешь! Пешина дика, как ласточка. Кровь матери сказывается в ней.

— А кто ее мать?

— Как, сударыня, вы не знаете этой истории? — спросила Олимпия. — Так вот, сын Низрона, бланжийского церковного сторожа, Огюст, красавец, как мне говорили здешние жители, попал во время рекрутского набора в солдаты. Молодой Низрон в тысяча восемьсот девятом году был еще простым канониром в одном из армейских корпусов, когда корпусу этому приказано было быстро двинуться из глубины Иллирии и Далмации через Венгрию, чтобы отрезать отступление австрийской армии в том случае, если император выиграет сражение при Ваграме. Мишо мне рассказывал про эту Далмацию, он там был. Низрон, видный мужчина, покорила в Заре сердце одной черногорки; дочь гор, как видно, не чуралась французских солдат. Молодая девушка — звали ее Зена Краполи — погубила себя в глазах соотечественников, и после ухода французов ей уже нельзя было остаться в своем городке — там ее ругали «французенкой»; она последовала за артиллерийским полком и после заключения мира вернулась с Низроном во Францию. Огюст просил разрешения жениться на черногорке, она уже была тогда беременна Женевиёвой, но бедная женщина умерла в Венсене от родов, в январе тысяча восемьсот десятого года. Все документы, необходимые для заключения брака, пришли несколько дней спустя. Огюст Низрон написал отцу, чтобы тот приехал за ребенком, захватив с собой из деревни кормилицу, и взял бы младенца на свое попечение. Он рассудил совершенно правильно, потому что сам был вскоре убит осколком снаряда под Монтро. Маленькую далматку окрестили в Суланже, назвали Женевиёвой, и ее взяла под свое покровительство мадмуазель Лагер, очень растроганная всей этой историей. Такая уж, должно быть, судьба у нашей Пешины — быть на попечении у владельцев Эгов. В свое время дедушка Низрон получил из замка и приданое для младенца, и денежную помощь.

В этот момент графиня и Олимпия, стоявшие у окна, увидели, как Мишо подходит к аббату Бросету и Блонде, которые разговаривали, прогуливаясь по большому песчаному полукругу, сходному с полукругом в конце парка.

— Где же она? — спросила графиня. — После твоих рассказов мне очень хочется повидать ее.

— Она понесла молоко дочери Гайяра к Кушским воротам и, верно, сейчас где-нибудь недалеко, — уже больше часа, как она ушла.

— Ну, тогда я пойду ей навстречу вместе с моими спутниками, — сказала графиня, направляясь вниз.

Когда графиня раскрывала свой зонтик, к ней подошел Мишо и предупредил, что генерал оставляет ее дня на два соломенной вдовой.

— Господин Мишо, — с живостью обратилась к нему графиня, — не обманывайте меня, здесь творится что-то серьезное. Ваша жена напугана, и если в этом краю много людей, похожих на дядю Фуршона, тут вовсе нельзя жить.

— Если бы дело обстояло так, — смеясь, ответил Мишо, — нас бы уже давно не было в живых, потому что нет ничего проще, как отделаться от нас. Крестьяне кричат — вот и все. Но они слишком дорожат своей жизнью и вольным воздухом, чтобы от крика перейти к делу и от проступков к преступлению... Олимпия, верно, рассказала вам, какие разговоры напугали ее, но при теперешнем ее положении она способна испугаться даже своих снов, — добавил он и, беря под руку жену, взглядом дал ей понять, чтобы в дальнейшем она молчала.

— Корнвен, Жюльета! — крикнула Олимпия. — Я ненадолго отлучусь, посмотрите за домом, — распорядилась она, увидав в окне голову старухи кухарки.

Свирепый лай двух огромных собак засвидетельствовал, что наличные силы гарнизона Авонских ворот достаточно внушительны. На лай из кустов высунул голову Корнвен, муж кормилицы Олимпии, типичный старый першеронец, каких можно встретить только в Перше. Корнвен, наверно, был шуаном в 1794 и 1799 годах.

Все последовали за графинею по той из шести аллей, которая вела прямо к Кушским воротам и пересекалась Серебряным ручьем. Г-жа де Монкорне шла впереди с Блонде. Аббат Бросет, Мишо и его жена вели вполголоса разговор о положении в крае, которое только что открылось

графине.

— Быть может, такова воля провидения, — говорил священник, — потому что, если графиня захочет, мы сумеем добрыми делами и кротостью исправить здешний народ.

Примерно шагах в шестистах от флигеля, уже пройдя ручей, графиня заметила на дорожке разбитый красный кувшин и пролитое молоко.

— Что случилось с девочкой? — воскликнула она, подзывая Мишо и его жену, направившихся было домой.

— Такое же несчастье, как и с Перетой в басне, — ответил Эмиль Блонде.

— Нет, кто-то внезапно напал на бедную девочку и погнался за ней, — кувшин отброшен в сторону, — сказал аббат Бросет, внимательно рассматривая землю.

— Да ведь это же следы Пешины! — сказал Мишо. — Смотрите, они круто поворачивают в сторону — это признак внезапного испуга. Девочка стремительно кинулась обратно, к флигелю, она хотела вернуться домой.

Все пошли по следам, на которые указывал пальцем начальник охраны, приглядываясь к ним на ходу; он остановился посередине аллеи, шагах в ста от разбитого кувшина, где отпечаток ног Пешины вдруг обрывался.

— Здесь она свернула к Авоне, — сказал он. — Возможно, что кто-то отрезал ей путь к флигелю.

— Но уже больше часа, как она ушла из дому! — воскликнула г-жа Мишо.

На всех лицах отразился страх. Кюре поспешно направился к флигелю, внимательно рассматривая дорогу, а Мишо, движимый теми же соображениями, пошел по аллее к Кушу.

— Боже мой, она здесь упала, — воскликнул Мишо, вернувшись с того места, где прерывались следы, ведущие к Серебряному ручью, на середину аллеи, где они тоже кончались. — Смотрите! — сказал он, указывая на землю.

Все действительно увидели на песке отпечаток человеческого тела.

— Следы, ведущие к лесу, оставил кто-то, кто обут в башмаки на веревочной подошве... — сказал кюре.

— Это женский след, — заметила графиня.

— А там, возле разбитого кувшина, след мужской ноги, — сказал Мишо.

— Здесь все следы совершенно одинаковые, — сообщил кюре, дошедший до самого леса по следу с отпечатком веревочной подошвы.

— Ее, наверно, схватили и унесли в лес! — воскликнул Мишо.

— Если это след женской ноги, то тут окончательно ничего нельзя понять, — заметил Блонде.

— Это, несомненно, проделки мерзавца Никола, — сказал Мишо. — Он уже несколько дней подстерегает Пешину. Я сегодня просидел целых два часа под Авонским мостом, чтобы захватить этого негодяя. Возможно, что в его замыслах помогает ему женщина.

— Какой ужас! — воскликнула графиня.

— Для них все это милые шутки, — с грустью и горечью промолвил кюре.

— О, Пешина не дастся им в руки, — сказал начальник охраны. — Она скорее бросится вплавь через реку. Пойду осмотрю берег Авоны. Дорогая Олимпия, вернись-ка лучше домой. А вы, господа, и вы, сударыня, пройдитесь по аллее к Кушу.

— Что за край! — проговорила графиня.

— Всюду найдутся негодяи, — заметил Блонде.

— Правда ли, господин кюре, — спросила графиня, — что я вырвала эту девочку из когтей Ригу?

— Всякая девушка моложе пятнадцати лет, которую вы приютите у себя в замке, будет вырвана из лап этого изверга, — ответил аббат Бросет. — Стараясь залучить к себе в дом Пешину, когда ей только что минуло двенадцать лет, расстрига одновременно стремился к удовлетворению и своих распутных наклонностей, и чувства мести. Он наговорил ее дедушке, что хочет исправить несправедливость, допущенную дядей Низрона, моим предшественником, но мне удалось разъяснить этому старику, взятому мной в сторожа, истинные намерения Ригу. И тогда у нашего бывше-

го мэра появилась еще одна лишняя обида против меня, и его ненависть с той поры возросла... Старик Низрон напрямик заявил Ригу, что убьет его в случае несчастья с Женевиевой и возложит на него ответственность за всякое покушение на честь девочки. Я весьма склонен видеть в преследованиях Никола Тонсара какой-нибудь отвратительный замысел со стороны Ригу, считающего, что ему здесь все дозволено.

— Он, стало быть, не боится правосудия? — спросил Блонде.

— Во-первых, он тесть местного прокурора, — ответил кюре, немного подумав. — А потом, вы и представить себе не можете, до чего доходит беспечность полиции и прокуратуры. Раз крестьяне не жгут ферм, не убивают, не отравляют и платят налоги, — пускай делают, что хотят, а поскольку крестьянам чужды какие бы то ни было религиозные принципы, здесь ужас что творится. По ту сторону Авоны немощные старики боятся остаться дома, потому что тогда их перестанут кормить; они работают в поле, пока держатся на ногах, так как прекрасно знают, что стоит им слечь — и они умрут с голоду. Мировой судья Саркюс говорит, что, если привлекать к суду всех преступников, государство разорится на судебных издержках.

— Этот судья смотрит на вещи трезво, — заметил Блонде.

— Да. Вот и его преосвященство хорошо знал, как обстоят дела в здешней долине, в особенности в нашей общине, — продолжал священник. — Только религия может исправить это зло, а закон в его теперешнем виде, по-моему, бессилён...

Речь священника была прервана криками, раздавшимися из леса, и графиня, вслед за Эмилем и аббатом, смело побежала в ту сторону.

XI

ОАРИСТИС³⁸, ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ЭКЛОГА ФЕОКРИТА, НЕ СЛИШКОМ ОДОБРЯЕМАЯ СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ

Благодаря проницательности, развившейся у начальника охраны на новой его должности не хуже, чем у дикаря, а также благодаря знанию страстей и стремлений жителей бланжийской общины Мишо частично уже нашел объяснение третьей идиллии в греческом вкусе в том «вольном», по классическому выражению, переводе, в каком воспроизводят античные идиллии в глухой провинции иные крестьяне-бедняки вроде Тонсаров и пожилые богачи вроде Ригу.

Второй сын Тонсара Никола вытянул при жеребьевке неудачный номер. За два года перед тем старший сын Тонсаров при содействии Гобертена, Судри и Саркюса-богатого был признан негодным к военной службе: у него вдруг заболели мышцы правой руки; но в дальнейшем Жан-Луи Тонсар без особого труда справлялся с самой тяжелой полевой работой, что вызвало толки в кантоне. Покровители семейства Тонсаров — Судри, Ригу и Гобертен — предупредили трактирщика, что сейчас не время пытаться избавить рослого и сильного Никола от рекрутчины. Однако виль-офэйский мэр и Ригу живо чувствовали, как важно заручиться признательностью таких отчаянных головорезов, способных на всякие мерзости, а затем натравить их на эгских помещиков, и Ригу подал Тонсару и его сыну кое-какие надежды.

Монах-расстрига, к которому заходила Катрин, чрезвычайно преданная своему брату, посоветовал Тонсарам обратиться к графине и генералу:

— Возможно, что он даже будет рад умаслить вас, оказав такую услугу, а это уже маленькая победа над врагом, — сказал Катрин грозный тесть прокурора. — Ну, а если Обойщик откажет, — тогда посмотрим.

Ригу предвидел, что отказ генерала будет истолкован как новое проявление враждебности по отношению к крестьянам; если же бывшему мэру при его изворотливости удастся освободить Никола от рекрутчины, то Тонсар почувствует себя еще более обязанным их коалиции.

Никола, которому в ближайшие дни предстояло явиться в воинское присутствие, не возлагал

³⁸ «Оаристис» («Дружеская беседа») — идиллия, которая приписывается древнегреческому поэту Феокриту (III в. до н.э.). В ней говорится о любовном объяснении погонщика быков с пастушкой. Название главы дано Бальзаком иронически.

особых надежд на протекцию генерала, зная, как в Эгах недовольны семьею Тонсаров. Его страсть к Пешине, или, вернее, овладевшая им неотвязная прихоть, были до такой степени возбуждены мыслью о близком отъезде, не оставлявшем ему времени для обольщения, что он решил пустить в ход насилие. Презрение, которое Женевьева выказывала своему преследователю, ее решительное сопротивление разожгли в ловеласе Эгской долины чувство ненависти, по силе своей не уступавшее его страсти. Уже три дня подстерегал он Пешину, и бедняжка знала, что ее подстерегают: между Никола и его жертвой установилось такое же взаимное понимание, как между охотником и дичью. Стоило Пешине выйти за ворота, и тотчас же в аллее, проходившей вдоль ограды парка, или на Авонском мосту она замечала Никола. Она могла бы избавиться от его преследований, пожаловавшись своему деду, но даже самые простодушные девушки из какого-то, быть может, инстинктивного страха бояться в такого рода делах прибегать к защите своих естественных покровителей.

Женевьева слышала, как Низрон клялся убить всякого, кто осмелится «тронуть» его внуку. Старику казалось, что его седины и безупречная жизнь — достаточная для нее охрана. Перспектива страшных драм до такой степени пугает пылкое девическое воображение, что нет необходимости приводить многие другие, подчас очень любопытные причины, скрытые в тайниках сердца и накладывающие печать молчания на уста такого юного существа.

Прежде чем отправиться с молоком, которое Олимпия посылала дочери Гайяра, сторожа при Кушских воротах, так как корова его только что отелилась, Пешина, точно кошка, решившая выйти из дома, предварительно огляделась вокруг. Однако нигде не было и признаков Никола; она внимала тишине, как говорит поэт, и, ничего не услышав, предположила, что этот мерзавец где-нибудь на работе. Крестьяне уже начинали жать рожь, так как они всегда торопятся убрать хлеб на своих полях, чтобы не пропустить поденщины, хорошо оплачиваемой жнецам. Но Никола был не из тех, кто жалеет о двухдневном заработке, тем более что после суланжской ярмарки он должен был расстаться с родными местами и пойти в солдаты, а для крестьянина это значит начать новую жизнь.

Когда Пешина, с кувшином на голове, прошла половину дороги, Никола, спрятавшийся в ветвях, высокого вяза, словно дикая кошка прыгнул к самым ногам девочки, та бросила кувшин и помчалась обратно, рассчитывая добежать до дома, но не успела она сделать и ста шагов, как сидевшая в засаде Катрин Тонсар выскочила из леса и с такой силой толкнула Пешину, что бедняжка упала. От силы удара она потеряла сознание. Катрин подняла ее на руки и унесла в лес, на небольшую лужайку, по которой, журча, пробегает Серебряный ручей.

Катрин, девушка рослая и сильная, пленявшая авонскую молодежь, во всем походила на дев, и поныне избираемых скульпторами и художниками, как некогда избирала их Республика, для изображения Свободы: та же пышная грудь, те же мускулистые ноги и крепкие руки, тот же мощный и гибкий стан, те же глаза с огненными искорками, горделивая осанка, пышные волосы, заложженные небрежным узлом, мужской лоб и пунцовые губы, на которых играла почти жестокая улыбка, так удачно схваченная и воспроизведенная Эженом Делакура и Давидом Анжерским. Пылкая и резкая Катрин с светло-кариими глазами, горящими огнем мятежа, могла быть прообразом народа, если б не ее пронзительный по-солдатски наглый взгляд. Она унаследовала от отца такой буйный нрав, что ее боялась вся семья, кроме самого Тонсара.

— Ну, как ты себя чувствуешь, старушка? — спросила она Пешину.

Катрин умышленно усадила свою жертву на бугорок возле ручья и привела ее там в чувство, облив холодной водой.

— Где я? — спросила девочка, открывая свои прекрасные черные глаза, словно пронизанные солнечным лучом.

— Ах, если бы не я, тебя бы уже не было в живых...

— Спасибо, — пролепетала Пешина, еще не совсем пришедшая в себя. — Но что же со мной случилось?

— Ты зацепилась ногой за корень, кубарем откатилась на несколько шагов и растянулась на земле... И до чего же ты быстро бежала! Мчалась, точно сумасшедшая.

— Во всем виноват твой брат, — сказала Пешина, вспомнив, что видела Никола.

— Мой брат? А разве он здесь? — удивилась Катрин. — И чем тебе не угодил бедняга Никола, что ты от него, как от оборотня, бегаешь? Он покрасивее твоего Мишо.

— О! — надменно воскликнула Пешина.

— Смотри, голубушка, наживешь ты себе горя, если будешь якшаться с теми, кто нас гонит! Почему ты не заодно с нами?

— А почему вы не ходите в церковь? Почему воруете и днем, и ночью? — спросила девочка.

— И ты, значит, поддалась на господские уговоры!.. — презрительно ответила Катрин, не подозревавшая о сердечной привязанности Пешины. — Для богатых мы все равно что кушанья: им каждый день подавай что-нибудь новое. Где это видано, чтобы барин женился на крестьянке? Вот увидишь, Саркюс-богатый нипочем не позволит сыну жениться на Гатьене Жибуляр из Оссэра, хотя она и раскрасавица, и дочь богатого столяра!.. Ты ни разу не была в суланжском «Тиволи» у Сокара? Попробуй-ка поди туда, — насмотришься на господ! Тогда поймешь, что от них один прок: деньги вытянуть, когда они на нашу удочку попадутся! Придешь в нынешнем году на ярмарку?

— Суланжская ярмарка, говорят, очень уж хороша! — простодушно воскликнула Пешина.

— Постой, я тебе сейчас все расскажу, — продолжала Катрин. — Если ты красивая, все на тебя будут заглядываться. Да и то сказать, зачем и быть хорошенькой, вроде тебя, как не за тем, чтобы мужчины тобой любовались? Ах, как услышала я в первый раз: «Ну и красавица девка!» — вся кровь во мне вскипела. Это у Сокара было, в самый разгар танцев. Дедушка играл на кларнете, он услышал и улыбнулся. А мне «Тиволи» сразу таким большим и светлым показался. Одно слово — небо! Ведь там, голубушка, везде горят лампы с зеркалами... Ну, прямо как в раю. Кавалеры из Суланжа, Оссэра и Виль-о-Фэ все до последнего там. С того вечера я раз навсегда полюбила место, где услышала такие слова, словно военная музыка раздалась они у меня в ушах. Царствие небесное отдашь, голубушка, чтобы услышать такие слова от любимого человека!

— Да, пожалуй, — задумчиво ответила Пешина.

— Ну, так приходи, ты уж обязательно мужчинам приглянешься, будут тебя хвалить! — воскликнула Катрин. — Чего доброго, подвернется еще какой счастливый случай, ты девушка славная!.. Глядишь, сын господина Люпена, Амори, тот, что с золотыми пуговицами ходит, к тебе присватается. Это еще не все, какое там! Если бы ты только знала!.. В «Тиволи» против тоски есть сокаровское «горячительное»!.. Выпьешь «горячительного» винца и позабудешь самое сильное горе. Разные мечтанья в голову ползут, и все на свете тебе нипочем!.. Ты никогда не пила «горячительного»? Ну, значит, ты не знаешь, что такое жизнь.

Привилегия взрослых время от времени прополаскивать горло стаканчиком глинтвейна до такой степени возбуждает любопытство детей, не достигших двенадцатилетнего возраста, что Женестьева однажды глотнула из стаканчика деда, которому доктор прописал такое вино. Девочке оно показалось чем-то волшебным, и потому она внимательно выслушала Катрин, а та как раз и рассчитывала на это для осуществления своего подлого замысла, наполовину уже выполненного. Ей, несомненно, хотелось привести свою жертву, ошеломленную ушибом, в состояние нравственного опьянения, очень опасного для деревенских девушек, ибо фантазия их, лишенная всякой пищи, разгорается при малейшем поводе. Припасенное Катрин под самый конец «горячительное» должно было окончательно одурманить ее жертву.

— Что же в него кладут? — спросила Пешина.

— Разные разности, — ответила Катрин, поглядывая по сторонам, чтобы посмотреть, не идет ли брат. — Перво-наперво всякие штуки из Индии — корицу, травы!.. Выпьешь, и все у тебя внутри изменится как по волшебству. Вот точно все, что сердцу мило, в руках удержишь. И такая станешь счастливая и богатая, и на все-то тебе наплевать!

— А не страшно пить «горячительное» во время танцев? — осведомилась Пешина.

— Чего же бояться? — усмехнулась Катрин. — Тут нет никакой опасности, подумай, ведь народу-то кругом сколько. И все как есть господа на нас смотрят! Ах, ради такого дня можно многое стерпеть! Хоть одним глазком взглянуть, а потом умереть можно, ничего больше и не надо!

— Ах, если бы господин и госпожа Мишо согласились пойти! — воскликнула Пешина, и

глаза ее загорелись.

— Ну, а твой дед Низрон? Ты же его, старика, не бросила, а уж как ему будет лестно, что тобой все, словно королевной какой, любуются... Что же, тебе Мишо и всякие другие арминаки дороже деда и нас, бургундцев? Нехорошо отрекаться от своего края. А потом, что за дело Мишо, если дед поведет тебя на праздник в Суланж? Ах, если бы ты знала, что значит взять волю над мужчиной, быть его *предметом* ... Скажешь ему: «Ступай туда», как я говорю Годэну, — и он идет. «Сделай это», — и он делает!.. А ты, золотце мое, такая пригожая, что и городскому кавалеру, вроде сына господина Люпена, голову вскружишь... Подумать только, господин Амори втюрился в мою сестру, потому что она блондинка, но меня он, наоборот, будто побаивается... А тебя господа из флигеля как принцессу какую раздели.

Катрин умышленно не упоминала о Никола, чтобы усыпить недоверчивость Пешины, в то же время отравляя ее наивную душу сладким ядом похвал. Сама того не зная, она затронула тайную рану ее сердца. Пешина, простая крестьянская девочка, была не по возрасту развита, что свойственно многим натурам, которым суждено так же преждевременно увянуть, как преждевременно они расцвели. На нее, несомненно, оказало влияние и то обстоятельство, что в ее жилах текла черногорская и бургундская кровь, и то, что она была зачата и выношена в тревогах военной жизни. Тоненькая, хрупкая, смуглая, как листок табака, миниатюрная, Пешина была не по росту сильна, чего не замечали крестьяне, которые не имеют ни малейшего представления о тайной силе нервных натур. Нервам не отведено места в системе деревенской медицины.

С тринадцати лет Женестьева перестала расти, хотя рост ее только-только соответствовал возрасту. Трудно сказать отчего, лицо ее напоминало своим цветом топаз: то ли оно было таким от природы, то ли стало таким под воздействием лучей бургундского солнца — блестящим по свойству кожи и темным по оттенку, что старит самую молоденькую девушку, — мы не беремся решать, тем более что медицина, вероятно, осудила бы любое наше утверждение. У Пешины некоторая старообразность лица искупалась живостью, блеском и редкой лучистостью ярких, как звезды, глаз, опущенных, пожалуй, чересчур длинными ресницами, за которыми, должно быть, всегда прячутся такие пронизанные солнцем глаза. Иссиня-черные длинные и густые волосы, заплетенные в толстые косы, лежали венцом надо лбом, изваянным, как у античной Юноны. Эта великолепная диадема волос, эти громадные армянские глаза, это божественное чело подавляли остальные черты лица. Нос был правильной формы, с красивой горбинкой, а ноздри тонкие и подвижные, как у лошади. Когда они страстно раздувались, в выражении ее лица появлялось что-то неистовое. И нос и вся нижняя часть лица казались незаконченными, словно божественному скульптору не хватило глины. Расстояние между нижней губой и подбородком было так мало, что, взяв Пешину за подбородок, вы обязательно задели бы и губы, но вы не замечали этого недостатка, любуясь красотой ее зубов. Вы невольно наделяли душою эти блестящие, гладкие, прозрачные, красиво выточенные зубки, которые не скрывал слишком большой рот с губами, похожими на причудливо изогнутые кораллы. Ушные раковины были так тонки, что на солнце они казались совсем розовыми. Цвет лица, хотя и смуглый, говорил об удивительной нежности кожи. Если прав Бюффон, утверждающий, что любовь основана на прикосновении, то нежность этой кожи, несомненно, волновала так же сильно, как запах дурмана. Грудь, да и все тело поражали своей худобой, но в соблазнительно маленьких ножках и ручках чувствовалась необычная нервная сила, живучесть организма.

Сочетание адского несовершенства и божественной красоты, гармоничное, несмотря на все их противоречия, объединенные господствующим выражением дикой гордости, читавшийся во взгляде вызов сильной души слабому телу — все это создавало незабываемый образ. Природа задумала создать из этого маленького существа женщину, а условия, при которых она была зачата, сделали ее похожей на мальчика лицом и сложением. При взгляде на эту странную девушку поэт сказал бы, что родина ее — Йемен, ибо все в ней напоминало эфритов и гениев арабских сказок. Лицо Пешины не обманывало. Взгляд ее говорил о пламенной душе, прекрасное чело — о благородстве мысли, уста, блиставшие чудесными зубами, и раздувавшиеся ноздри — о бурных страстях. Поэтому любовь, жгучая, как пески пустыни, уже волновала тринадцатилетнюю девочку-черногорку с сердцем двадцатилетней женщины, девочку, которой, как и снеговым вершинам ее ро-

дины, не суждено было украситься внешними цветами.

Читатель теперь поймет, почему Пешина, у которой все поры дышали страстью, пробуждала в развращенных людях их пресыщенное излишествами воображение; точно так же при виде плодов с темными пятнышками и червоточинками текут слюнки у гурманов, знающих по опыту, что но воле природы под такой оболочкой часто бывают скрыты особый аромат и сочность. Почему грубый землепашец Никола преследовал эту девочку, достойную любви поэта, когда буквально вся долина жалела ее за болезненное уродство? Почему старик Ригу воспылал к ней юношеской страстью? Кто из двух был молод и кто стар? Был ли молодой крестьянин так же пресыщен, как старый ростовщик? Каким образом два человека, стоящие на двух концах жизни, объединились в одной зловещей прихоти? Похожа ли сила на исходе на силу, только еще разворачивающуюся? Человеческая извращенность — бездна, охраняемая сфинксом; и начинается и завершается она под вопросами, не имеющими ответа.

Теперь должно быть понятным восклицание: «Piscina!», которое вырвалось у графини, когда она в прошлом году заметила на дороге Женевьеву, остолбеневшую при виде коляски и такой нарядной дамы, как г-жа Монкорне. И вот эта девушка, почти недоносок, со всем пылом черногорки полюбила рослого, красивого и благородного Мишо, начальника эгской охраны, полюбила так, как любят девочки ее возраста, то есть со всем жаром детских желаний, со всей силой юности, с самоотверженностью, вызывающей в чистых девушках божественно поэтические настроения. Катрин, таким образом, притронулась своими грубыми руками к чувствительным струнам арфы, натянутым до последнего предела. Отправиться на праздник в Суланж, блистать, танцевать там на глазах у Мишо, запечатлеться в памяти своего обожаемого повелителя!.. Какие мысли! Заронить их в эту пламенную головку, не значило ли это бросить горящие угли в высушенную августовским солнцем солому?

— Нет, Катрин, — ответила Пешина, — я некрасивая, да такая худая, мне на роду написано вековать свой век в девушках.

— Мужчины любят худышек, — возразила Катрин. — Видишь, я какая? — сказала она, вытягивая свои красивые руки. — Я нравлюсь мозгляку Годэну, нравлюсь плюговому Шарлю, что ездит с графом, зато Люпену сын меня боится. Говорю тебе, меня любят только маленькие мужчины, в Виль-о-Фэ да в Суланже только они говорят: «Вот это девка!» Ну, а ты приглянешься красавцам мужчинам...

— Ах, Катрин, да неужто это правда, — восторженно воскликнула Пешина.

— А как же не правда, раз Никола, первый красавец в кантоне, без ума от тебя. Он только тобой и бредит, голову потерял, а ведь его все девушки любят... Он парень хоть куда!.. Знаешь что, надевай в успеньев день белое платье с желтыми лентами, и будешь первой красавицей у Сокара, а туда самая чистая виль-о-фэйская публика ходит. Ну как, согласна?.. Пстой, я здесь для коров траву жала, у меня в бутылке немного «горячительного» осталось, мне его сегодня утром Сокар дал, — сказала она, увидя лихорадочный взгляд Пешины, взгляд, знакомый каждой женщине. — Я девушка добрая, мы разопьем его вместе... тебе и привидится, что у тебя дружок есть...

Во время этого разговора подкрался Никола, бесшумно ступая по траве, и спрятался за большим дубом у того бугорка, на который сестра его усадила Пешину. Катрин, время от времени оглядывавшаяся по сторонам, пошла за флягой с вином и наконец заметила брата.

— На, начинай, — сказала она девочке.

— Ой, как жжется! — воскликнула Женевьева, отхлебнув два глотка и возвращая бутылку.

— Дура! Смотри! — засмеялась Катрин, залпом опорожняя свою флягу из высушенной тыквы. — Вот как пить надо. Прямо скажешь: словно солнцем нутро опалило!

— А ведь я должна была отнести молоко дочке Гайяра!.. — воскликнула Пешина. — Никола меня так напугал...

— Ты, значит, не любишь Никола?

— Нет, — ответила Пешина. — И чего он гоняется за мной? Мало ли здесь податливых худышек?

— Но если ты, золотце, ему всех здешних девушек милее...

— В таком случае мне его жалко... — промолвила Пешина.

— Сразу видно, что ты с ним еще не познакомилась... — сказала Катрин.

Произнеся эту отвратительную фразу, Катрин Тонсар с молниеносной быстротой схватила Пешину за талию, опрокинула ее на траву, прижала к земле спиной, не давая пошевелиться, и крепко держала ее в таком беспомощном положении. Увидя своего гнусного преследователя, Пешина закричала во все горло и так ударила Никола ногой в живот, что он отлетел от нее шагов на пять; тогда она перевернулась, как акробат, через голову с проворством, обманувшим расчеты Катрин, и вскочила, порываясь убежать. Катрин, не вставая с места, протянула руку, схватила ее за ногу, и Пешина растянулась во весь рост, упав ничком на землю. Крик замер в груди мужественной черногорки, ошеломленной падением. Никола, придя в себя после полученного удара, совсем разъярился, он подбежал к девочке, пытаясь схватить свою жертву. Видя грозящую ей опасность, Пешина, хоть и одурманенная вином, схватила Никола за горло и сдавила его, точно железными тисками.

— Катрин! Помоги! Она меня душит! — закричал Никола сдавленным голосом.

Пешина тоже громко кричала. Катрин зажала ей рот, но девочка до крови укусила ей руку. В это мгновение Блонде, графиня и аббат показались на опушке леса.

— Вон идут господа из замка, — сказала Катрин, помогая Женевиеве подняться.

— Жизнь тебе еще не надоела? — хриплым голосом спросил Никола Тонсар.

— Ну? — отозвалась Пешина.

— Скажи, что мы баловались, и я тебя помилую, — буркнул он.

— Скажешь, сука?.. — повторила Катрин, бросая на девочку взгляд, еще более страшный, чем смертная угроза Никола.

— Хорошо, только оставьте меня в покое, — ответила девочка. — Но уж теперь я не выйду из дома без ножиц.

— Смотри помалкивай, а не то я брошу тебя в Авону, — пригрозила ей свирепая Катрин.

— Вы изверги, — кричал аббат, — вас надо бы тут же арестовать и отдать под суд...

— Вот как! А вы чем занимаетесь у себя в гостиных? — спросил Никола, бросив на графиню и Блонде взгляд, от которого оба они содрогнулись. — Небось балуетесь? Ну, а наш дом — лес и поле, не все же время нам работать, мы тоже баловались!.. Спросите у сестры и Пешины.

— Что же у вас называется дракой, если это баловство? — воскликнул Блонде.

Никола поглядел на него с такой злобой, как будто готов был убить его.

— Ну, чего же ты молчишь? — сказала Катрин, беря Пешину за руку выше локтя и сжимая ее до синяков. — Правда ведь, мы баловались?..

— Да, сударыня, мы баловались, — пролепетала девочка, ослабев после выдержанной борьбы и вся поникнув, как в обмороке.

— Слышали, сударыня? — нагло спросила Катрин, кинув на графиню один из тех взглядов, которыми иногда обмениваются женщины и которые стоят удара кинжала.

Она взяла под руку брата и пошла с ним прочь, отлично понимая, какое впечатление они произвели на трех свидетелей этой сцены. Никола два раза обернулся и оба раза встретил взгляд Блонде, смерившего с головы до ног этого долговязого парня, пяти футов девяти дюймов ростом, краснощекого, курчавого, широкоплечего брюнета, с довольно приятным лицом, хотя в очертаниях его губ и в складках вокруг рта сквозила жестокость, свойственная сладострастникам и лентяям. Катрин с какой-то развратной кокетливостью покачивала бедрами, отчего при каждом шаге колыхалась ее белая в синюю полоску юбка.

— Каин и его жена! — кивнул на них Блонде, обращаясь к аббату.

— Вы не представляете себе, до чего верно вы их определили, — отозвался аббат Бросет.

— Ах, господин кюре, что они со мной теперь сделают? — проговорила Пешина, когда брат и сестра отошли на такое расстояние, что не могли их услышать.

Графиня побелела как полотно, она так перепугалась, что не слышала ни Блонде, ни кюре, ни Пешину.

— От таких дел убежишь даже из земного рая! — промолвила она наконец. — Но прежде всего надо спасти из их лап девочку.

— Вы были правы: эта девочка — поэма, живая поэма! — прошептал графине Блонде.

Черногорка в эти минуты переживала то состояние, когда в душе и теле как бы еще дымится пожарище, зажженное гневом, который потребовал напряжения всех духовных и физических сил. Глаза ее излучали несказанное, все затмевающее сияние, которое вспыхивает только под влиянием фанатического чувства, в пылу сопротивления или победы, любви или мученичества. Пешина вышла из дома в коричневом платье в желтую полосочку с плиссированным воротничком, который она обычно сама гладила, вставши пораньше утром, и теперь она еще не успела заметить, что у нее платье перепачкано землей, а воротничок помят. Почувствовав, что у нее распустились волосы, она стала искать упавший гребень. И в эту первую минуту ее смущения появился Мишо, тоже привлеченный криками. При виде своего кумира Пешина снова обрела всю свою энергию.

— Он до меня даже на дотронулся, господин Мишо! — воскликнула она.

Этот возглас, а также красноречиво разъяснявшие его взгляд и движение в одно мгновение открыли Блонде и аббату больше, чем рассказала Олимпия графине о страсти этой странной девочки к ничему не подозревавшему Мишо.

— Мерзавец! — воскликнул Мишо.

Невольно он поднял руку и в бессильном гневе, который может прорваться как у сумасшедшего, так и у вполне разумного человека, погрозил кулаком Никола, чья рослая фигура еще маячила среди деревьев.

— Вы, стало быть, не баловались? — спросил аббат Бросет, пристально вглядываясь в Пешину.

— Не мучьте ее, — сказала графиня, — идемте домой.

Пешина, хотя и совсем разбитая, почерпнула силы в своей страстной любви, ведь ее обожаемый повелитель смотрел на нее! Графиня шла следом за Мишо по одной из тропинок, известных только браконьерам и лесникам, слишком узкой для двух, но зато выводившей прямо к Авонским воротам.

— Мишо, — сказала графиня, когда они углубились в лес, — надо найти какой-нибудь способ удалить отсюда этого негодяя, он может убить девочку.

— Во-первых, — ответил Мишо, — Женестьева не будет выходить из флигеля; жена возьмет к себе племянника Вателя, который сейчас убирает аллеи в парке, а его мы заменим каким-нибудь земляком жены, потому что в Эги можно брать на службу только надежных людей. Если у нас будет Гуно и муж кормилицы Олимпии, старик Корнвен, они и за коровами присмотрят, и Пешина не выйдет из дома без провожатого.

— Я скажу мужу, чтобы он возместил вам лишний расход, — промолвила графиня, — но это не спасет нас от Никола. Как нам избавиться от него?

— Способ, и самый простой, уже найден, — ответил Мишо. — Никола должен на днях призываться; вместо того чтобы хлопотать об его освобождении, генералу, на протекцию которого рассчитывают Тонсары, надо только пожаловаться на него в префектуру.

— Если понадобится, — сказала графиня, — я сама поеду к своему кузену де Катерану, здешнему префекту, но я не буду спокойна, пока...

Эти слова были сказаны уже в конце тропинки, выходившей на круглую площадку. Дойдя до края рва, графиня вдруг вскрикнула. Думая, что она ушиблась, наткнувшись на корень, Мишо подбежал, чтобы поддержать ее, но зрелище, представившееся его глазам, заставило Мишо содрогнуться. На скате рва сидели Мари Тонсар и Бонебо и, казалось, оживленно беседовали, на самом же деле они притаились здесь, чтобы подслушивать. Они, вероятно, вышли из лесу, слышав шаги и узнав голоса господ.

Бонебо, рослый сухопарый детина, прослуживший шесть лет в кавалерии, уже несколько месяцев как вернулся в Куш, уволенный вчистую за дурное поведение: пример его мог испортить даже образцовых солдат. Он носил усы и «запятую» под нижней губой, и эта особенность в сочетании с выправкой, приобретаемой на военной службе, привлекала к нему всех местных девушек. Он по-военному коротко подстригал волосы на затылке, завивал хохол, кокетливо зачесывал виски и залихватски сдвигал набекрень свою солдатскую шапку. Словом, по сравнению с крестьянами, которые почти все ходили в лохмотьях, вроде Муша и Фуршона, он казался одетым великолепно и восхищал всех своими нанковыми штанами, высокими сапогами и кургузой курточкой.

Все эти вещи, сильно поношенные и поистрепавшиеся во время походной жизни, были куплены им уже после увольнения со службы, но для праздничных дней у авонского льва был другой костюм, гораздо лучше. Бонебо жил, скажем прямо, щедротами своих приятельниц, однако того, что они давали, едва хватало ему на развлечения, ибо он был постоянным гостем в «Кофейне мира».

Круглое, плоское его лицо с первого взгляда было довольно привлекательным, но в облике этого бездельника чувствовалось что-то зловещее. Он был косоглаз, то есть один глаз у него как бы отставал от другого; косить он, собственно, не косил, но, как говорят художники, оба его глаза «не всегда глядели в одну точку». От такого, правда незначительного, недостатка во взгляде его было что-то неопределенное, тревожащее, а в соединении с морщинами на лбу, с подергиванием бровей это наводило на мысль, что он человек подлой души и низменных вкусов.

Подлость, равно как и мужество, бывает разная. В сражении Бонебо не уступил бы самому храброму солдату, но против своих пороков и прихотей он был бессилён. От этого, как выразились бы на казарменном жаргоне, «мастака по разбиванию тарелок и сердец», ленивого, как ящерица, ретивого только по части удовольствий, грубого, заносчивого и подлого, можно было, не смотря на его вялость, ждать чего угодно, ибо ему было приятно учинить какую-нибудь каверзу, кому-нибудь напакостить. В деревенской глуши подобный человек столь же дурной пример, как и в полку. Бонебо, так же как Тонсару и Фуршону, хотелось хорошо жить, ничего не делая. Поэтому он, заимствуя словечко из лексикона Вермишеля и Фуршона, «состряпал» себе план. С возрастающим успехом пользуясь своей «обворожительной» внешностью и, с переменной удачей, своими талантами в игре на бильярде, этот завсегдатай «Кофейни мира» мечтал жениться на Аглае Сокар, единственной дочери дядюшки Сокара, хозяина питейного заведения, которое, учитывая, конечно, все различия, было в Суланже тем же, чем «Ранелаг» в Булонском лесу.

Стать содержателем кофейни или танцевального зала казалось такому бездельнику пределом счастья. Привычки, уклад жизни и характер Бонебо, кутилы самого низкого пошиба, с такой отталкивающей выразительностью запечатлелись на его лице, что графиня невольно вскрикнула при виде этой парочки, словно она увидела двух гадюк.

Мари, безумно влюбленная в Бонебо, для него пошла бы на воровство. Усы, дешевая развязность, фатоватый вид этого парня пленяли ее, точно так же как походка, осанка и манеры какого-нибудь де Марсе пленяют хорошенькую парижанку. У каждого социального слоя свои вкусы. Ревнивая Мари отвергала другого провинциального фата — Амори; ее прельщала перспектива стать женой Бонебо!

— О-го-го! Эй, вы там! О-го-го! Идите сюда! — еще издали стали кричать Катрин и Никола, заметив Мари и Бонебо.

Зычный крик их пронесся по лесу, словно призыв дикаря.

Увидя эту парочку, Мишо вздрогнул; теперь он сильно раскаивался, что высказал вслух свои соображения. Его разговор с графиней, если только он дошел до слуха Бонебо и Мари Тонсар, мог быть чреват неприятностями. С виду пустячное обстоятельство при той вражде, которая разделяла эгских помещиков и крестьян, могло сыграть решающую роль, как это бывает в сражении, где ручеек, через который легко перепрыгнет пастух, подчас останавливает артиллерию и решает исход сражения.

Отвесив галантный поклон графине, Бонебо с видом победителя взял под руку Мари и торжественно удалился.

— Это здешний сердцеед!.. — шепотом сказал графине Мишо, пользуясь солдатским обозначением донжуана. — Преопасный человек. Стоит ему только проиграть двадцать франков на бильярде, и его легко можно уговорить убить и ограбить самого Ригу!.. Он так падок на удовольствия, что ради них пойдет на любое преступление.

— На сегодня с меня более чем довольно, — промолвила графиня, беря под руку Эмиля Блонде. — Идемте домой, господа.

Увидев, что Пешина вошла в дом, она грустно кивнула г-же Мишо. Печаль, томившая Олимпию, овладела и ею.

— Сударыня, неужели же трудности, препятствующие здесь благим начинаниям, отвратят вас от помощи беднякам? — воскликнул аббат Бросет. — Вот уже пять лет, как я сплю на жесткой

постели, живу в доме почти без мебели, служу обедню в пустой церкви, говорю проповеди стенам, священнослужительствую в маленьком приходе, не имея побочных доходов и прибавок к шести-стам франкам жалованья, положенного государством, ничего не прошу у его преосвященства и трачу треть своих скудных средств на благотворительность. И все-таки я не впадаю в отчаянье!.. Если бы вы знали, как мне живется здесь зимой, вы поняли бы все значение этого слова! Одна мысль согревает меня: спасти нашу долину, завоевать ее снова для бога! Дело не в нас, сударыня, а в будущем! Если мы поставлены для того, чтобы говорить бедным: «Умейте быть бедными», то есть: «Терпите, смиряйтесь и работайте», то богатым мы должны сказать: «Умейте быть богатыми, то есть творите добрые дела с разумением, будьте благочестивы и достойны места, определенного вам богом!» Поймите, сударыня, вы только хранители власти, даруемой богатством, и если вы пренебрежете обязанностями, которые налагает богатство, вы не передадите его своим детям таким, как получили сами! Вы грабите свое потомство. Если вы пойдете по стопам эгоистки-певицы, беспечностью своей положившей начало тому злу, размеры которого теперь приводят вас в ужас, вы снова увидите эшафоты, на которых погибли ваши предшественники за прегрешения своих отцов. Тайно творить добро в глухом уголке земли, где такие люди, как Ригу, тайно творят зло, — вот она, действенная молитва, угодная богу!.. Если бы в каждой общине нашлось три человека, возлюбивших добро, Франция, наша прекрасная родина, была бы спасена от той бездны, куда мы катимся, куда нас толкает равнодушие к религии, безразличие ко всему, что нас непосредственно не касается!.. Прежде всего изменитесь сами, измените свои нравы, и тогда вы измените свои законы.

Глубоко растроганная этим порывом истинно христианской любви к ближнему, графиня все же ответила роковым словом: «Посмотрим!» — обычный многообещающий ответ богачей, который избавляет их от необходимости тут же раскрыть кошелек, а в дальнейшем дает возможность сложа руки смотреть на несчастье, ссылаясь на то, что оно уже совершилось.

Услышав это слово, аббат Бросет поклонился г-же де Монкорне и пошел по аллее, ведущей прямо к Бланжийским воротам.

«Значит, пир Валтасара так и останется вечным символом последних дней всякой господствующей касты, всякой олигархии, всякой власти! — воскликнул он мысленно, отойдя шагов на десять. — Господи! Если тебе в твоей святой воле угодно, чтобы бедняки хлынули, как безудержный поток, и преобразовали человеческое общество, тогда мне понятно, почему ты поразил слепотою богатых».

ХП

КАБАК — ТОТ ЖЕ НАРОДНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Трактир «Большое-У-поение» находился на полпути между Бланжийскими воротами и деревней Бланжи, и потому неистовые вопли старухи Тонсар привлекли несколько любопытных деревенских жителей, пожелавших узнать, что стряслось в заведении Тонсара. В числе этих любопытных был и старик Низрон, дедушка Пешины, который, отзвонив ко второй молитве богородице, шел к себе в виноградник, чтобы окопать несколько лоз на последнем уцелевшем у него клочке земли.

Согбенный трудами, убеленный сединами старик виноградарь, с бескровным лицом, единственно честный человек в общине, был во время революции председателем Якобинского клуба в Виль-о-Фэ и присяжным революционного трибунала. Жан-Франсуа Низрон, человек того же склада, что и апостолы, некогда в точности походил на св. Петра, каким его изображают художники, неизменно наделяя его широким лбом крестьянина, густыми, от природы вьющимися волосами рабочего, мускулатурой пролетария, загаром рыбака, крупным носом, насмешливой улыбкой, как будто подтрунивающей над всеми невзгодами, телосложением крепыша, который рубит в соседнем лесу хворост для обеда, покамест вероучители заняты разглагольствованием.

Таков был в сорок лет этот прекрасный человек, твердый, как сталь, и чистый, как золото, этот поборник прав народа. Он уверовал в Республику, когда прогремело это слово, быть может, более грозное, чем воплощаемая им идея. Он уверовал в республику Жан-Жака Руссо, в братство

людей, во всеобщие прекрасные чувства, в признание заслуг, в человеческое беспристрастие — словом, во все, что осуществимо в скромных пределах небольшого округа вроде Спарты, а в большой империи становится химерой. Он скрепил эти идеи собственной кровью, он послал на защиту родины своего единственного сына; больше того, скрепил величайшей жертвой, доступной человеческому эгоизму: он принес им в жертву материальные интересы. Этот могущественный в деревне народный трибун был племянником и единственным наследником бланжийского кюре и мог отобрать у служанки покойного, красавицы Арсены, полученное ею наследство, но он уважал волю завещателя и примирился с нищетой, пришедшей к нему так же быстро, как быстро пала его Республика.

Никогда ни одна чужая копейка, ни один чужой пруттик не попадали в руки этого неподкупного республиканца. Республика была бы приемлемой, если бы руководствовалась его принципами. Он отказался от покупки национального имущества, он не признавал за Республикой права на конфискацию. В соответствии с требованиями Комитета общественного спасения он ждал, что добродетель подвигнет граждан на чудеса доблести во имя священной родины, тогда как дельцы, примазавшиеся к власти, расценивали свои действия на золото. Этот античный муж всенародно обличал Гобертена-отца в тайном предательстве, попустительствах и хищениях. Он неоднократно распекал и добродетельного Мушона, народного представителя, вся добродетель которого объяснялась его полной бездарностью, как и у многих его соратников, которые располагали такими политическими возможностями, какие вряд ли когда предоставлялись нацией своим избранникам, и все же, опираясь на силу целого народа, они не сумели так возвеличить Францию, как возвеличил ее Ришелье, при всей слабости короля. И гражданин Низрон стал живым укором для очень многих. Беднягу погребли под лавиною забвенья, сопроводив эти похороны жестокими словами: «Он ничем не доволен!» — словами тех, кто нажился в мятежное время.

Этот новоявленный «крестьянин с Дуная»³⁹ вернулся в Бланжи под родной кров. Он видел, как одна за другой рушились его надежды, он видел, как дорогая его сердцу Республика кончила свои дни в арьергарде императора; и сам он впал в полную нищету на глазах у лицемерного Ригу, искусно сумевшего довести его до этого. И знаете почему? Потому что Жан-Франсуа Низрон наотрез отказался принять что-нибудь от Ригу. Эти неоднократные отказы дали понять человеку, завладевшему наследством кюре Низрона, как глубоко его презирает племянник покойного. Холодное презрение Низрона достигло предела, когда над его внучкой нависла та страшная угроза, про которую аббат Бросет рассказал графине.

Старик создал себе свою собственную историю двенадцати лет французской революции — историю, полную великих деяний, которые обессмертят эту героическую эпоху. Бесчестных поступков, убийств, грабежей — ничего этого для него не существовало; он восторгался подвигами самопожертвования, матросами «Мстителя»⁴⁰, приношениями на алтарь отечества, патриотическим порывом пограничного населения и продолжал жить своими грезами, убаюкивая ими себя самого.

У революции было много поэтов, похожих на старика Низрона: и тайно, и явно, на внутреннем государственном поприще и на полях сражения, слагали они свои поэмы, претворяя их в подвиги, погребенные затем волнами революционной бури, их героизм не уступал героизму времен Империи, когда раненые, забытые на поле брани, умирая, кричали: «Да здравствует император!» Подобное величие духа свойственно Франции. Аббат Бросет уважал безобидные убеждения Низрона, а старик в простоте душевной привязался к кюре за одну сказанную им фразу: «Истинная Республика — в Евангелии». И старый республиканец носил крест, облачался в полукрасное, поллучерное одеяние, с достоинством, серьезно держал себя в церкви и кое-как существовал, выполняя тройные обязанности, возложенные на него аббатом Бросетом, который хотел если не обеспечить старика, то хотя бы не дать ему умереть с голоду.

39 «Крестьянин с Дуная» — басня Лафонтена, герой которой, исполненный мужества и преданности своему народу, обличает насилия, творимые римскими чиновниками над германскими племенами.

40 «Мститель» — французский военный корабль, потопленный английским флотом в Ла-Манше в 1794 г. Экипаж корабля предпочел погибнуть, но не сдаться неприятелю.

Старый бланжийский Аристид, подобно многим благородным жертвам самообмана, облекающимся в мантию покорности судьбе, не был многоречив; однако он никогда не упускал случая обличить зло, и крестьяне побаивались его, как воры боятся полиции. Он не бывал и шести раз за год в «Большом-У-поении», хотя его там всегда принимали с почетом. Старик проклинал богатых за то, что они недостаточно милосердны, их эгоизм возмущал его, и это чувство, казалось, крепко связывало его с крестьянами. Недаром о нем говорили: «Дядя Низрон не любит богатых, он — наш». Вся долина говорила: «Нет человека честнее дяди Низрона!» Это был почетный гражданский венок, который он заслужил своей безупречной жизнью. Его часто выбирали непревзойденным третейским судьей в разных спорных делах, в нем нашел свое воплощение чудесный образ «деревенского старейшины».

Этот исключительно опрятный, хоть и бедно одетый старик всегда носил штаны до колен, толстые шерстяные чулки и башмаки, подбитые железными подковками, кафтан так называемого французского покроя, с большими пуговицами, еще сохранившийся у некоторых старых крестьян, и широкополую шляпу; но в будничные дни он ходил в синей куртке, до того испещренной заплатами, что она больше походила на ковер. Гордость человека, знающего, что он свободен и достоин этой свободы, придавала его лицу и походке какое-то особое благородство; словом, он носил не лохмотья, а платье.

— Ну, что у вас тут стряслось, бабушка? Вас было с колокольни слышно, — спросил он.

Старику рассказали о случае с Вателем, причем, как это водится в деревне, кричали все сразу.

— Если вы не рубили дерева, — промолвил старик Низрон, — Ватель не прав; а если срубили, то совершили два дурных поступка.

— Выпейте-ка стаканчик вина, — сказал Тонсар, подавая старику полный стакан.

— Ну, что ж, отправились? — спросил Вермишель судебного пристава.

— Да. Обойдемся без дяди Фуршона, прихватим кушского помощника мэра, — ответил Брюне. — Ступай вперед, а мне еще надо отнести в замок один документик: дядя Ригу выиграл и второй процесс, я должен передать судебное постановление.

И г-н Брюне, подкрепившись двумя рюмками водки, сел на свою кобылу, не забыв перед уходом проститься с дядюшкой Низроном, ибо все в долине дорожило уважением старика.

Никакая наука, даже статистика, не может объяснить ту сверхтелеграфную скорость, с которой распространяются новости в деревне, и способ, которым они преодолевают глухие пространства вроде степей, еще существующие во Франции к стыду наших администраторов и капиталистов. Современная история знает, как самый знаменитый из всех банкиров, загнав лошадей на пути между Ватерлоо и Парижем (всем известно, для чего он мчался: он приобрел все, что потерял император, — владычество!), лишь на несколько часов опередил роковую весть. Итак, не прошло и часа после столкновения старухи Тонсар с Вателем, а в «Большом-У-поении» уже собралось несколько завсегдатаев.

Первым пришел Курткюис, но вы с трудом узнали бы прежнего веселого лесника и краснощекого бездельника, которому жена варила по утрам кофе, как о том рассказывалось выше, при изложении предыдущих событий. Он постарел, похудел, осунулся и мог служить для всех страшным, но ни для кого не поучительным примером.

— А что ж, он хотел прыгнуть выше головы, — говорили тем, кто жалел бывшего сторожа и обвинял Ригу. — Задумал сделаться помещиком!

Покупая владение Башельри, Курткюис в самом деле мечтал зажить помещиком, чем не раз похвалялся. А теперь жена его собирала на дорогах навоз! И она, и Курткюис вставали ни свет ни заря, вскапывали свой хорошо унавоженный огород, снимали с него по несколько урожаев, и все-таки денег хватало только на уплату процентов г-ну Ригу по оставшемуся за землю долгу. Дочь их, жившая в прислугах в Оссэре, отдавала родителям свое жалованье, но, несмотря на эту поддержку, у них после очередного платежа не оставалось ни гроша. Жена Курткюиса, прежде баловавшаяся время от времени бутылочкой «горячительного» с гренками, теперь пила только воду. Курткюис не смел заглянуть в «Большое-У-поение» из боязни потратить там три су. Лишившись прежней власти, он лишился и дарового угощения в трактире и, как все глупые люди, вопил о не-

благодарности. Наконец, подобно большинству крестьян, одолеваемых бесом собственности, он работал все более рьяно, а ел все менее сытно.

— Ишь ты, сколько заборов понастроил Курткуис, — говорили завистники. — Прежде чем огороды городить, надо было стать полным хозяином.

Старик разделал и удобрил три арпана земли, купленные у Ригу; сад, примыкавший к дому, уже начинал приносить плоды, и Курткуис боялся его лишиться. Прежде он носил кожаные башмаки и охотничьи гетры, а теперь ходил на манер Фуршона в деревянных башмаках и обвинял эгских помещиков в постигшей его нищете. От забот помрачнело и стало тупым когда-то веселое лицо этого низенького толстяка, теперь похожего на человека, угасающего от хронического недуга или от действия яда.

— Что с вами, господин Курткуис? Язык вам отрезали, что ли? — спросил Тонсар, не дождавшись ни слова от старика в ответ на рассказ о недавней стычке.

— А жалко, если отрезали, — сказала Тонсарша. — Но ему не приходится плакаться на повитуху, подрезавшую ему язычок: ловко она это проделала.

— Поневоле присохнет язык, когда только и думаешь, как бы разделаться с господином Ригу, — печально ответил ей сильно «состарившийся старик».

— Да чего там, — сказала бабка Тонсар, — у вас семнадцатилетняя дочка-красавица, и, если она будет умницей, вы легко поладите с этим старым бабником.

— Вот уж два года, как мы отправили ее от греха в Оссэр к матери господина Мариота, — сказал Курткуис — Лучше с голоду околею, а...

— Ну и дурень же! — возмутился Тонсар. — Взгляни-ка на моих дочерей, померли они, что ли? А ежели кто посмеет сказать, что они не святее святых, то познакомится с моим ружьем.

— Тяжко дойти до этого! — сказал Курткуис, покачав головой. — Лучше уж заплатили бы мне за то, что я подстрелю какого-нибудь арминака!..

— Много лучше спасти своего отца, чем трястись над своей добродетелью! — возразил трактирщик.

Тут дядя Низрон легонько ударил Тонсара по плечу.

— Нехорошо это ты говоришь! — промолвил старик. — Отец — хранитель чести своей семьи. Вот через такое ваше поведение нас и презирают; через вас и винят народ, говорят, что он не заслуживает свободы! Народ должен быть для богатых примером гражданской доблести и чести... А вы все до одного продаетесь Ригу за его золото. Вы для него поступаете если не дочерьми, так своей добродетелью! Это скверно!

— Взгляните-ка, до чего дошел Коротыш! — сказал Тонсар.

— Взгляни-ка, до чего дошел я! — ответил дед Низрон. — А сплю я спокойно, и совесть мою ничто не тревожит.

— Пусть его говорит, — громко прошептала на ухо мужу Тонсарша. — Ты же знаешь, бедный старикашка на этом помешан.

В эту минуту вошли Бонебо, Мари и Катрин с братом.

Они уже были раздражены неудачей, постигшей Никола, а подслушав Мишо и узнав его замыслы, совсем озлобились. И сейчас, войдя в трактир, Никола пустил крепкое ругательство по адресу супругов Мишо и обитателей замка.

— Вот уже и жатва! Ну, да я отсюда не уберусь, не прикурив своей трубки о горящие их скирды! — воскликнул он, ударив кулаком по столу, к которому присел.

— Нечего тявкать на людях, — сказал ему Годэн, указывая на деда Низрона.

— Пусть только вздумает болтать, я сверну ему шею, как цыпленку, — ответила Катрин. — Отжил свой век этот крикун на старый лад! Говорят — добродетельный! Просто он рыба, вот и все!

Поистине странное и любопытное зрелище представляли эти люди, когда, сдвинув головы, они совещались в жалкой лачуге, меж тем как у дверей, чтобы обеспечить тайну разговора, стояла на часах бабка Тонсар.

Из всех лиц — лицо поклонника Катрин, Годэна, было, пожалуй, самым страшным, хотя оно менее других бросалось в глаза. Годэн был скуп и беден, а что может быть страшнее скупого бед-

няка! Разве тот, кто сидит на своем золоте, не уступает в свирепости тому, кто гоняется за золотом? Один замкнулся, ушел в себя; другой отпугивает всех своим жадно высматривающим взглядом. По наружности своей Годэн принадлежал к самому распространенному крестьянскому типу: неказистый (он даже был освобожден от солдатчины, так как не вышел ростом), худой от природы, еще более исхудавший от тяжелой работы и нелепого урезывания себя в еде, от которого гибнут в деревнях работяги вроде Курткюиса; лицо с кулачок, в желтоватых глазах с зелеными прожилками и коричневыми крапинками — жажда наживы, — наживы во что бы то ни стало, — похожая на вождение, лишенная страсти, ибо когда-то клекотавшая в нем алчность теперь застыла, как лава. Темная, как у мумии, кожа прилипла к вискам. Жесткая щетина жиденькой бороденки пробивалась сквозь морщинистую кожу, будто жниво на пашне. Годэн никогда не потел, все соки его рассасывались в организме. Волосатые кривые, жилистые и неутомимые руки казались вырезанными из старого дерева. Хотя ему только что исполнилось двадцать семь лет, в его черных с медным отливом волосах уже пробивалась седина. Он ходил в блузе, в раскрытый ворот которой виднелась заношенная до черноты холщовая рубашка; вероятно, он не менял белья месяцами и сам стирал его в Туне. Деревянные башмаки были залатаны кусками жести; сказать же, из чего сшиты штаны, не представлялось возможным, — столько на них пестрело подштопок и заплат. На голове он носил ужасающую фуражку, должно быть, подобранную в Виль-о-Фэ где-нибудь на задворках. Он был не глуп и, понимая, что Катрин — это возможность разбогатеть, мечтал сделаться преемником Тонсара по «Большому-У-поению»; поэтому он пустил в ход всю свою хитрость, все свои силы, чтобы полонить Катрин, он сулил ей богатство и такую же неограниченную свободу, какою пользовалась ее мать; он сулил, наконец, своему будущему тестю огромный доход с его трактира — пятьсот франков ежегодно, впредь до окончательной уплаты долга, который рассчитывал погасить векселями, так как на этот счет у него был особый разговор с г-ном Брюне. Обычно он работал подмастерьем в кузнице, но когда у каретника бывало много работы, шел к нему, вообще же нанимался на тяжелую, но хорошо оплачиваемую поденщину. Хотя у него было около тысячи восьмисот франков, помещенных у Гобертена, о чем не подозревал никто в округе, он жил как нищий, снимал чулан у своего хозяина и собирал опавшие колосья, когда наступала пора жатвы. В поясе его праздничных штанов была зашита расписка Гобертена, переписывавшаяся каждый год на бóльшую сумму благодаря процентам и новым сбережениям.

— Ну и наплевать мне на это! — воскликнул Никола в ответ на благоразумное предупреждение Годэна. — Коли мне судьба идти в солдаты, пусть уж лучше моя кровь сразу прольется в корзину палача, чем точить ее капля по капле... Зато избавлю наш край от арминака, которого сам черт на нас напустил...

И он рассказал о заговоре, якобы замышленном против него Мишо.

— Где же, по-твоему, Франции брать солдат?.. — проникновенным голосом спросил среди глубокого молчания, последовавшего за этой страшной угрозой, седовласый старик Низрон, поднимаясь с места и становясь перед Никола.

— Отслужишь свой срок и вернешься, — сказал Бонебо, покручивая усы.

Видя, что здесь собрались все местные негодяи, старик Низрон покачал головой и вышел из трактира, уплатив хозяйке лиар за выпитый стакан вина. По уходе старика все собутыльники вздохнули с облегчением: они рады были отделаться от этого живого укора собственной совести.

— Ну, что же ты скажешь насчет всего этого? Эй, Коротыш? — спросил только что появившийся Водуайе, которому Тонсар успел рассказать о случае с Вателем.

Курткюис, ходивший почти у всех под этим прозвищем, причмокнул языком и поставил пустой стакан на стол.

— Ватель дал маху, — ответил он. — Будь я на месте мамыши, я бы наставил себе синяков, лег в постель, сказался больным и подал бы в суд на Обойщика и на сторожа, требовал бы с них двадцать экю на лечение. Господин Саркюс присудит...

— Во всяком случае, Обойщик заплатил бы, чтобы лишнего не болтали, — заметил Годэн.

Бывший стражник Водуайе, человек ростом в пять футов шесть дюймов, с лицом, изрытым оспой, вдавленным ртом и выдающейся нижней челюстью, помалкивал с видом сомнения.

— Ну, чего ты, дурак, беспокоишься? — сказал Тонсар, прельщенный шестьюдесятью

франками. — Мамашу на двадцать экю изувечили, так нечего зевать! Мы шуму подыдем на триста франков, а господин Гурдон заявит там, в Эгах, что у мамыши вывихнуто бедро.

— Можно и взаправду его вывихнуть, — заметила трактирщица, — в Париже это делают.

— Ну, я слишком наслышан о чиновниках и не поверю, что все пойдет как по маслу, — промолвил наконец Водуайе, которому приходилось помогать и в суде, и бывшему жандарму Судри. — Пока речь идет о Суланже, еще куда ни шло; господин Судри здесь представитель власти, а он Обойщика ух как не любит. Но Обойщик и Ватель, если вы на них нападете, станут огрызаться, скажут: «Виновата старуха, дерево у нее было: не то она развязала бы свою вязанку еще на дороге, а не пустилась бы наутек; если с ней приключилось несчастье, пусть пеняет на самое себя — не воруи». Нет, это дело неверное!

— А разве отказался Обойщик, когда я на него подал? — сказал Курткюис. — Он мне все заплатил.

— Хотите, я схожу в Суланж, — предложил Бонебо, — и посоветуюсь с секретарем суда господином Гурдоном. Вы сегодня же вечером узнаете, можно ли будет здесь чем поживиться.

— Тебе бы только придумать предлог, рад повертеться вокруг толстозадой сокаровой дочки, — сказала Мари Тонсар, так основательно хлопнув Бонебо по плечу, что у того загудело в груди.

В это время с улицы донеслась бургундская застольная песенка:

В жизни он на миг один
Счастлив был без меры.
Как сменил воды графин
На бутыл мадеры!⁴¹

Все тотчас же признали голос дяди Фуршона, которому песенка, несомненно, пришлась по вкусу; а Муш подпевал ему дискантом.

— Ну здорово же они нализались! — крикнула старуха Тонсар своей невестке. — Твой отец так жаром и пышет, а мальчонку, как ветку, из стороны в сторону шатает.

— Наше вам почтение! — крикнул старик. — Много вас тут нищей братии набралось!.. Наше вам! — сказал он внучке, застав ее в тот момент, когда она целовалась с Бонебо. — Наше вам, всепорочная Мария, сатана с тобой, проклята ты в женах, и так далее. Наше почтение всей честной компании! Попались! Плакали ваши снопы! Имею великие новости. Говорил я вам, что Обойщик вас приструнит! Ну, вот он вас и постегает законом!.. Узнаете, как бороться с господами! Господа столько всяких законов понаписали, что теперь хоть кого под них подведут.

Почтенный оратор вдруг громко икнул, и мысли его приняли новое направление.

— Если бы Вермишель был здесь, ядохнул бы ему прямо в рожу, — пусть знает, что такое аликантское вино! Ну и вино! Не будь я бургундцем, право, хотел бы я быть испанцем! Сам господь бог такое вино пьет. Уж наверно, папа это самое вино за обедней потребляет! Ну и винище! Да я молодым стал!.. Слушай, Коротыш, кабы твоя жена была здесь... я бы забыл, что она старовата! Куда там нашему «горячительному» до испанского!.. Надо опять революцию сделать хоть ради того, чтобы очистить господские погреба!

— Какая же новость, папаша? — спросил Тонсар.

— Жатва теперь не про вашу честь, вот что! Обойщик запретит собирать колосья.

— Запретит собирать колосья?.. — в один голос крикнули все, кто был в трактире, причем четыре женщины взвизгнули особенно громко.

— Да, — подтвердил Муш, — он напишет постановление, велит Груазону напечатать и расклеить по кантону. Кто получит свидетельство о бедности, только тому и разрешат собирать колосья.

— И вот что еще себе на ус намотайте, — прибавил Фуршон, — из других общин ни одного хапальщика не пустят!

— Еще что! Еще что! — воскликнул Бонебо. — Выходит, что ни моей бабке, ни мне, ни тво-

41 Перевод стихов в тексте романа сделан А. М. Арго.

ей матери, Годэн, нельзя собирать здесь колосья? Вот так штучки придумали! Ишь ведь что, я им поперек горла стал!.. Черт он, а не мэр, генерал этот!

— Ну, а ты, Годен, как? Будешь все-таки собирать колосья? — спросил Тонсар у подручного каретника, чересчур нежно разговаривавшего с Катрин.

— У меня ничего нет, я бедняк, — ответил Годэн. — Я возьму свидетельство...

— Что дали отцу за выдру, сыночек? — допрашивала тем временем Муша дебелая трактирщица.

Хотя Муш, сидевший на коленях у Тонсарши, и осоловел от количества съеденного, хотя взгляды его и туманились от двух выпитых бутылок вина, все же хитрец прижался к плечу тетки и прошептал ей на ухо:

— Не знаю, а только золото у него есть... Если вы пообещаете целый месяц кормить меня до отвала, я, может быть, и разыщу его тайничок, есть у него одно такое местечко.

— У отца есть золото!.. — шепнула Тонсарша мужу, голос которого выделялся среди общего шума и криков увлеченных горячим спором бражников.

— Тсс! Грузон идет! — крикнула старуха.

В трактире сразу воцарилась глубокая тишина. Когда проходивший мимо трактира Грузон отошел достаточно далеко, старуха Тонсар махнула рукой, и опять разгорелся спор, собирать ли, как прежде, колосья без всяких свидетельств о бедности или нет.

— Хочешь не хочешь, а придется вам подчиниться, — сказал дядя Фуршон, — потому как Обойщик отправился к префекту просить у него солдат для поддержания порядка. Вас перебьют, как собак... Да мы и есть собаки!.. — крикнул старик, пытаясь совладать с языком, неповоротливым от выпитого испанского вина.

Как ни нелепо было это второе заявление Фуршона, все же все собутыльники призадумались: они боялись, как бы правительство и в самом деле не учинило безжалостной расправы.

— Такие же вот беспорядки были недалеко от Тулузы, где стоял наш полк, — сказал Бонебо. — Нас двинули вперед: одних крестьян порубили, других арестовали... Ну и смех же был, как они пробовали против войска идти! Десятерых присудили к каторге, одиннадцать пошло в тюрьму. Живехонько с ними расправились, чего там!.. Солдат солдатом и останется, а вы штафирки, вас можно изрубить, и делу конец!

— Ну чего вы все всполошились, словно стадо козлят? — сказал Тонсар. — Что отнимешь у мамаш или вот у моих дочерей? Посадят в острог?.. Что же, посидим и в остроге! Всей округи Обойщику в тюрьму не засадить. К слову сказать, арестанты куда лучше кормятся на казенный счет, чем у себя дома, да и в тепле зимой сидят.

— Эх вы, дураlei, — промычал дядюшка Фуршон. — Лучше понемножку обсасывать Обойщика, чем прямо нападать на него, верно говорю! Все равно вас всех замотают. Коли каторга вам мила, тогда дело иное! Там, правда, поменьше работы, чем на поле, зато — неволя.

— А может, лучше, — выступил Водуайе, оказавшийся одним из самых рьяных советчиков, — чтобы кто-нибудь из нас не пожалел своей шкуры и избавил весь край от лютого зверя, что засел в берлоге у Авонских ворот...

— Прикончить Мишо?.. — сказал Никола. — На это я пойду.

— Мало толку, — промолвил Фуршон. — Это нам, детки мои, слишком дорого обойдется. Лучше всего прибедниться, нашу нужду напоказ выставить: эгские господа захотят нам помочь, и вы на этом больше наживете, чем на сборе колосьев.

— Эх вы, мямли! — воскликнул Тонсар. — Ну, ладно, дойдет до суда, поцапаемся с войсками, не сошлют же целый край на каторгу, в Виль-о-Фэ да и среди прежних господ есть кому за нас заступиться.

— Это так, — сказал Курткюис. — Ведь только один Обойщик жалуется на нас, а господа де Суланж, де Ронкероль и другие нами довольны! Эх, будь этот кирасир похрабрее, его бы убили в сражении вместе с остальными, и я бы теперь жил припеваючи у Авонских ворот, а он там все вверх дном перевернул, и узнать нельзя!

— Не пошлют же войска из-за какого-то одного негодяя барина, перессорившегося с целым краем! — сказал Годэн. — Он сам виноват! Задумал здесь всех перемутить, всех свалить. Прави-

тельство ему скажет: цыц!

— А что может еще сказать правительство? Уж такая его доля, правительства-то, — промолвил Фуршон, вдруг охваченный нежностью к правительству. — И жалко же мне наше правительство... Бедненькое, без гроша за душой, вроде нас... А ведь это уж просто глупость, раз оно само выпускает деньги. Ух, кабы я был правительством!..

— Да, — воскликнул Курткюис, — я слышал в Виль-о-Фэ, что господин де Ронкероль говорил в палате о наших правах.

— Об этом и в газете господина Ригу писали, — сказал Водуайе, как бывший стражник, умевший читать и писать, — я сам читал...

Невзирая на свое напускное мягкосердечие, старик Фуршон, способности которого, как у многих простолюдинов, обострились от вина, ловил зорким оком и чутким ухом все перипетии спора, которому отдельные замечания придавали бурный характер. Он вдруг встал и выступил на середину комнаты.

— Послушайте старика, он пьян, значит, вдвое хитрее: вино ему еще хитрости прибавило, — крикнул Тонсар.

— Да вино-то какое — испанское!.. Это уж выходит втрое хитрее, — прервал его Фуршон с лукавым смехом сатира. — Детки мои, не надо бить прямо в лоб, у вас силенок не хватит; возьмитесь-ка за это дело с уверточкой! Ползайте на животе, виляйте хвостом по-собачьи. Барынька-то здешняя уж и так напугана, будьте уверены! Она скоро сдастся, уедет отсюда. А уедет она, и Обойщик за ней помчится, потому он ее страсть как любит. Вот что надо делать. А чтоб они поскорей убрались, надо, по-моему, отнять у них советчика, главную силу, того, кто за нами шпионит, обезьяну противную.

— Кого же это?

— Кого? Проклятого кюре, вот кого! — сказал Тонсар. — У всех грехи выискивает, хочет, чтоб мы причастными облатками сыты были...

— Что правда, то правда! — воскликнул Водуайе. — Мы отлично без кюре жили. Надо отделяться от этого святоши, вот где наш враг!

— Плюгаш все посты соблюдает, — продолжал Фуршон, наделяя аббата Бросета прозвищем, вызванным его хилым видом, — а вот какой-нибудь шельмой в юбке он, пожалуй, мог бы соблазниться. Эх, попался бы он на скоромной проделке, мы такого бы трезвона задали, что епископу волей-неволей пришлось бы его перевести в другое место. Вот уж кто был бы рад, так это наш дядюшка Ригу... Если б Курткюисова дочка согласилась расстаться со своей оссэрской хозяйкой и прикинуться святошей, такой красотке ничего не стоило бы спасти свое отечество. Раз-два — и готово.

— А почему бы тебе не взяться за это дело? — шепнул Годэн старшей дочери Тонсаров. — Чтобы замаять скандал, тебе отвалили бы целую корзину золотых, вот ты и стала бы сразу здешней хозяйкой...

— Ну как, будем собирать колосья или не будем? — спросил Бонебо. — Мне на вашего аббата наплевать. Я из Куша, там у нас попа нет, некому донимать нашу совесть своим колокольчиком.

— Пойдите, — предложил Водуайе, — надо сходить к дяде Ригу: он дока по части всяких законов. Он нам скажет, может Обойщик запретить нам собирать колосья или нет; он скажет, кто из нас прав. Ну а если Обойщик действует по закону, тогда придется, как сказал наш старик, пойти на уверточку...

— Без крови тут не обойдется, — мрачно заметил, вставая из-за стола, Никола, выпивший целую бутылку вина, — Катрин все время подливала своему брату, чтобы помешать ему говорить. — Послушайте меня, прикончим Мишо! Да где вам! Слунтяи, дрянь — вот вы кто!

— Ну уж нет, я не слунтяй! — воскликнул Бонебо. — Если бы знал, что вы будете держать язык за зубами, я бы взялся отправить на тот свет Обойщика. С удовольствием всадил бы я ему пулю в пузо, уж заодно бы отомстил и всем мерзавцам офицеришкам.

— Так-так-так, — воскликнул Жан-Луи Тонсар, о котором поговаривали, будто он приходится сыном Гобертену.

Этот парень, уже несколько месяцев ухаживавший за хорошенькой служанкой Ригу, унасле-

довал от Тонсара его прежнее ремесло: подстригал живые изгороди, грабовые аллеи и все прочее, что можно стричь. Бывая в зажиточных домах, он беседовал с хозяевами и прислугой, набирался от них ума-разума и слыл в своей семье за человека продувного и смекалистого. И в самом деле, дальнейшее покажет, что, обратив свои взоры на служанку дядюшки Ригу, Жан-Луи вполне оправдал лестное мнение о своей сметливости.

— Ну, что скажешь, пророк? — обратился трактирщик к сыну.

— А то скажу, что вы играете на руку нашим буржуа, — заявил Жан-Луи. — Припугнуть владельцев Эгов, не поступиться нашими правами — это, конечно, не плохо, но выгнать их отсюда и принудить продать Эги, как того хотят все здешние буржуа, вовсе не в наших интересах. Если вы будете содействовать разделу крупных владений, откуда же возьмется поместья для продажи во время будущей революции? Ведь вы получили бы тогда землю за бесценок, как получил ее Ригу, а если вы допустите, чтобы ее захاپали наши буржуа, обратно вы получите жалкие остатки и уже совсем по другой цене; и вы будете работать на них, как те, кто сейчас работает на старого Ригу. Взгляните-ка на Курткюиса!..

Это рассуждение было слишком умно, чтобы его осмыслили пьяные люди, которые все, за исключением Курткюиса, подкапывали деньги, надеясь получить свою долю при разделе эгского пирога. Поэтому Жану-Луи предоставили разглагольствовать, а сами продолжали меж тем, как это принято и в палате депутатов, свои частные разговоры.

— Ну и валяйте! Будете, как машины, на Ригу работать! — воскликнул Фуршон, один из всех понявший своего внука.

В это время мимо трактира проходил эгский мельник Ланглуоме: красавица Тонсарша окликнула его.

— Верно ли, господин помощник мэра, — спросила она, — что нам запретят сбор колосьев?

Ланглуоме, веселый человек с белым от муки лицом, одетый в серый, тоже побелевший су-конный костюм, поднялся по ступенькам, и при его появлении крестьяне сразу же приняли серьезный вид.

— Как вам сказать, друзья мои, и да, и нет! Беднота будет собирать; но принятые меры пойдут вам на пользу...

— Это как же так? — спросил Годэн.

— А так, что если всем чужим беднякам будет запрещено стекаться сюда, — ответил мельник, прищуривая глаза на нормандский лад, — то ведь вам никто не мешает отправиться в другие места за колосьями, только бы там мэры не распорядились так же, как бланжийский.

— Значит, это правда? — угрожающе промолвил Тонсар.

— Ну, а я иду в Куш, предупредить приятелей, — проговорил Бонебо, сдвигая набок свою солдатскую шапку и помахивая ореховым хлыстиком.

И местный ловелас удалился, насвистывая солдатскую песенку:

Когда ты помнишь гвардии гусаров, —
Ты различишь походную трубу.

— Взгляни-ка, Мари, по какой это чуднóй дорожке отправился в Куш твой дружок! — крикнула внучке старуха Тонсар.

— Он пошел к Аглае! — всполошилась Мари, бросаясь к двери. — Надо мне хоть разок как следует отдубасить эту толстую дуру!

— Слушай-ка, Водуайе, — обратился Тонсар к бывшему стражнику, — сходил бы ты к дядюшке Ригу. По крайности, будем знать, что нам делать; он все растолкует и за свои слова денег не возьмет.

— Еще одна глупость! — тихонько воскликнул Жан-Луи. — Ригу кого хочешь продаст. Анета недаром мне говорила, что его опаснее слушаться, чем самого черта.

— Советую вам быть благоразумными, — добавил Ланглуоме, — потому что генерал поехал в префектуру жаловаться на ваши хорошие дела, и Сибиле мне говорил, что он честью клялся дойти до Парижа, до министра юстиции, до короля, всех на ноги поставить, если это понадобится,

чтобы усмирить своих крестьян.

— *Своих* крестьян! — закричали кругом.

— Вот так здорово! Мы, стало быть, уж себе не хозяева?

При этом восклицании Тонсара Водуайе вышел из трактира и отправился к бывшему мэру.

Ланглуэме, тоже было вышедший на лестницу, задержался на крыльце и ответил:

— Эх вы, стадо бездельников! Чего захотели! Себе хозяевами быть... А доходы у вас есть?

Это глубокомысленное замечание, хотя и сказанное в шутку, подействовало примерно так же, как удар кнута на лошадь.

— Так... так... так! Сами себе хозяева!.. А скажи-ка, сынок, ты что нынче утром натворил? Теперь тебе, пожалуй, сунут в руки не мой кларнет, а другую игрушку... — сказал Фуршон, обращаясь к Никола.

— Что пристал, смотри, намнет он тебе брюхо, все вино обратно пойдет! — грубо отрезала Катрин.

ХІІІ ДЕРЕВЕНСКИЙ РОСТОВЩИК

В смысле стратегическом Ригу занимал в Бланжи то же положение, что занимает на войне часовой, выставленный на передовой пост: он наблюдал за Эгами, и наблюдал не плохо. Полиции никогда не обзавестись такими соглядатаями, каких всегда найдет к своим услугам ненависть.

Когда генерал прибыл в Эги, Ригу как будто собирался взять помещика под свою защиту, ибо, без сомнения, имел на него какие-то виды, вскоре расстроенные женитьбой графа Монкорне на одной из Труавиль. Намерения Ригу были так очевидны, что Гобертен счел нужным привлечь его к заговору против Эгов и включить в долю. Прежде чем согласиться на это и взять на себя известную роль в заговоре, Ригу, по собственному его выражению, пожелал сначала прощупать генерала. В один прекрасный день, когда графиня уже водворилась в Эгах, к замку подъехала плетеная тележка, выкрашенная в зеленый цвет. Господин мэр в сопровождении супруги вылез из тележки и взошел на крыльцо. В одном из окон он заметил графиню. Графиня, всей душой преданная епископу, религии и аббату Бросету, поспешившему опередить своего врага, велела Франсуа сказать, что «барыни нет дома». При таком неучтивом отказе, достойном помещицы, родившейся в России, бывший бенедиктинец позеленел от злости. Если бы графиня любопытствовала взглянуть на человека, о котором кюре говорил: «Это закоренелый грешник, погрязший в беззакониях и пороках», — она, может быть, не решилась бы положить начало той холодной и обдуманной ненависти между замком и мэром, какую питали либералы к роялистам, — ненависти, усугубленной близким соседством замка с деревней, где воспоминание о ране, нанесенной самолюбию, постоянно растрavляется.

Несколько подробностей о г-не Ригу и его привычках осветят нам его роль в заговоре, который у двух его сообщников ходил под названием «дела первостепенной важности», а заодно обрисуют чрезвычайно любопытный тип деревенского жителя, свойственный только Франции и еще не увековеченный кистью художника. К тому же ничто в этом человеке не лишено для нас интереса — ни его дом, ни то, как он раздувает огонь в камине, ни его манера есть. Его привычки, его взгляды — все послужит ценным материалом для истории, разыгравшейся в Эгской долине. Вероотступник Ригу поможет нам понять, в чем польза медиократии, ибо в нем воплотилась и теория, и практика медиократии, он — ее альфа и омега, ее высшая точка.

Вы, может быть, помните некоторых великих скупцов, уже обрисованных в прежде написанных мною «Сценах»? Вспомним, во-первых, провинциального скупца дядюшку Гранде из Сомюра, которому так же присуща скупость, как тигру жестокость; затем ростовщика Гобсека, который, как иезуит, служил золоту, наслаждаясь его могуществом и радуясь слезам несчастных, источник коих хорошо ему ведом; далее барона Нусингена, возводившего денежные мошенничества до высоты политических дел. Наконец, вы, наверное, помните старого Гошона из Иссудена, олицетворение мелкого, домашнего скряжничества, и другого скупца, скупца по семейной традиции, — щуплого ла Бодрэ из Сансера? Так вот, человеческие чувства, а скупость в особенности, в различ-

ных слоях общества весьма различны по своим оттенкам, и для изучения человеческих нравов в нашем анатомическом театре остался еще один вид скупца, остался Ригу — скупец-эгоист, то есть человек весьма чувствительный к собственному благополучию, черствый и злобный по отношению к ближним, — словом, скряга-церковнослужитель, постригшийся в монахи, чтобы выжимать сок из лимона, именуемого хорошей жизнью, и вернувшийся в мир, чтобы хапать народную деньги. Объясним прежде всего, почему Ригу находил неизменные радости под своей собственной кровлей.

Селение Бланжи, то есть шестьдесят домов, упомянутых Блонде в его письме к Натану, раскинуто на возвышенности, по левому берегу Туны. Селение это чрезвычайно привлекательно с виду, так как при каждом домике есть сад. Несколько домов спустилось к самой воде. На вершине обширного холма стоит церковь, а рядом — бывший дом священника, со стороны же алтаря к церкви, как и во многих деревнях, примыкает кладбище.

Святотатец Ригу не преминул купить церковный дом, некогда выстроенный доброй католической, мадмуазель Шуэнь на специально приобретенном ею участке земли. Из сада, спускавшегося вниз уступами и отделявшего прежний дом священника от церкви, открывался вид на земли Бланжи, Суланжа и Сернэ, занимавшие пространство между двумя господскими парками. С другой стороны дома шел луг, купленный последним бланжийским кюре незадолго до своей смерти, а теперь обнесенный изгородью недоверчивым Ригу.

Ввиду отказа мэра вернуть дом для его использования согласно первоначальному назначению приход принужден был купить крестьянский домик рядом с церковью; пришлось затратить пять тысяч франков на его расширение и ремонт, а также на устройство небольшого садика, примыкавшего к ризнице, так что теперь, как и прежде, церковный дом и церковь сообщались непосредственно.

Эти два дома, вытянутые в одну линию с церковью и как бы связанные с нею своими садами, выходили окнами на обсаженную деревьями площадку, выполнявшую роль городской площади, тем более что против нового церковного дома граф выстроил общественный дом для канцелярии мэра, квартиры стражника и училища Братства учения Христова, открытия которого так долго и тщетно домогался аббат Бросет. Итак, бывший бенедиктинец и молодой священник не только жили в домах, примыкавших к связывавшей или, если хотите, разъединявшей их церкви, но также и наблюдали друг за другом; а за аббатом Бросетом, кроме того, следила вся деревня. Деревенская улица, начинавшаяся у Туны, извилисто поднималась к церкви. Бланжийский холм венчали крестьянские виноградники, сады и небольшая рощица.

Дом Ригу, самый красивый в деревне, был построен из характерного для Бургундии крупного булыжника, скрепленного желтой глиной, по которой лопаточка каменщика прошла во всю свою ширину, от чего получилась несколько волнистая поверхность, а сквозь глину кое-где проглядывал преимущественно черный булыжник. Вокруг окон шла гладкая, без единого булыжника, кайма из той же глины, от времени покрывшаяся сеткой тонких и извилистых трещинок, вроде тех, что бывают на старых потолках. Грубо сколоченные ставни обращали на себя внимание своей прочной темно-зеленой окраской. Между аспидными плитками крыши пробивался бархатистый мох. Это был типичный бургундский дом; путешественники, проезжая по этой части Франции, видят множество таких же домов.

Небольшая дверь вела в коридор, с середины которого шла деревянная лестница. Тут же у входа была дверь в большую залу с тремя окнами на площадь. Кухня, помещавшаяся под лестницей, выходила окнами на тщательно вымощенный двор с воротами на улицу. Таков был нижний этаж.

Во втором этаже было три комнаты, а над ними чердачная каморка.

Дровяной и каретный сарай и конюшня примыкали к кухне под прямым углом. Над этими легкими строениями были устроены сеновал, кладовая для фруктов и комната для прислуги.

Птичник, коровник и хлев для свиней были расположены напротив дома.

В обнесенном стеною саду, площадью примерно в арпан, все указывало на тщательный уход: и шпалеры, и фруктовые деревья, и выющийся виноград, и дорожки, посыпанные песком и обсаженные подстриженными деревцами, и аккуратные гряды овощей, удобренные навозом из своей

конюшни.

Повыше, за домом, был луг с деревьями, обнесенный живой изгородью, где паслись две коровы.

На стенах зала с деревянной панелью высотой по локоть висели старые гобелены. Ореховая обитая ручной вышивкой мебель, потемневшая от времени, была под стать деревянной панели и дощатому полу. На потолке выступали три деревянные, но окрашенные балки, а промежутки между ними были разрисованы. Зеркало в вычурной раме висело над камином орехового дерева, украшением которому служили два медных яйца на мраморных подставках; яйца эти разнимались пополам, и перевернутая верхняя половина представляла собой подсвечник. Такие двойного назначения подсвечники, украшенные цепочками, вошли в моду в царствование Людовика XV и теперь встречаются все реже.

У стены против окон, на зеленой с золотом тумбочке стояли совсем обыкновенные, но превосходные часы. Занавескам, сшитым из бумажной индийской материи, в белую и розовую клетку, похожей на матрацную ткань, и с визгом раздвигавшимся на железных прутьях, было лет пятьдесят; буфет и обеденный стол дополняли обстановку, кстати сказать, содержавшуюся в исключительной чистоте.

У камина стояло глубокое кресло, в котором сидел только Ригу. В углу, над конторкой, служившей ему письменным столом, висели на самом простом крючке мехи, положившие начало благосостоянию Ригу.

Из этого сжатого описания, по стилю не уступающего объявлению о распродаже, нетрудно догадаться, что и обстановка двух спален — г-на и г-жи Ригу — сводилась к самому необходимому; но не следует думать, что такая скупость исключала добротность стоявших в доме вещей. Так, самая привередливая неженка осталась бы довольна кроватью Ригу: превосходные тюфяки, простыни из тонкого полотна, перины, некогда купленная благочестивой поклонницей для какого-нибудь аббата, плотный полог, сквозь который не проникнет ни малейшее дуновение холодного ветра. То же самое, как увидим дальше, можно было сказать и обо всем остальном.

Скряга Ригу прежде всего привел к полной покорности жену, не умевшую ни читать, ни писать, ни считать. От роли домоправительницы у покойного кюре бедная женщина перешла под конец своей жизни на роль служанки у собственного мужа; она стряпала и стирала, пользуясь лишь самой незначительной помощью Анеты, прехорошенькой девятнадцатилетней девушки, находившейся в таком же подчинении у Ригу, как и ее хозяйка, и получавшей тридцать франков в год.

Высокая, сухопарая и костлявая мадам Ригу, с желтым лицом и красными пятнами на скулах, в неизменном фуляровом платке на голове, носила одну и ту же юбку в течение целого года, из дому отлучалась часа на два в месяц и тратила свою энергию на те заботы, которые поглощают все время преданной хозяйскому дому служанки. Самый тонкий наблюдатель не нашел бы в ней даже следов роскошного стана, рубенсовской свежести, пышной полноты, великолепных зубов и невинных глаз — того, чем она некогда прельстила кюре Низрона. После единственных родов, когда она произвела на свет дочь, мадам Судри-младшую, у нее повыпадали зубы, повылезли ресницы, потускнели глаза, испортилась талия, поблек цвет лица. Можно было подумать, что перст божий покарал жену расстриги-монаха. Как и все богатые деревенские хозяйки, она радовалась, глядя на свои шкафы, ломившиеся от шелковых платьев, частью только скроенных, частью же сшитых и ни разу не надеванных, от кружев и драгоценностей, которые только вводили в грех зависти молодых служанок Ригу, с нетерпением ожидавших ее смерти. В этой женщине было много животного, она была рождена для чисто плотского существования. Бывшая красавица Арсена была не корыстолюбива, и поэтому может показаться непонятным, что покойный кюре Низрон отказал ей все свое состояние, но всему причиной одно любопытное происшествие, о котором необходимо рассказать в назидание бесчисленному племени наследников.

Жена Жана-Франсуа Низрона всячески обхаживала богатого дядю своего мужа, ибо от этого семидесятидвухлетнего старика ждали значительного наследства — как полагали, сорок с лишним тысяч ливров, — а оно обеспечило бы семейству единственного наследника благосостояние, коего с нетерпением ожидала ныне покойная жена Низрона, — ведь у нее, кроме сына, была еще прелестная дочурка, милая шалунья, резвушка, одно из тех созданий, которые, возможно, потому на-

делены таким очарованием, что им не суждено долго жить; и в самом деле, дочка Низрона умерла четырнадцати лет от «бледной немочи», как называют в народе малокровие. Девочка, словно блуждающий огонек, мелькала то тут, то там в церковном доме, чувствовала себя у деда-кюре, как в родной семье, и наводила там свои порядки; она очень любила хорошенькую служанку Арсену, которую кюре взял к себе в дом в 1789 году, когда первые бури революции несколько ослабили строгие правила поведения духовенства. Арсена приходилась племянницей экономке кюре мадмуазель Пишар, которая призвала ее себе на смену, ибо, чувствуя приближение смерти, задумала передать свои права красавице Арсене.

В 1791 году, в то самое время, когда кюре Низрон предоставил у себя приют отцу Ригу и брату Жану, дочурка Низронов позволила себе невинную шалость. Забавляясь с другими детьми и с Арсеной игрой, которая заключается в том, что один прячет какую-нибудь вещь, а все остальные ищут, причем спрятавший кричит: «горячо» или «холодно» — в зависимости от того, приближаются ли к спрятанной вещи или удаляются от нее, — маленькая Женевьева придумала запрятать каминные мехи в постель хорошенькой Арсены. Мехи так и не нашли; игра кончилась; Женевьева, которую мать забрала домой, забыла повесить мехи на их обычное место. Арсена с теткой проискали мехи целую неделю, а потом перестали искать, можно было обойтись и без них: старый кюре стал раздувать огонь сарбаканом⁴², сделанным в те времена, когда сарбаканы были в большой моде, и, наверное, в свое время принадлежавшим какому-нибудь придворному Генриха III. В конце концов однажды вечером, за месяц до своей смерти, экономка после обеда, на котором присутствовали аббат Мушон, семейство Низронов и суланжский кюре, снова стала жаловаться, что пропали мехи, совершенно непонятно куда исчезнувшие.

— Господи! Да ведь они уже две недели как лежат в кровати у Арсены, — воскликнула, громко смеясь, Женевьева. — Если бы Арсена не ленилась оправлять свою постель, она бы их нашла...

В 1791 году можно было по такому поводу, не стесняясь, рассмеяться, но после смеха наступило глубокое молчание.

— Тут нет ничего смешного, — сказала экономка. — С тех пор как я заболела, Арсена проводит ночи у моей постели.

Несмотря на это объяснение, кюре бросил на супругов Низронов уничтожающий иерейский взгляд, заподозрив, что это подстроено нарочно. Экономка умерла. Отец Ригу сумел так ловко направить гнев аббата Низрона, что тот лишил наследства Жана-Франсуа Низрона в пользу Арсены Пишар.

В 1823 году Ригу из чувства признательности продолжал пользоваться для раздувания огня сарбаканом.

Жена Низрона, до безумия любившая свою дочь, не пережила ее: мать и ребенок умерли в 1794 году. После смерти кюре гражданин Ригу сам занялся делами Арсены, женившись на ней.

Бывший монастырский послушник, привязанный к Ригу, как собака к хозяину, превратился в конюха, садовника, скотника, лакея и управляющего этого сладострастного Гарпагона.

Арсена Ригу, выданная в 1821 году замуж без приданого за местного прокурора, грубоватой красотой несколько напоминала мать, а скрытным нравом вышла в отца.

Ригу, теперь уже шестидесятисемилетний старик, ни разу не болел за тридцать лет, и ничто, казалось, не угрожало этому воистину наглому здоровью. Высокий, сухой, с темными кругами под глазами, с очень темными веками; если бы вам довелось как-нибудь утром взглянуть на его морщинистую, красную и пупырчатую шею, вы, несомненно, сравнили бы его с кондором, тем более что его длинный, прищипнутый у кончика нос своей багровой окраской еще усугублял это сходство. Знаток френологии ужаснулся бы, увидя его почти лысую голову с шишкой на затылке, что является признаком деспотической воли. Сероватые глаза, почти закрытые дряблыми пленками век, были как будто нарочно созданы для притворства. Две пряди волос неопределенного цвета и до того редкие, что сквозь них просвечивала кожа, торчали над большими оттопыренными ушами без обычной закраины, — черта, указывающая на жестокость, если не на сумасшествие. Широ-

⁴² Сарбакан — длинная трубка для надувания стекла, разведения огня и т. п.

кий рот с тонкими губами обличал заядлого обжору, закоренелого пьяницу, о чем убедительно говорили и опущенные углы рта, загнутые в виде каких-то запятых, по которым во время еды стекал соус, а при разговоре сочилась слюна. Таким, вероятно, был Гелиогабал⁴³.

Он неизменно ходил в длинном синем сюртуке с воротником военного покроя, в черном галстуке, панталонах и просторном жилете черного сукна; носил башмаки на толстой подошве, подбитой гвоздями, и носки, которые в зимние вечера вязала ему жена. Анета с хозяйкой вязали также и чулки для г-на Ригу.

Ригу звали Грегуаром, и друзья его никак не хотели отказаться от каламбуров, получавшихся из разных комбинаций его имени и фамилии, хотя эти каламбуры, которыми очень злоупотребляли, за тридцать лет сильно поизносились. Прозвища его были неисчислимы, но чаще всего его называли «Григу»⁴⁴ (Г. Ригу).

Хотя этот набросок и дает некоторое представление о характере Ригу, никому и никогда не представить себе, до каких пределов бывший бенедиктинец, живя в тишине и одиночестве, не встречая ни в ком противодействия, довел искусство себялюбия, умение хорошо пожить и сластолюбие во всех его видах. Прежде всего он садился за стол один, и ему прислуживали жена и Анета, сами обедавшие после него, на кухне, вместе с Жаном, пока Ригу, слегка осоловев от выпитого вина, переваривал обед и почитывал «новости».

В деревне не признают различных названий газет, и все они огулом именуются «новостями».

За обедом, а также за завтраком и ужином всегда подавались лакомые блюда, приготовленные с большим знанием дела, которое отличает экономок кюре от прочих поварих. Так г-жа Ригу два раза в неделю собственноручно сбивала масло. Соуса готовились только на сливках. Овощи собирались вовремя и прямо с грядки попадали в кастрюлю. Парижане, привыкшие есть зелень и овощи, которые доживают свой век выставленные на солнце в зловонии улиц, преют в лавках, где их зеленщицы опрыскивают водой, чтобы придать им обманчивую свежесть, — парижане не знают, какой замечательный вкус у этих плодов земли, наделенных природой недолговечными, но могучими свойствами, сохраняющими свою силу, только когда овощи съедаются, так сказать, «живьем».

Суланжский мясник доставлял лучшее мясо, боясь потерять такого покупателя, как грозный Ригу. Выращенная и откормленная дома птица была исключительно нежной на вкус.

Доведенная до ханжества заботливость распространялась на все предметы, которыми пользовался г-н Ригу. Туфли этого изощренного «телемита»⁴⁵ были, правда, сшиты из грубой кожи, зато на подкладке из лучшего шевро. Он носил сюртук из толстого сукна, но ведь сюртук не касался тела, зато рубашка, выстиранная и выглаженная дома, была выткана руками самых искусных фризландских ткачих. Его жена, Анета и Жан пили местное вино собственного виноградника г-на Ригу, но в погребе, предназначенном для его личного пользования и не уступавшем бельгийским погребам, самые тонкие бургундские вина стояли бок о бок с бордоскими, шампанскими, руссильонскими, ронскими и испанскими, которые покупались на десять лет вперед и разливались в бутылки братом Жаном. Привозные ликеры вели свое происхождение от мадам Анфу; ростовщик запасся ими до конца дней своих, приобретя их при распродаже одного бургундского поместья.

Ригу ел и пил не хуже Людовика XIV, как известно, одного из величайших обжор, и на такую более чем сластолюбивую жизнь, конечно, тратил не мало. Но при всей своей тайной расточительности Ригу был осмотрителен и хитер; он торговался из-за каждой мелочи, как умеет торговаться только духовенство. Вместо бесчисленных мер предосторожности, чтобы обезопасить себя от обмана при сделках, хитрый монах оставлял у себя образчик товара и требовал, чтобы были точно оговорены все условия; а когда он выписывал откуда-нибудь вина или припасы, то предупреждал, что при малейшем дефекте откажется от покупки товара.

43 *Гелиогабал* — римский император (218—222 гг.), известный своей жестокостью и развратом.

44 Скрыга.

45 *Телемит* — обитатель Телемской обители из романа Франсуа Рабле (1494—1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль». Девизом обители было: «Делай, что хочешь».

Жан, ведавший плодовым садом, был великим мастером по части хранения фруктов самых лучших сортов, какие только известны были в департаменте. Ригу ел на пасху яблоки, груши, а иногда и виноград.

Никогда ни одному пророку, даже если его принимали за бога, не повиновались так слепо, как повиновались Ригу его домашние, беспрекословно выполняя малейшие его прихоти. Одно движение его густых черных бровей повергало г-жу Ригу, Анету и Жана в смертельный трепет. Он крепко держал в руках своих трех рабов, точно цепями опутывая их множеством мелких обязанностей. Каждую минуту они, бедные, чувствовали, что надо трудиться не покладая рук, что хозяин следит за ними, и в конце концов стали даже находить известную прелесть в исполнении этих непрерывных обязанностей, не оставлявших места для скуки. У всех троих была одна забота — улагодворять г-на Ригу.

С 1795 года Анета была десятой хорошенькой служанкой, взятой Ригу; он похвалялся, что доедет до самой могилы на перекладных из молоденьких девушек. Поступив к нему шестнадцати лет, Анета к девятнадцати годам неминуемо должна была получить расчет. Всех служанок, с великим тщанием выбиравшихся в Оссэре, Кламси и Морване, он завлекал обещанием прекрасной будущности; но мадам Ригу, как на зло, не умирала. А по прошествии трех лет каждый раз оказывалось, что служанка надерзала бедняжке барыне и ее необходимо уволить.

Находчивая и задорная Анета, истинное совершенство красоты и изящества, не посрамила бы и герцогской короны. Она была достаточно умна. Ригу не подозревал об ее связи с Жаном-Луи Тонсаром, а это доказывает, что хорошенькой Анете, единственной из всех его служанок, удалось провести его, ибо она из честолюбивых соображений опутала эту старую рысь лестью.

Сей Людовик XV без престола не довольствовался одной хорошенькой Анетой. Прижимая должников-крестьян закладными на землю, за покупку которой они не могли расплатиться наличными, он превратил всю долину, от Суланжа и на пять лье дальше Куша, до самой Ла-Бри, в свой сераль и лишь отсрочками судебных исков расплачивался за обладание мимолетными сокровищами, поглощающими состояние стольких сладострастных стариков.

Таким образом, блаженная жизнь, не уступавшая жизни откупщика Буре, почти ничего ему не стоила. На Ригу работали белые негры, они заготавливали ему дрова, обрабатывали землю, убирали хлеб и сено. Крестьянин мало ценит свой труд, особенно если за него обещают отсрочить платеж процентов. Не забывая накидывать понемножку за предоставленную на несколько месяцев отсрочку, Ригу прижимал своих должников, заставляя их в полном смысле этого слова отрабатывать ему барщину, на которую они шли, думая, что ничего не платят, ибо не вынимали денег из кармана. В действительности же они иногда выплачивали Ригу много более всей суммы долга.

Этот человек был глубокомыслен, как монах, молчалив, как бенедиктинец, трудящийся над летописью, хитер, как священник, скрытен, как всякий скупец; он старался не выходить из рамок порядка и законности, — в Риме он был бы Тиберием, при Людовике XIII — герцогом Ришелье, он был бы Фуше, если бы честолюбие привело его в Конвент; но он мудро рассудил, что лучше стать Лукуллом без его внешней пышности, и сделался скаредным сластолюбцем. Чтобы чем-нибудь занять свой ум, он предавался безудержной ненависти. Ригу чинил всякие неприятности генералу графу де Монкорне. Крестьяне были марионетками в его руках, он управлял их действиями, дергая невидимые нити, и это занимало его, как игра в шахматы, где маршировали живые пешки, скакали офицеры, ржали кони, вроде Фуршона, сверкали на солнце башни феодальных замков, а королева коварно делала шах королю! Каждое утро, встав с постели, он глядел из своих окон на гордые кровли Эгского замка, на трубы флигелей, на великолепные ворота и думал: «Все это рухнет, я высушу эти ручьи, вырублю эти тенистые рощи». Он намечал себе большую и малую жертву: замышляя погубить замок, расстрига одновременно питал надежду извести аббата Бросета мелкими булавочными уколами.

Чтобы закончить портрет бывшего монаха, достаточно сказать, что он ходил к обедне, сожалел о живучести своей жены и выражал желание примириться с церковью, как только останется вдовцом. Он почтительно кланялся аббату Бросету и приветливо разговаривал с ним, никогда не раздражаясь. Люди, принадлежащие к церкви или вышедшие из ее лона, вообще отличаются терпением насекомых: оно вырабатывается в них необходимостью соблюдать внешнюю благопри-

стойность, оно плод того воспитания, которого вот уже двадцать лет так недостает большинству французов, даже и тем, кто считает себя хорошо воспитанным. Все монашествующие, изгнанные революцией из монастырей и занявшиеся мирскими делами, своим хладнокровием и сдержанностью доказали, какое превосходство дает духовная дисциплина сынам церкви, даже тем, которые покидают церковь. Раскусив Ригу еще в 1792 году по истории с завещанием, Гобертен понял, как хитер этот искусный лицемер с желчным лицом, почуял в нем собрата и решил, что отныне они будут вместе служить золотому тельцу. При основании «Банкирского дома Леклерк» он посоветовал Ригу вложить в дело пятьдесят тысяч франков, поручившись за их целость. Ригу стал одним из самых влиятельных пайщиков, ибо не трогал нараставших процентов, тем самым увеличивая вложенный капитал. В описываемое время пай Ригу в этом предприятии еще составлял сто тысяч франков, несмотря на то что в 1816 году он взял около восьмидесяти тысяч для помещения в государственные облигации, с которых получал семнадцать тысяч франков дохода. Люпену было известно, что сто пятьдесят тысяч он роздал небольшими суммами под залог крупных имений. Совершенно явным был доход Ригу от собственных земель, составлявших примерно четырнадцать тысяч франков чистыми деньгами. Таким образом, поддающийся учету доход Ригу составлял приблизительно сорок тысяч франков. Что же касается всего его состояния, то это был — *x*, который не было возможности определить никаким уравнением, точно так же, как никому, кроме черта, не были известны делишки, обделываемые им в компании с Ланглюме.

Сей грозный ростовщик, который рассчитывал прожить еще лет двадцать, придерживался при своих операциях совершенно твердых правил. Он ссужал деньгами крестьянина только в том случае, если тот покупал не менее трех гектаров земли и уплачивал, по крайней мере, половину стоимости наличными. Из этого явствует, что Ригу хорошо понимал порочность закона об отчуждении за долги применительно к мелким земельным участкам и ту опасность, которой грозит государственной казне и частной собственности чрезмерное дробление земельных владений. Попробуйте-ка преследовать крестьянина, захватившего у вас борозду, когда их у него всего-навсего пять! Лицо заинтересованное всегда дальновиднее, чем собрание законодателей, и опережает их не менее, чем на четверть века. Какой урок для всякой страны! Закон всегда зарождается в уме выдающегося, талантливого человека, а не в умах девятисот людей, которые, как бы они ни были велики, становятся мелкими, как только сольются в толпу. Действительно, нельзя ли положить правило Ригу в основу будущего закона, который прекратил бы бессмысленное дробление земельной собственности на половины, трети, четверти и десятые части центиара⁴⁶, как мы это видим, например, в Аржантейльской общине, где насчитывается до тридцати тысяч мельчайших земельных участков?

Ригу для его операций требовалось как раз такое широко распространившееся кумовство, какое охватило весь этот округ. Суланжский нотариус Люпен был для него тоже свой человек, так как примерно одну треть актов, ежегодно составлявшихся в его конторе, доставляли ему операции Ригу. И благодаря Люпену хищнику Ригу удавалось включать всю сумму незаконных, ростовщических процентов в долговое обязательство, при составлении которого, если должник был женат, всегда присутствовала и его жена. Крестьянин, обрадованный тем, что ему придется платить только пять процентов годовых до истечения срока ссуды, рассчитывал расплатиться усиленной работой и удобрением земли, от чего только улучшался его участок, отданный в заклад г-ну Ригу.

Отсюда и те разговоры о чудесах, которые якобы порождает «мелкое землепользование» (название это придумано глупцами-экономистами), являющееся следствием политической ошибки, из-за которой нам приходится тратить французские деньги в Германии на покупку лошадей, так как наша страна не занимается больше коневодством, — ошибки, из-за которой скоро сократится у нас и количество рогатого скота, так что мясо станет недоступно не только для простонародья, но и для мелкой буржуазии (см. «Сельский священник»).

Итак, между Кушем и Виль-о-Фэ все от мала до велика в поте лица работали на Ригу и, однако, его уважали, а генерал де Монкорне, единственный человек, дававший заработки местному населению и щедро плативший за труды, заслужил только проклятия и ненависть, которую обычно

⁴⁶ *Центиар* — один квадратный метр земли.

питают к богатым. Разве можно было бы объяснить себе эти факты, не бросив беглого взгляда на «медиократию»? Фуршон был прав: буржуазия заняла место дворянства. Мелкие собственники, типичным представителем коих являлся Курткюис, были крепостными Тиберия Авонской долины так же, как промышленники без капитала — крепостные крупных банков в Париже.

Судри орудовал по примеру Ригу, начиная от Суланжа и дальше на пять лье за Виль-о-Фэ. Два ростовщика поделили между собою округ.

Гобертен, применявший свои хищные наклонности в более высокой сфере, не только не конкурировал со своими союзниками, но препятствовал и другим виль-о-фэйским капиталам вступать на их плодородный путь. Теперь не трудно догадаться, какое влияние триумвират Ригу, Судри и Гобертен оказывал во время выборов на избирателей, благосостояние которых всецело зависело от его милости.

Ненависть, ум и деньги — вот грозный треугольник, который выражал сущность ближайшего врага Монкорне; и обо всем, что делается в Эгах, этот враг был хорошо осведомлен через несколько десятков мелких землевладельцев, бывших в родстве или в свойстве с окрестными крестьянами и трепетавших перед своим кредитором.

Ригу был ступенью выше Тонсара: один жил воровством, другой жирел от узаконенных грабежей. Оба любили хорошо пожить, собственно, у обоих была одна и та же натура, только в одном случае в своем натуральном виде, а в другом отшлифованная монастырской выучкой.

Когда Водуайе вышел из «Большого-У-поения», чтобы посоветоваться с бывшим мэром, было около четырех часов. В это время Ригу обычно обедал.

Видя, что калитка заперта, Водуайе заглянул поверх занавесок в окно и крикнул:

— Господин Ригу, это я, Водуайе...

Из калитки выглянул Жан и немного погодя впустил Водуайе, сказав:

— Пройди в сад, у хозяина гости.

А в гостях у Ригу был Сибиле, якобы пришедший договориться насчет решения суда, только что объявленного Брюне, на самом же деле беседовавший с Ригу о совершенно иных предметах. Он застал ростовщика за сладким.

На квадратном столе, накрытом белоснежной скатертью, ибо Ригу, не жалевший трудов Ане-ты и жены, ежедневно требовал чистую скатерть, были представлены в изобилии все плоды этого времени года: миска земляники, абрикосы, персики, вишни, миндаль, поданные на белых фарфоровых тарелках, устланных виноградными листьями с тем же изяществом, что и в Эгах.

Увидав Сибиле, Ригу попросил его запереть на засов внутреннюю дверь столовой (почти все двери в доме были двойные для того, чтобы не сквозило и чтобы снаружи ничего не было слышно), а затем спросил, какое неотложное дело привело его сюда среди бела дня, когда можно спокойно переговорить обо всем ночью.

— Дело в том, что Обойщик собирается в Париж к министру юстиции; он может наделать вам много неприятностей, потребовать смещения вашего зятя, виль-о-фэйских судей и председателя, в особенности после того, как прочтет решение суда, только что вынесенное в вашу пользу. Он обозлился, он хитер, у него такой советчик, как аббат Бросет, а этот кюре может потягаться с вами и Гобертенем... Священники влиятельны. Епископ очень любит этого Бросета. Графиня собирается к своему родственнику префекту, графу де Катеран, по поводу Никола. Мишо начинает разбираться в нашей игре...

— Ты трусишь, — тихонько промолвил ростовщик, бросая на Сибиле взгляд уже не такой тусклый, как обычно, ибо его оживляло подозрение, и взгляд этот был страшен. — Ты прикидываешь, не выгоднее ли переметнуться на сторону его сиятельства графа де Монкорне?

— Мне не совсем ясно, где я возьму, после того как вы поделите Эги, те четыре тысячи франков, которые я ежегодно честно откладываю вот уже пять лет, — без обиняков ответил Сибиле. — Господин Гобертен мне в свое время наобещал всякой всячины, но дело идет к развязке, без боя не обойтись. Обещать-то легко, а вот сдержит ли он свое слово после победы...

— Я с ним поговорю, — спокойно ответил Ригу. — А пока что вот какой бы я тебе дал совет, если бы дело касалось меня. Уже пять лет, как ты ежегодно приносишь господину Ригу по четыре тысячи франков, и этот добрый человек платит тебе семь с половиной процентов, что на сего-

дняшний день вместе с процентами составляет сумму в двадцать семь тысяч франков. Но ведь и у тебя, и у Ригу имеется по экземпляру договора за вашими подписями, и когда аббат Бросет преподнесет этот документик Обойщику, эгский управляющий в тот же день потеряет место, в особенности если перед этим анонимное письмо разъяснит Обойщику двойственную роль господина Сибиле. Так уж лучше тебе охотиться вместе с нами, не требуя себе заранее куса добычи, тем более что по закону господин Ригу вовсе не обязан платить тебе семь с половиной процентов, да еще проценты на проценты, а поэтому он может выплатить тебе только нарицательную сумму — двадцать тысяч франков, да и те ты получишь на руки после всяких судебных проволочек, когда твой иск будет рассмотрен виль-о-фэйским судом. А будешь вести себя умно, господин Ригу, получив твой эгский флигель, пожалуй, поверит тебе в долг еще тридцать тысяч франков вдобавок к твоим тридцати тысячам, и ты сможешь пустить эти деньги в оборот, как сам господин Ригу, и даже очень выгодно, потому что крестьяне, словно воронье на падаль, налетят на Эгское поместье, разбитое на участки. Вот что мог бы тебе сказать господин Гобертен, мне же говорить с тобой не о чем, меня это не касается... И Гобертен, и я имеем основание быть недовольными Монкорне — этот сын народа бьет родного отца, и мы ведем свою линию. Может быть, ты на что-нибудь и нужен моему приятелю Гобертену, а мне никто не нужен, потому что здесь все мне преданы. Ну, а насчет министра юстиции, так ведь их довольно часто сменяют, мы же всегда останемся здесь.

— Одним словом, вы предупреждены, — сказал Сибиле, чувствуя, что остался в дураках.

— Предупрежден? Насчет чего? — коварно спросил Ригу.

— Насчет намерений Обойщика, — смиренно ответил управляющий. — Он помчался в префектуру, не помня себя от гнева.

— Пусть себе мчится. Если бы всякие Монкорне не ломали колес, что стали бы делать каретники?

— Я принесу вам сегодня тысячу экю к одиннадцати часам вечера... — сказал Сибиле. — Но вам, право, следовало бы немного продвинуть мои дела... Уступите мне несколько просроченных закладных... так чтобы я имел возможность получить два-три хороших участка земли...

— У меня есть закладная Курткюиса, но я не хочу его трогать, потому что он лучший стрелок в департаменте. А вот если я передам закладную тебе, подумают, что ты прижимаешь этого бедняка в интересах Обойщика, и таким образом мы убьем двух зайцев зараз: Курткюис пойдет на все, когда опустится ниже нищего Фуршона. Ведь Курткюис последние силы ухлопал на Башельри; он на совесть удобрил землю, обсадил всю ограду сада шпалерами. Его усадебка стоит четыре тысячи франков; граф охотно даст такие деньги за эти три арпана земли — они примыкают к его охотничьим угодьям. Не будь Курткюис рохлей, он мог бы выплачивать проценты выручкой с одной только графской дичи.

— Ну что ж, перепишите на меня его закладную, я на этом деле заработаю: дом и сад достанутся мне совсем даром. Граф купит эти три арпана земли.

— А что придется на мою долю?

— Господи! Вы, кажется, способны получить молоко и от козла! — воскликнул Сибиле. — А я-то только что вытянул у Обойщика распоряжение, чтобы сбор колосьев производился на законном основании...

— Ты этого добился, сынок? — сказал Ригу; несколько дней тому назад он сам подал мысль об этих притеснениях, рекомендовав Сибиле посоветовать их генералу. — Конечно! Теперь он у нас в руках! Но этого мало, мы накинем ему петлю на шею! Отодвинь засов, сынок; скажи жене, чтобы подала мне кофе и ликер, а Жану вели запрягать. Я поеду в Суланж. До вечера! Здравствуй, Водуайе, — сказал бывший мэр, увидев у порога стражника. — Ну, что там случилось?

Водуайе рассказал обо всем, что происходило в трактире, и спросил, как полагает Ригу: законны ли распоряжения, отданные генералом.

— Право у него на это есть, — прямо заявил Ригу. — Барин у нас строгий; а вот аббат Бросет хитрющий человек: ведь это кюре научает генерала, и все за то, что вы не ходите в церковь, ишь ведь какие безбожники! А я вот хожу! Бог-то ведь есть!.. Вы стерпите все, что угодно, Обойщик всегда возьмет верх!

— Ладно! А собирать колосья мы все-таки будем, — сказал Водуайе с решительностью, от-

личающей бургундцев.

— Без свидетельств о бедности? — спросил ростовщик. — Говорят, он поехал в префектуру за войском... Приведут вас в повиновение...

— Мы как собирали прежде колосья, так и будем собирать, — повторил Водуайе.

— Собирайте!.. Господин Саркюс рассудит, правильно ли вы поступаете, — сказал ростовщик с таким выражением, как будто обещал сборщикам колосьев покровительство мирового суда.

— Мы все будем собирать колосья, а нас — сила! Или Бургундия уж больше не Бургундия! — воскликнул Водуайе. — У жандармов сабли, а у нас — косы, посмотрим, кто кого!

В половине пятого широкие зеленые ворота бывшего церковного дома растворились, и караванная лошадка, которую вел под уздцы Жан, завернула на площадь. Г-жа Ригу и Анета вышли за калитку проводить хозяина, восседавшего на мягких подушках в покрашенной в зеленый цвет плетеной тележке с кожаным верхом.

— Не запаздывайте же, хозяин, — сказала Анета, чуть-чуть надув губки.

Все жители деревни уже знали о грозных приказах, подготавливаемых мэром, и, завидев тележку Ригу, выходили на порог или поджидали его на улице, полагая, что он едет в Суланж и там заступится за них.

— Ну вот, мадам Курткюис, бывший наш мэр поехал. Он не даст нас в обиду, — заметила старая пряха, которую живо интересовали лесные порубки, так как ее муж продавал в Суланже наворованные дрова.

— Господи боже мой! Сердце у него обливается кровью, когда он видит, что здесь творится; ему ведь это так же тяжело, как и нам, — ответила бедная женщина, дрожавшая при одном имени своего кредитора и страха ради восхвалявшая его.

— Да, что и говорить, нехорошо с ним поступили! Здравствуйте, господин Ригу! — с низким поклоном сказала старуха.

Когда ростовщик переправился через Туну, которую переезжали вброд в любое время года, Тонсар, выйдя из своего кабака, остановил его на кантональном тракте.

— Ну как, дядя Ригу, Обойщик, видно, считает нас за собак?

— Это мы еще посмотрим! — ответил ростовщик и стегнул лошадь.

— Он за нас заступится, — сказал Тонсар, обращаясь к кучке женщин и детей, столпившихся вокруг него.

— Он так же думает о вас, как трактирщик о пескарях, когда чистит сковороду, чтобы их жарить, — выпалил дядя Фуршон.

— Держи язык за зубами, коли ты пьян... — прикрикнул на деда Муш, дернув старика за блузу, и толкнул его под откос, где тот и растянулся у подножья тополя. — Если бы этот кобель монах услышал, что ты говоришь, тебе бы уж не содрать с него прежней цены за твои рассказы...

И в самом деле, поездка в Суланж была вызвана известием, доставленным эгским управляющим и, как полагал Ригу, угрожавшим тайной коалиции авонской буржуазии.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО СУЛАНЖА

Примерно в шести километрах от Бланжи, как официально считается, и на таком же расстоянии от Виль-о-Фэ, на холме, являющемся отрогом длинного хребта, параллельного другому хребту, у подножия которого протекает Авона, расположен амфитеатром городок Суланж, получивший эпитет «красивый», быть может, более заслуженно, нежели Мант.

У подножия этого холма течет по глинистому грунту запруженная речка Туна, образуя плесо около тридцати гектаров, в конце которого суланжские мельницы, приютившиеся на множестве маленьких островков, создают очаровательный архитектурный ансамбль, достойный фантазии декоратора по разбивке садов. Красавица Туна орошает Суланжский парк, питает его чудесные ру-

чьи и искусственные озера, а затем впадает в Авону.

Замок Суланж, один из красивейших замков Бургундии, перестроенный при Людовике XIV по рисункам Мансара, обращен фасадом к городу. Таким образом, и замок, и город, представляющие столь же изящное, сколь и великолепное зрелище, как бы любят друг друга. Кантональный тракт пролегает между городом и прудом, несколько пышно величаемым местными жителями «озером».

Маленький городок отличается замечательной естественной планировкой, что так редко во Франции, где подобного рода живописность совершенно отсутствует. Здесь вы в самом деле можете любоваться живописностью Швейцарии, как говорил в своем письме Блонде, живописностью окрестностей Невшателя. Веселые виноградники, опоясывающие Суланж, завершают это сходство, конечно, если не говорить о Юре и Альпах; дома на улицах, расположенных одна над другой по склону холма, стоят не тесно, так как при каждом доме есть сад, и утопают в зелени, которой так бедны столицы. Синие и красные крыши в сочетании с деревьями, цветами и увитыми зеленью террасами представляют яркое и гармоничное зрелище.

Старинная каменная церковь, памятник средневековья, построена иждивением владельцев Суланжа, за которыми сохранилась, во-первых, часовня возле клироса, а затем подвальная часовня — фамильная усыпальница. Портал церкви, как и у храма в Лонжюмо, представляет громадную аркаду, покрытую резьбой в виде цветочных венков, украшенную статуями и заканчивающуюся двумя островерхими столбами с нишами. Такой портал, довольно обычный для маленьких средневековых церквей, случайно уцелевших от разгрома, учиненного кальвинистами, завершается триглифом, над которым стоит скульптурное изображение богородицы с младенцем Иисусом на руках. Боковые приделы снаружи разделены нервюрами на пять глухих стрельчатых арок с витражами. Апсида опирается на контрфорсы, которые оказали бы честь любому собору. Колокольня, расположенная в одном из концов крестовидного здания, представляет собой четырехугольную башню со звонницей наверху. Церковь видна издали, ибо стоит в верхней части города, на площади, ниже которой пролегает дорога.

Довольно широкую городскую площадь окаймляет ряд своеобразных строений, относящихся к различным эпохам. Среди них много наполовину деревянных, наполовину кирпичных средневековых зданий с балками, облицованными шифером. Другие — каменные, с балконами и коньком на кровле, столь любезным сердцу наших прадедов, относятся к XII веку. Иные дома привлекают внимание своими старыми, выступающими, как навес, матицами с резными причудливыми фигурами, так что невольно вспоминаются те времена, когда буржуазия занималась только торговлей. Среди всех домов выделяется здание судебного присутствия, с лепным фасадом, стоящее на одной линии с церковью и прекрасно ее дополняющее. Проданный как национальное имущество, дом этот был куплен городской общиной и отведен под мэрию и мировой суд, в котором с момента учреждения должности мировых судей заседал г-н Саркюс.

Этот беглый набросок дает нам некоторое представление о суланжской площади, где на самой середине стоит прелестный фонтан, вывезенный в 1520 году из Италии маршалом де Суланжем и вполне достойный любой большой столицы. Четыре амура белого мрамора, увенчанные корзиной винограда, держат в руках раковины, из которых непрерывно струится вода, проведенная из родника с вершины холма.

Просвещенные путешественники, которым случится побывать в этих местах, если, конечно, сюда заедет еще какой-нибудь начитанный человек, кроме Блонде, признают в этой площади типичную площадь, которую обессмертил Мольер и испанский театр, так долго царивший на французской сцене; вот вам и доказательство, что родина комедии — жаркие страны, где жизнь протекает на городских площадях. Суланжская площадь тем более напоминает эту классическую площадь, совершенно тождественную на всех театральных сценах, что две главные улицы, выходящие на нее как раз против фонтана, образуют тут кулисы, столь необходимые господам и слугам и для встреч, и для убегания друг от друга. На углу одной из этих улиц, называемой Фонтанной, красуется вывеска с должностным значком нотариуса Люпена. Дома Саркюса, сборщика податей Гербе, г-на Брюне, секретаря суда Гурдона и брата его, врача, дом главного лесничего старика Жандрена-Ватбле — все содержится в большой чистоте владельцами, принимающими всерьез

прозвище своего городка, и расположены вблизи площади, в аристократическом квартале Суланжа.

Дом мадам Судри, — ибо бывшая горничная певицы Лагер оказалась весьма властной личностью и совершенно заслонила главу города, — дом этот, вполне современный по стилю, был построен богатым виноторговцем, уроженцем Суланжа, нажившим себе состояние в Париже и вернувшимся в 1793 году, чтобы заняться скупкой хлеба для своего родного города. Здесь он был сочтен за хлебного барышника и убит чернью, натравленной на него дядей Годэна, человеком дрянным, по профессии — каменщиком, с которым хлеботорговец поссорился из-за своей честлюбивой строительной затеи.

Ликвидация наследства виноторговца, из-за которого спорили дальние родственники, до того затянулась, что Судри, вернувшемуся в 1798 году в Суланж, удалось купить за тысячу экю наличными особняк виноторговца, который он сначала отдал внаймы департаменту под помещение для жандармерии. В 1811 году мадмуазель Коше, всегдашняя советчица Судри во всех его делах, горячо восстала против возобновления договора о найме, считая, что от «сожительства» с казармой, как она выражалась, дом стал непригоден для жилья. Город выстроил тогда при содействии департамента на одной из боковых улиц недалеко от мэрии специальный дом для размещения жандармов. Судри как следует вычистил свой особняк и восстановил его во всем его первоначальном блеске, утраченном от соседства конюшен и расквартирования жандармов.

Этот одноэтажный особняк с мансардой смотрит на три стороны: на площадь, на озеро и в сад. Четвертой своей стороной он выходит во двор, отделяющий дом супругов Судри от соседнего дома, принадлежащего бакалейщику Ватбле, одному из представителей «второразрядного» суланжского общества, отцу красавицы мадам Плиссу, о которой будет рассказано ниже.

В каждом провинциальном городке имеется своя красавица, свой Сокар и своя «Кофейня мира».

Нетрудно догадаться, что со стороны дома, выходящей на озеро, параллельно кантональному тракту устроена невысокая терраса-цветник, обнесенная каменной балюстрадой. С террасы опускается лестница в сад, на ступеньках которой поставлены в кадках апельсиновые, гранатовые, миртовые или иные декоративные деревья, а это значит, что где-нибудь в конце сада есть небольшая оранжерея, упорно называемая мадам Судри «ланжереей». Как водится в маленьких городках, на площадь выходит крыльцо в несколько ступеней; ворота открываются не часто: для разных домашних надобностей, когда подают экипаж хозяевам, и по случаю приезда редких гостей. Все обычные посетители являются пешком и проходят через крыльцо.

Стиль особняка Судри очень строг; кладка его каменных стен не сплошная, а, как говорят, желобчатая; окна обрамлены чередующимся крупным и мелким лепным орнаментом в духе украшений на особняках Габриэля и Перроне на площади Людовика XV. В таком маленьком городке подобного рода отделка придает дому монументальный вид, которым и славится этот особняк.

Против дома, на другом углу площади, находится знаменитая «Кофейня мира», но ее особенности, а в частности ее чудесное «Тиволи», потребуют от нас в дальнейшем значительно более подробного описания, чем описание особняка Судри.

Ригу очень редко приезжал в Суланж, обычно все ездили к нему — и нотариус Люпен, и Гобертен, и Судри, и Жандрен: такой он внушал всем страх. Однако здесь уместно будет обрисовать в нескольких чертах представителей так называемого «высшего суланжского общества», и тогда мы убедимся, что всякий искушенный человек проявил бы такую же сдержанность, как бывший бенедиктинец.

Самой оригинальной из всех этих особ, как вы сами догадываетесь, была мадам Судри, для изображения которой нужна очень искусная кисть.

Мадам Судри позволяла себе по примеру мадмуазель Лагер чуточку поддурманиваться; но в силу привычки эта легкая подрисовка постепенно превратилась в целые лепешки краски, так образно названные нашими предками «штукатуркой». Ввиду того что морщины на ее лице становились все глубже и многочисленней, супруга мэра надумала замазать их краской. На лоб, который неуклонно желтел, и на виски, которые начали сильно лосниться, она накладывала белила и наносила голубые разводы, долженствовавшие изображать нежные жилки молодости. Такая роспись

придавала совершенно исключительную живость глазам мадам Судри и без того плутоватым, и лицо ее, несомненно, произвело бы более чем странное впечатление на человека постороннего; но местное общество, привыкшее к этому искусственному блеску, считало супругу мэра очень красивой женщиной.

Сия бабелина носила открытые платья, оголяя спину и грудь, набеленные и напудренные не хуже лица. К счастью, под тем предлогом, что жалко держать в сундуках великолепнейшие кружева, она слегка прикрывала ими свои химические товары. Она носила лиф на китовом усе, с очень низко спущенным мысом, причем лиф этот был весь в бантиках, один сидел даже на самом мысу! Шелковая юбка, вся в оборках, издавала какой-то хруст.

В этот вечер наряд ее, оправдывающий слово «роброн», которое скоро перестанет быть кому-нибудь понятным, был сшит из дорогой камки, ибо у мадам Судри было не меньше сотни платьев, одно богаче другого, унаследованных от мадмуазель Лагер и перешитых по последней моде 1808 года. Чепчик с атласными бантами такого же вишневого цвета, как и ленты, украшавшие платье, гордо сидел на завитом и напудренном белокуром парике.

Если вы вздумаете представить себе этот сверхкокетливый чепчик, а под ним безобразное обезьянье лицо, курносое, как череп, с мясистой и усатой верхней губой, рот с вставной челюстью, издающий трубные звуки, как охотничий рог, — вам будет трудно понять, почему высшее суланжское общество, да и весь Суланж, считали красивой эту провинциальную королеву; разве только вам придет на память небольшой трактат, недавно написанный *ex professo*⁴⁷ одной из умнейших женщин нашего времени, трактат об искусстве красоты, доступном парижанкам, имеющим под рукой все нужные средства.

И в самом деле, во-первых, мадам Судри окружали великолепные вещи, подаренные покойной хозяйкой и ходившие у бывшего бенедиктинца под названием *fructus belli*⁴⁸. Затем она умело пользовалась своим безобразием, всячески преувеличивая его и щеголяя осанкой и манерами, которые приобретаются только в Париже и секрет которых известен всем парижанкам, даже самым простым, ибо все парижанки в большей или меньшей степени обезьяны. Она затягивалась в корсет, подкладывала огромный турнюр, носила в ушах бриллиантовые серьги, а пальцы унизывала кольцами. Наконец, у выреза лифа меж двумя глыбами, покрытыми толстым слоем белил, сверкал майский жук, сделанный из двух топазов, с алмазной головкой, — подарок «дорогой покойницы» и предмет разговора для всего департамента. Как и ее покойная хозяйка, мадам Судри всегда носила платья с короткими рукавами и обмахивалась веером, разрисованным Буше, с пластинками слоновой кости и двумя розочками вместо застежек.

Выходя из дома, мадам Судри держала над головой подлинную «омбрельку» XVIII века, то есть длиннейшую тросточку, увенчанную зеленым зонтиком с шелковой зеленой бахромой. Когда она прогуливалась по террасе, прохожий мог бы принять ее издали за фигуру с картины Ватто.

В ее гостиной, обитой узорчатым красным штофом, на окнах висели занавески из того же штофа на белой шелковой подкладке, на камине с полным каминным прибором и бордюром, изображающим ветки лилий, которые поднимают вверх амуры, красовались разные китайские безделушки эпохи Людовика XV, вдоль стен стояла золоченая мебель на козых ножках; и нечего удивляться, что суланжские жители называли хозяйку такой гостиной — «красавица мадам Судри!» Дом стал национальной гордостью кантонального центра.

Если высшее общество этого крошечного городка верило в свою королеву, то и сама королева тоже была преисполнена веры в себя. Нередко тщеславный автор входит в роль героя своего литературного произведения, а тщеславная мать в роль своей дочери-невесты, точно так же и девица Коше за эти семь лет так вошла в роль «супруги господина мэра», что не только позабыла о своем прошлом положении, но вполне искренно стала считать себя «дамой». Она хорошо усвоила манеру держать голову, нежный голосок, движения и повадки своей хозяйки, а приобретя соответствующее благосостояние, приобрела и наглость. Она «как свои пять пальцев знала XVIII век», анекдоты из жизни вельмож и их родословную. Такая лакейская наторенность давала ей темы для раз-

47 Со знанием дела (лат.).

48 Трофеи войны (лат.).

говоров, отзывавшихся дворцовой передней. В Суланже ее ум субретки сходил за ум высшей пробы. В духовном отношении «супруга мэра» была, так сказать, поддельным бриллиантом, но разве поддельный бриллиант в глазах дикаря не сойдет за настоящий?

Ей, как некогда ее хозяйке, курили фимиам, ей льстили окружающие, которых она каждую неделю кормила обедами и угощала кофе и ликерами, когда им случалось застать ее за десертом, — *случайность*, повторявшаяся довольно часто. Какая женщина устоит против такого непрерывного восхваления, радующего сердце! Зимой тепло натопленную и освещенную свечами гостиную заполняли первые богачи города, которые платили комплиментами за тонкие ликеры и изысканные вина, поступившие из погребов «дорогой покойницы». Постоянные гости и их жены, пользуясь чужой роскошью, экономили на отоплении и освещении своих собственных домов. А посему, знаете ли вы, какие разговоры велись за пять лье в округности и даже в Виль-о-Фэ? Когда речь заходила о департаментской знати, говорили: «Мадам Судри прекрасная хозяйка, дом ее всегда открыт для гостей; она умеет принять, умеет блеснуть своим богатством! А какая она веселая, находчивая! А какая у нее сервировка! Таких домов нигде не найти, кроме Парижа!»

Серебряная посуда, подаренная певице Лагер откупщиком Буре, великолепная посуда работы знаменитого Жермена, была в полном смысле этого слова украдена бывшей горничной. Как только скончалась мадмуазель Лагер, она попросту перетащила весь сервиз к себе в комнату, а наследники его не потребовали, ибо не знали о его существовании.

С некоторых пор двенадцать или пятнадцать суланжских обывателей, составлявших местное высшее общество, говорили о мадам Судри, как о близкой подруге мадмуазель Лагер, приходили в негодование при слове «горничная» и утверждали, что, став «подругой» великой актрисы, супруга мэра принесла себя в жертву певице.

Странное, однако бесспорное явление! Все эти иллюзии, преобразавшие действительность, распространились и на сердечную область: мадам Судри деспотически властвовала над своим мужем.

Господин Судри, которому выпало на долю любить женщину на десять лет старше себя, полновластную хозяйку своего капитала, поддерживал в супруге высокое представление о ее красоте, в которой в конце концов она и сама уверилась. И все же, когда завидовали его счастью, он иногда желал, чтобы завистники побывали в его шкуре — ведь чтобы скрыть свои грешки, ему приходилось прибегать к таким же уловкам, к каким прибегают при молодой и обожаемой жене; и лишь совсем недавно ему удалось взять в дом хорошенькую служанку.

Портрет суланжской королевы несколько карикатурен, но в провинции тех времен такие типы встречались и в среде более или менее дворянской, и в кругах денежной буржуазии, — взять хотя бы вдову генерального откупщика в Турени, прикладывавшую к щекам ломтики парной телятины; портрет этот, написанный с натуры, был бы незаконченным без обрамляющих его бриллиантов, то есть без главных придворных: краткое описание их совершенно необходимо хотя бы для того, чтобы показать, насколько опасны подобные пигмеи и как создается общественное мнение в провинциальной глуши. Только надо правильно представить себе обстановку: есть селения вроде Суланжа, которые нельзя назвать ни местечком, ни деревней, ни городком, а все-таки они обладают свойствами и местечка, и деревни, и городка. Физиономии их обывателей совершенно иные, чем в каком-нибудь большом, благоустроенном и злом провинциальном городе; тут деревенский обиход отражается на нравах, и такое смешение красок порождает иногда воистину оригинальные фигуры.

Самым важным лицом после мадам Судри был нотариус Люпен, поверенный в делах семейства Суланжей, а говорить о главном лесничем, девяностолетнем Жандрене-Ватбле, не стоит — старик уже был на краю могилы и не выходил из дому с момента восшествия на престол мадам Судри; однако в качестве человека, занимавшего свою должность со времен Людовика XV, он когда-то царил в Суланже и еще теперь в минуты просветления иногда вспоминал суд Мраморного стола⁴⁹.

49 Суд Мраморного стола. — В XVIII в. смотрители вод и лесов пользовались правом суда на своих участках. Апелляционный суд по вынесенным ими приговорам заседал в Париже, в здании судебных установлений за мраморным столом, отчего и пошло название суда.

Несмотря на свои сорок пять лет, Люпен благодаря несколько избыточной полноте, свойственной людям, ведущим сидячий образ жизни, был еще свеж и румян и любил петь романсы. Поэтому он по-прежнему заботился о своем костюме, как это приличествует салонному певцу. В провинции он мог сойти за парижанина — такие он носил светло-желтые жилеты, облегаящие сюртуки, пышные шелковые галстуки, модные панталоны и начищенные до глянца сапоги. Он завивался у суланжского парикмахера, местного сплетника, и слыл баловнем женщин благодаря связи с мадам Саркюс, женой Саркюса-богатого, сыгравшей в его жизни ту же роль, что итальянские походы в жизни Наполеона. Только он один часто бывал в Париже, где был принят в семье Суланжей. Зато достаточно было его послушать, чтобы сразу догадаться, каким он пользовался авторитетом в качестве фата и законодателя мод. Свое безапелляционное мнение о любом предмете он выражал словечком «мазня», позаимствованным из жаргона художников и применявшимся г-ном Люпеном в трех вариантах.

Человек, мебель, женщина — все могло быть «мазней»; следующая степень порицания — это «так себе мазня» и, наконец, самая высшая — «архимазня». «Архимазня» — это то же, что у художников слово «бездарность», то есть верх презрения. Просто «мазня» еще поддается исправлению, «так себе мазня» уже безнадежна, но «архимазня», о! лучше уж вовсе ей не появляться на свет!.. Похвала его сводилась к слову «преlestно!», повторенному надлежащее число раз. «Преlestно!» определяло положительную степень его удовлетворения. «Преlestно! Преlestно!» — вы могли еще не волноваться. Но «Преlestно! Преlestно! Преlestно!» — идти дальше уже некуда, ибо верх совершенства достигнут.

Сей протоколист — ибо он сам называл себя протоколистом, чернильной душой и бумажным скрепщиком, несколько свысока иронизируя над занимаемым им положением, — итак, сей протоколист не шел дальше галантных комплиментов в своих отношениях с супругой мэра, питавшей к нему некоторую слабость, хотя он был блондином и носил очки. А бывшей горничной нравились усачи-брюнеты, с волосатыми руками, словом, Алкиды⁵⁰. Но для Люпена она делала исключение, очень уж он был шикарен; кроме того, она полагала, что для полного ее триумфа в Суланже ей необходим обожатель. Однако, к великому огорчению г-на Судри, поклонники королевы при всем своем обожании не решались склонить ее к супружеской неверности.

Господин Люпен пел альтом; иногда он брал несколько нот где-нибудь в уголке гостиной или на террасе — так обычно напоминают любители о своем таланте; этой слабости не удается избежать ни одному любителю, увы, даже самому талантливому.

Люпен женился на богатой наследнице, но совсем простой девушке, единственной дочери торговца солью, разбогатевшего во время революции; благодаря общему противодействию пошлине на соль продавцы контрабандной соли тогда наживали огромные барыши. Люпен благоразумно держал свою жену, именуемую им «Крошкой», дома, против чего она не возражала, ибо питала платоническую страсть к красавцу писцу по фамилии Бонак, жившему на мизерное жалование, но игравшему во второразрядном суланжском обществе ту же роль, что его патрон — в высшем.

Мадам Люпен, женщина совсем необразованная, появлялась лишь в самых торжественных случаях, похожая на огромную разодетую в бархат бургундскую бочку, завершавшуюся маленькой головкой, словно вдавленной в рыхлые плечи какого-то сомнительного оттенка. Пояс ее никак не желал сидеть на положенном ему месте. Крошка наивно заявляла, что боится за свою жизнь и поэтому не носит корсета. Словом, при самом пылком воображении поэта, больше того, даже при фантазии изобретателя, невозможно было заметить на спине Крошки и признака бороздки, образуемой изгибом позвоночника и пленяющей нас у всякой женщины, достойной быть причисленной к «прекрасному полу».

Круглая, как черепаха, Крошка принадлежала к разряду беспозвоночных. Ее непомерная тучность, надо полагать, обеспечивала Люпену полное спокойствие, и его не тревожило сердечное увлечение толстухи, которую он, ничтоже сумняшеся, называл Крошкой, что ни у кого не вызыва-

⁵⁰ Алкиды — потомки мифологического героя древних греков — Персея и его сына Алкея. К ним принадлежал и Геракл.

ло смеха.

— Что такое, собственно, ваша жена? — как-то спросил его Саркюс-богатый, обиженный словом «архимазня», которым Люпен окрестил столик, купленный Саркюсом по случаю.

— Моя жена не похожа на вашу, она еще не определилась, — ответил Люпен.

Под внешней простотой Люпен скрывал тонкий ум, он благоразумно умалчивал о своем состоянии, по меньшей мере не уступавшем состоянию Ригу.

Отпрыск г-на Люпена приводил в отчаяние своего родителя. Амори, один из местных донжуанов, не желал следовать по стопам отца: злоупотребляя выгодным положением единственного сына, он не раз потрошил отцовскую кассу, однако папаша был снисходителен и при каждой новой проказе сыночка говорил: «Я ведь тоже был таким!» Амори никогда не появлялся у г-жи Судри, она его «бесила» (sic!), ибо, по старой привычке бывшей горничной, вздумала заняться «воспитанием» молодого человека, которого больше всего привлекала бильярдная «Кофейни мира». Там он водил компанию с низами суланжского общества и даже с такими субъектами, как Бонебо. Он никак не мог «перечумиться» (словечко мадам Судри) и на все увещания отца твердил одно: «Отправьте меня в Париж, мне здесь скучно!»

Люпен кончил тем же, чем — увы! — кончают все красавцы мужчины, — почти супружеской связью. Его общеизвестной привязанностью была жена второго судебного пристава при мировом суде Эфеми Плиссу, от которой у него не было тайн. Прекрасная мадам Плиссу, дочь бакалейного торговца Ватбле, царила во вторых рядах суланжского общества, как мадам Судри в первых его рядах. Супруг ее, г-н Плиссу, неудачливый соперник г-на Брюне, принадлежал к второразрядному суланжскому обществу, так как в высшем его презирали за то, что он, по слухам, открыто потакал поведению жены.

Точно так же как Люпен был признанным музыкальным талантом этого высшего общества, местный врач, г-н Гурдон, был его признанным ученым... О нем говорили: «У нас здесь есть первоклассный ученый». Мадам Судри (великий знаток по части музыки, ибо по утрам она впускала Пиччини и Глюка к своей хозяйке, а вечером одевала мадмуазель Лагер для театра) убеждала всех окружающих и даже самого Люпена, что он мог бы нажить себе состояние голосом, и она же выражала сожаление, что г-н Гурдон не спешит обнародовать свои «открытия».

Господин Гурдон попросту повторял мысли Бюффона и Кювье о земном шаре, но вряд ли это могло создать ему репутацию ученого в глазах обывателей Суланжа; нет — он собирал коллекцию раковин, составлял гербарий и умел набивать чучела. А главное, он задался замечательной мыслью завещать свой естественноисторический кабинет городу Суланжу и с тех пор прослыл во всем департаменте великим натуралистом и преемником Бюффона.

Суланжский ученый походил на женеvского банкира, правда, он не обладал капиталами и расчетливым умом швейцарских финансистов, зато отличался таким же педантизмом, холодностью и пуританской чистотой; с великой обязательностью показывал он свое знаменитое собрание редкостей: медведя и сурка, почивших при следовании через Суланж, всех грызунов департамента: полевых и домашних мышей, землероек, крыс и т. д., всех редкостных птиц, убитых на территории Бургундии, среди которых красовался альпийский орел, добытый на Юре. У г-на Гурдона была также коллекция чешуекрылых — слово, вызывавшее представление о фантастических чудовищах, но при виде экспонатов посетители разочарованно восклицали: «Да ведь это бабочки!» Кроме того, у него имелось прекрасное собрание окаменелых раковин из коллекций, завещанных ему несколькими умершими друзьями, и, наконец, минералы Бургундии и Юры.

Все эти богатства, хранившиеся в застекленных шкафах, в выдвижных ящиках которых помещались коллекции насекомых, занимали весь второй этаж дома Гурдона и производили впечатление ярлыками с причудливыми названиями, пестротой красок и своим количеством, хотя мы совершенно не замечаем их в жизни и восхищаемся ими только, когда они положены под стекло. Для осмотра собрания редкостей г-на Гурдона назначались особые дни.

— У меня, — говорил он посетителям, — пятьсот орнитологических экспонатов, двести млекопитающих, пять тысяч насекомых, три тысячи раковин и семьсот минералогических образцов.

— Какое надо было иметь терпение! — восклицали дамы.

— Надо же что-нибудь делать для своего родного края, — отвечал он.

Он извлекал огромную выгоду из этих животных останков, неизменно говоря: «Я все отказал городу». И посетители приходили в восторг от его филантропии. Поговаривали, что после смерти врача надо отвести весь третий этаж мэрии под «Музей имени Гурдона».

— Я рассчитываю на признательность моих сограждан и полагаю, что музею будет присвоено мое имя, — отвечал он на такого рода предложения. — Конечно, я не смею надеяться, что в нем будет установлен мой мраморный бюст...

— Ну, что вы! Да это самое меньшее, что может сделать для вас город! — протестовали сограждане. — Ведь вы же слава Суланжа!

И в конце концов он сам стал считать себя бургундской знаменитостью. Самые верные проценты нам приносит не капитал, вложенный в государственные бумаги, а капитал, вложенный в дела самолюбия. Итак, прибегнув к грамматической системе Люпена, можно сказать, что суланжский ученый муж был счастлив, счастлив, счастлив!

Секретарь мирового суда Гурдон, щедедушный человечек, у которого все черты лица как бы сходились к носу, так что нос казался исходной точкой для лба, щек и губ, точно так же, как лоцины, сбегаящие с горы, тянутся от ее верхушки, — секретарь мирового суда считался одним из видных поэтов Бургундии, своего рода Пироном⁵¹. Памятуя о двойной славе обоих братьев, в департаментском центре говорили: «У нас в Суланже есть братья Гурдоны, оба выдающиеся люди, они не посрамили бы и Парижа».

Господин Гурдон-младший был первоклассным игроком в бильбоке, а страсть к бильбоке породила в нем другую страсть — желание воспеть в стихах эту игру, по которой сходили с ума в XVIII веке. Страсти частенько одолевают «медиократов» попарно. Гурдон-младший родил свою поэму в царствование Наполеона. А это значит, что он принадлежал к здоровой и благоразумной школе. Он почитал Люса де Лансиваль⁵², Парни⁵³, Сен-Ламбера⁵⁴, Руше⁵⁵, Виже⁵⁶, Андрие⁵⁷, Бершу⁵⁸. Делиль⁵⁹ был его кумиром до той минуты, пока высшее суланжское общество не возбудило вопроса, не следует ли считать Гурдона выше Делиля, и с тех пор секретарь суда с преувеличенной вежливостью стал называть его «господином аббатом Делилем».

Поэмы, созданные между 1780—1814 годами, были скроены по одному шаблону, и одной поэмы, посвященной бильбоке, совершенно достаточно, чтоб составить себе представление об остальных. Все они в некотором роде фокус. «Налой»⁶⁰ надо считать Сатурном этого недоношенного поколения шуточных поэм, почти всегда состоящих из четырех песен, потому что доводить объем поэмы до шести песен значило бы перегрузить тему.

Поэма Гурдона, озаглавленная «Бильбокеида», была строго подчинена совершенно тождественным и раз навсегда установленным правилам поэтики, которым подчиняются все подобные департаментские творения: в первой песне обычно дается описание восплаваемого предмета, и на-

51 *Пирон* Алексис (1689—1773) — французский поэт, писавший комедии, сатиры и пародии.

52 *Люс де Лансиваль* (1764—1810) — французский писатель, автор трагедии «Гектор».

53 *Парни* Эварнст (1753—1814) — один из наиболее талантливых представителей легкой, преимущественно эротической французской поэзии конца XVIII в.

54 *Сен-Ламбер* Жан-Франсуа (1716—1803) — французский поэт, автор поэмы «Времена года».

55 *Руше* Жан-Антуан (1745—1794) — французский поэт, казненный во время революции.

56 *Виже* Луи (1768—1820) — французский поэт, восплававший Наполеона, а после Реставрации — Бурбонов.

57 *Андрие* Франсуа (1759—1833) — французский писатель, получивший за свои комедии и сказки в стихах прозвище «последний классик».

58 *Вершу* Жозеф (1765—1839) — автор дидактической поэмы «Гастрономия».

59 *Делиль* Жак, аббат (1738—1813) — французский поэт, переводчик произведений Вергилия и Мильтона.

60 «*Налой*» — героико-комическая поэма Буало, написанная в 1674 г.

чинается она, как у Гурдона, торжественным обращением, примером коего могут служить следующие строфы:

Пою прелестную игру для всех сословий:
Для тех, кто стар и мал, кто глуп, кто потолковой;
Когда берет рука заостренный самшит
И шар о двух дырах подбросить вверх спешит.
О дивная игра, над скукою победа.
Одна из выдумок, достойных Паламеда⁶¹!

Ты, Муза дивная, благоволи с вершин
Под кровлю снизойти, где я, Фемиды сын,
На гербовых листах сии слагаю строки,
Приди и очаруй...

Объяснив, в чем состоит игра, и дав описание наиболее красивых из всех известных бильбоке, показав, какое значение имело бильбоке для развития токарного промысла и, в частности, для процветания мастерской под фирмой «Зеленая обезьяна», разъяснив отношение этой игры к статистике, Гурдон заканчивал свою первую песню следующими строками, которые напоминают заключительные строки первой песни всех подобных поэм:

Так сочетаются Искусство и Наука
К взаимной выгоде, чтоб осветить предмет,
Что развлечение и радость нам дает.

Вторая песня, как всегда посвященная описанию различных способов пользования «предметом» и преимуществ, кои он дает в обхождении с женским полом и в свете, будет целиком ясна любителям этой премудрой литературы по одной нижеприводимой цитате, рисующей игрока, который проделывает свои упражнения на глазах у «любимого предмета»:

Вот вам один игрок, — взгляд на него лишь бросьте!
Как зорко он глядит на шар слоновой кости;
Дыханье затаив, он смотрит, он следит,
Как линию свою шар в воздухе чертит:
Диск трижды описать параболу стремится,
Как будто бы кадя пред милой чаровницей.
А если проскочил и перст зашиб чуть-чуть,
С лобзанием игрок спешит к персту прильнуть.
Чудак! Тебе ль рыдать над сделанной ошибкой!
Ведь ты вознагражден божественной улыбкой.

Именно это описание, достойное пера Вергилия, поставило под вопрос превосходство Делиля над Гурдоном. Слово «диск», против которого восставал здравомыслящий Брюне, дало пищу спорам, продолжавшимся без малого год, но на одном из вечеров, когда обе стороны уже дошли до белого каления, Гурдон-ученый уничтожил партию «антидискистов» следующим замечанием: «Луна, называемая поэтами диском, на самом деле шар».

— Почем вы знаете? — ответил Брюне. — Ведь мы видим только одну ее сторону?

Третья песня содержала совершенно обязательную повествовательную часть и заполнена была пресловутым анекдотом о бильбоке. Все знают наизусть этот анекдот, связанный с одним

⁶¹ Паламед — один из греческих мифологических героев Троянской войны. В «Илиаде» ему приписывается изобретение весов, диска и различных игр.

видным министром Людовика XVI; но согласно формуле, освященной газетой «Деба» в годы с 1810 по 1814, для восхваления бильбоке, этого своеобразного вида общественной повинности, *«анекдот позаимствовал новые прелести у поэзии и у красот, рассыпанных автором по его строкам»*.

Четвертая песня, подводившая итог всему произведению, заканчивалась смелыми стихами, не подлежавшими опубликованию в 1810—1814 годах, но увидевшими свет в 1824 году, после кончины Наполеона:

В то время как я пел, грома войны гремели!
Когда б цари других орудий не имели,
Когда бы наш народ среди густых дубрав,
Довольный, не искал себе иных забав,
То вся Бургундия, что днесь живет столь бурно,
Вновь обрела бы дни и Реи и Сатурна⁶².

Эти прекрасные стихи были напечатаны в первом и единственном издании, вышедшем из-под печатного станка виль-о-фэйского типографа Бурнье.

Сто подписчиков, пожертвовав на это дело по три франка каждый, обеспечили поэме бессмертие, пример которого весьма опасен; и жест этот был тем более красив, что все сто доброжелателей слышали поэму и целиком, и по кусочкам не менее ста раз.

Мадам Судри упразднила в конце концов бильбоке, красовавшееся на отдельном столике в ее гостиной и в течение семи лет подававшее повод к чтению выдержек из вышеупомянутой поэмы; она поняла, что бильбоке составляет ей конкуренцию.

Для характеристики автора, похвалявшегося тем, что портфель его богат и другими стихами, достаточно привести его подлинные слова, в которых он объявил высшему суланжскому обществу о существовании у него соперника.

— Знаете ли вы странную новость? — сказал он года за два до описываемых нами событий. — В Бургундии есть еще один поэт⁶³... Да, — продолжал он, заметив удивление, отразившееся на всех лицах, — он из Макона. Но вам никогда не вообразить, *чем он занимается* ! Он воспекает облака в стихах...

— А между тем облака не плохи и в небесах, — заметил остряк дядя Гербе.

— Прямо какая-то дьявольская тарабарщина! Тут и озера, и звезды, и волны... Ни одного осмысленного образа, никакой назидательности, он совершенно профан в поэзии. Небо он называет попросту небом, луну — луной, а не ночным светилом. Вот до чего может довести жажда оригинальности! — с болью в голосе воскликнул Гурдон. — Бедный молодой человек! Быть бургундцем и воспевать воду, — просто жалость берет! Если бы он обратился ко мне за советом, я указал бы ему прекраснейший в мире сюжет, — поэма о вине, Вакхеида, — сюжет, для которого я уже чувствую себя слишком старым.

Великий поэт так и не узнал никогда о величайшем из своих триумфов (которому он, впрочем, был обязан своим бургундским происхождением): он занял внимание города Суланжа, ничего не знавшего о плеяде современных поэтов, не слышавшего даже их имен!

Целая сотня Гурдонов бряцала на лире в эпоху Империи, ну, как же можно обвинять это время в пренебрежении к литературе!.. Загляните в «Вестник книжной торговли», и вы в нем найдете поэмы, посвященные токарному станку, шашкам, триктраку, географии, типографскому делу, комедии и т.д., не говоря уже о прославленных творениях Делиля, трактующих о Сострадании, Воображении, Беседе, или творениях Бершу о Гастрономии, Танцомании и т.д. Быть может, лет через пятьдесят будут смеяться над бесчисленными поэмами, подражающими «Размышлениям», «Вос-

62 *Рея и Сатурн* — древнейшие верховные божества греческой и римской мифологии. К царствованию Сатурна древние относили «золотой век» — легендарную эпоху изобилия и мира на земле.

63 «...в Бургундии есть еще один поэт». — Имеется в виду представитель реакционного романтизма поэт Ламартин, родившийся в бургундском городе Маконе в 1790 г.

точным песням» и прочим. Кто может предвидеть изменения вкуса, причуды моды и превращения человеческого духа? Новые поколения сметают на своем пути идолов и отливают себе новые ку-миры, которые будут, в свою очередь, низвергнуты.

Благообразный пегенький старичок Саркюс одновременно служил и Фемиде, и Флоре, то есть закону и своей теплице. Он уже двенадцать лет обдумывал сочинение под заглавием «История института мировых судей», «политическая и судебная роль коих, — говорил он, — с течением времени видоизменялась несколько раз, ибо по брюмеровскому кодексу IV года они были все-ильны, а в данный момент этот весьма ценный для государства институт утратил всякое значение вследствие несоответствия жалования со столь ответственной должностью, которую следовало бы сделать несменяемой».

Саркюс, слывший человеком большого ума, считался великим политиком в гостинной мадам Судри; нетрудно догадаться, что он попросту был самым скучным из всех ее посетителей. Про него рассказывали, что он говорит, как по-писаному; Гобертен сулил ему крест Почетного легиона, но приурочивал это награждение к тому времени, когда сам в качестве преемника Леклерка займет депутатское место на скамьях левого центра.

Податной инспектор Гербе, присяжный остроумец, грузный толстяк с лоснящимся лицом, в накладке из фальшивых волос на темени и в золотых серьгах, вечно воевавших с воротником его рубашки, питал склонность к помологии⁶⁴. Он был горд своим фруктовым садом, лучшим в округе, — он снимал первые плоды месяцем позже, чем они появлялись в Париже; в своих тепличках он разводил самые «тропические» растения, как-то: ананасы, персики и зеленый горошек. Он с гордостью подносил мадам Судри букетик земляники, когда в Париже она продавалась по десяти су за корзину.

Наконец, в лице аптекаря, г-на Вермю, Суланж имел своего химика, бывшего несколько более химиком, нежели Саркюс государственным деятелем, Люпен — певцом, Гурдон-старший — ученым, а брат его — поэтом. Тем не менее высшее городское общество мало ценило г-на Вермю, а для второразрядного он и вовсе не существовал. Возможно, что одни инстинктивно чувствовали действительное превосходство этого всегда молчаливого и задумчивого человека, насмешливо улыбавшегося в ответ на высказываемые глупости, и потому к учености его относились весьма подозрительно и втихомолку ставили ее под большой вопрос; а другие не утруждали себя суждениями о нем.

Вермю был козлом отпущения в гостинной мадам Судри. Никакое общество не может считаться полным, если в нем нет своей жертвы, кого-нибудь, вызывающего насмешки, презрение или покровительственно-снисходительную жалость. Вермю, вечно занятый научными вопросами, являлся в плохо повязанном галстуке, в незастегнутом жилете, в зелененьком затрапезном сюртучке. Он подавал повод к шуткам и лицом своим, до того круглым и гладким, что дядя Гербе уверял, будто оно в конце концов стало похоже на ту часть тела, которую он пользовал.

Дело в том, что в провинции, в медвежьих углах вроде Суланжа, аптекари еще практикуют на манер аптекарей из комедии «Пурсоньяк». Сии почтенные мужи делают это тем охотнее, что берут особое вознаграждение за вызовы на дом.

Этот маленький человечек, наделенный терпением истого химика, «не одолел» своей жены (так говорят в провинции, желая выразить царящее в доме безначалие), очаровательной веселой женщины и к тому же прекрасного карточного партнера (она, не поморщившись, проигрывала по сорок су в вечер), которая всячески поносила мужа, преследовала его насмешками и выставляла дураком, способным выпечивать из своих воронок одну только скуку. Г-жа Вермю принадлежала к тем женщинам, которые в провинциальных городах играют роль «души общества»; она вносила в этот ограниченный мирок много соли, правда, только кухонной, но зато какой соли! Она позволяла себе иногда несколько смелые шутки, но они ей прощались; она могла сказать седовласому семидесятилетнему старику, кюре Топену:

— Молчать, мальчишка!

У суланжского мельника, имевшего пятьдесят тысяч франков ежегодного дохода, была

64 Наука о разведении культурных плодовых деревьев.

единственная дочь, которую Люпен прочил в жены своему сыну Амори, с тех пор как потерял надежду женить его на мадмуазель Гобертен, а председатель суда Жандрен прочил эту девицу своему сыну, регистратору в управлении по закладу недвижимых имуществ; это порождало известную вражду.

Мельник, некий Саркюс-Топен, был местным Нусингеном; он слыл за архимиллионера, но наотрез отказывался принимать участие в каких бы то ни было коммерческих операциях, был занят размолот зерна, стремясь захватить все местные мельницы в свои руки, и отличался полным отсутствием учтивости и хороших манер.

Дядя Гербе, брат содержателя почтовой станции в Куше, имел примерно десять тысяч франков годового дохода, не считая дохода от сбора податей. Гурдоны были богаты: врач был женат на единственной дочери главного лесничего старика Жандрена-Ватбле, смерти которого ждали со дня на день, а секретарь суда — на племяннице и единственной наследнице суланжского кюре аббата Топена, толстого попа, засевшего в своем приходе, как крыса в кладовой.

Ловкий суланжский церковнослужитель был всецело предан высшему кругу, приветлив и обходителен со средним и пастырски строг с бедняками, в городе он пользовался общей любовью; он приходился родственником мельнику и Саркюсам, был местным уроженцем и принадлежал к авонской «медиократии». Ради экономии он обедал в гостях, ездил по свадьбам, но удалялся до начала бала; разговоров на политические темы избегал и, отправляя требы, говорил: «Это мое ремесло!» И его не трогали и говорили: «У нас хороший кюре!» Епископ, прекрасно знавший суланжских обывателей, не переоценивал аббата Топена, но посчитал себя счастливым, что назначил в такой город священника, не отпугивающего население от религии, умеющего привлечь в церковь молящихся и произносящего проповеди перед мирно дремлющими старухами.

Обе *дамы* Гурдон — ибо в Суланже так же, как в Дрездене и в ряде других немецких столиц, люди высшего общества, встречаясь друг с другом, говорят: «Как здоровье вашей дамы?», или: «С ним не было его дамы», или: «Я видел его даму и его барышню» и т.д.; парижанин бы оскандалился, был бы обвинен в невоспитанности, если бы сказал: «женщины», «эта женщина» и т.п.: в Суланже так же, как в Женеве, Дрездене и Брюсселе, существуют только супруги; там, правда, не принято, как в Брюсселе, писать на вывесках: «Супруга такого-то», но говорить «ваша супруга» совершенно обязательно: итак, обе *дамы* Гурдон могли быть сопоставлены лишь с теми жалкими фигурантками второразрядных театров, которые хорошо знакомы парижанам, не раз смеявшимся над этого сорта *артистками*. Для полной характеристики обеих *дам* достаточно сказать, что они принадлежали к разряду *славных бабенок*, тогда любой, даже самый необразованный обыватель, легко найдет среди окружающих образцы этого основного женского типа.

Нечего и говорить, что дядюшка Гербе считался знатоком в финансовых вопросах, а Судри, по общему мнению, мог бы занять пост военного министра. Словом, каждый из этих почтенных буржуа отличался какой-нибудь особой причудой, столь необходимой в провинциальном быту, и, не зная соперников, рьяно возделывал свой собственный участок на полях тщеславия.

Если бы Кювье, не раскрывая своего инкогнито, проездом побывал здесь, суланжское высшее общество убедило бы его, что по сравнению с познаниями Гурдона-врача его познания ничтожны. Нури⁶⁵ с его «приятным жиденьким голосочком», — как говорил с покровительственной снисходительностью нотариус, — едва ли оказался бы достойным вторить «суланжскому соловью». А что касается автора «Бильбокеиды», печатавшейся в это время у Бурнье, то никому не верилось, чтобы в Париже нашелся равный ему по силе поэт, ибо Делиля уже не было в живых.

Итак, эта самоупоенная провинциальная буржуазия считала, что может первенствовать над любой общественной величиной. Только люди, которые более или менее долго жили в захолустных городках, способны представить себе выражение глубокого самодовольства, разлитое на лицах суланжских обывателей, возомнивших себя солнечным сплетением Франции; эти люди, наделенные поразительным талантом на всякие пакости, со свойственной им мудростью решили, что один из героев Эслинга — трус, что г-жа де Монкорне — «интриганка, у которой хвост замаран», что аббат Бросет — мелкий честолюбец; уже через две недели после продажи с торгов Эгов им

65 Нури Адольф (1802—1839) — французский оперный певец.

стало известно простонародное происхождение генерала, и они прозвали его Обойщиком.

Если бы Ригу, Судри и Гобертен жили в Виль-о-Фэ, они непременно перессорились бы, их интересы неизбежно столкнулись бы. Но волею судеб бланжийский Лукулл испытывал потребность в одиночестве, дабы в свое удовольствие спокойно вести свои ростовщические махинации и предаваться сладострастию; мадам Судри оказалась достаточно сообразительной и поняла, что может царить только в Суланже, а Гобертен сосредоточил свою деятельность в Виль-о-Фэ. Те, кто изучают природу социальных явлений, должны согласиться, что несчастный рок преследовал генерала де Монкорне, ибо его враги жили не в непосредственном соседстве и осуществляли свои честолюбивые замыслы на известном расстоянии друг от друга, что предохраняло эти светила от столкновения и удесятерило их способность вредить.

Суланжские достойные буржуа, гордые своим благополучием, считали свое общество в отношении приятности много выше общества Виль-о-Фэ и с комической важностью повторяли вошедшую у них в поговорку фразу: «Суланж — город удовольствий и хорошего общества»; однако было бы весьма неосмотрительно предположить, что авонская столица мирилась с таким главенством. В салоне Гобертен под сурдинку посмеивались над салоном супругов Судри. Уже по одному тому, как Гобертен говорил: «У нас город коммерческий, город деловой, мы по глупости своей и скуки ради наживаем деньги!» — нетрудно было почувствовать легонький антагонизм между землей и луной. Луна полагала, что она полезна земле, а земля командовала луной. Впрочем, луна и земля жили в полном согласии. На масленице все высшее суланжское общество скопом выезжало на четыре бала, дававшиеся Гобертенем, Жандреном, сборщиком податей Леклерком и прокурором — Судри-сыном. Каждое воскресенье прокурор с женой и супруги Гобертен с дочерью Элизой обедали у суланжских Судри. Когда бывал приглашен супрефект и приезжал угоститься «чем бог послал» г-н Гербе, содержатель почтовой станции в Куше, обыватели города Суланж могли любоваться четырьмя департаментскими экипажами у подъезда дома мадам Судри.

II ЗАГОВОРЩИКИ У КОРОЛЕВЫ

Подъезжая к Суланжу в половине шестого, Ригу знал, что застанет всех завсегдатаев салона Судри на своем посту. У мэра, как и во всем городе, обедали, по обычаю прошлого столетия, в три часа. От пяти до девяти суланжская знать собиралась, чтобы поделиться новостями, произнести свои политические «спичи», посудачить о частной жизни обитателей всей Авонской долины и поговорить об Эгах, ежедневно дававших пищу для разговора по меньшей мере в течение целого часа. Каждый спешил поделиться своими сведениями о том, что делается в замке, зная, какую приятность доставит он этими сообщениями хозяевам дома.

Вслед за этим обязательным обзором событий садились за бостон — единственную игру, которую знала королева. Дородный дядюшка Гербе потешал общество, передразнивая мадам Изору, жену Гобертена, высмеивая ее жеманные позы, тоненький голосок, губки бантиком и девичьи повадки; аббат Топен рассказывал очередной анекдот из своего репертуара, Люпен сообщал о каком-нибудь происшествии из виль-о-фэйской жизни, и все хором осыпали мадам Судри до тошноты приторными комплиментами, а затем говорилось: «Мы удивительно приятно поиграли в бостон».

Ригу был слишком эгоистичен и не поехал бы за двенадцать километров только ради того, чтобы послушать глупости, которые изрекали постоянные гости мадам Судри, и посмотреть на обезьяну, наряженную старухой; и по уму, и по образованию он был головой выше всей этой мелкой буржуазии и показывался в суланжском обществе только в тех случаях, когда ему надо было повидать нотариуса. Он не водил компании с соседями, ссылаясь на дела, на свои привычки и на здоровье, не позволявшее ему, по его словам, возвращаться ночью по дороге, окутанной туманами Туны.

Впрочем, высокий и сухой ростовщик весьма импонировал обществу, собиравшемуся у мадам Судри: в нем чуяли жестокость и стальные когти тигра, лукавство дикаря, мудрость, зародившуюся в монастыре и дозревшую под лучами золота, — те самые свойства, из-за которых Гобер-

тен не решался с ним связываться.

Как только плетеная тележка миновала «Кофейню мира», Урбен, слуга супругов Судри, беседовавший с трактирщиком, сидя на скамейке под окнами столовой, приложил ладонь козырьком к глазам и стал всматриваться в подъезжавший экипаж.

— Это дядя Ригу! Пойти отворить ему ворота. Подержите-ка его лошадь, Сокар, — сказал он трактирщику без всяких церемоний.

И Урбен, бывший кавалерист, не устроившийся в жандармы и поступивший после отставки в услужение к Судри, пошел отворять ворота.

Сокар, пользовавшийся громкой славой в Авонской долине, держал себя, как видит читатель, очень просто; но ведь многие знаменитые люди столь милы, что ходят, чихают, спят и едят совершенно так же, как и простые смертные.

Будучи геркулесом от рождения, Сокар поднимал огромные тяжести, гнул подковы, останавливал за задок проезжающую телегу. Слава об этом Милоне Кротонском⁶⁶ гремела по всему департаменту, и о нем, как и о всех знаменитостях, ходили легенды. Так, в Морване рассказывали, будто он притащил однажды на рынок на собственной спине какую-то бедную женщину вместе с ее ослом и поклажей, что он за один день съел целого быка и выпил четверть бочки вина, и еще многое в том же роде. Сокар, кроткий, как девушка-невеста, коренастый крепыш с невозмутимо спокойным лицом, широченными плечами и широченной грудью, с могучими, как кузнечные мехи, легкими, говорил звонким тоненьким голоском, поражавшим тех, кто слышал его впервые.

Как Тонсар, избавленный благодаря утвердившейся за ним славе от необходимости доказывать на деле свою жестокость, как все люди, о которых сложилось определенное мнение, Сокар никогда не хвастался своей всеокрушающей физической силой, разве только если его об этом просили друзья. Итак, когда тесть прокурора повернул к подъезду, Сокар взял лошадь под уздцы.

— Все ли у вас дома благополучно, господин Ригу? — спросил знаменитый трактирщик.

— Помаленьку, приятель, — ответил Ригу. — Ну, а Плиссу и Бонебо с Виоле и Амори по-прежнему поддерживают твою коммерцию?

Вопрос этот, заданный как будто с благодушным любопытством, не был праздным вопросом, мимоходом брошенным человеком, выше стоящим, другому, низшего звания. В свободные минуты Ригу всегда обдумывал разные разности, а на приятельские отношения, завязавшиеся между Бонебо, Плиссу и жандармом Виоле, дядя Фуршон уже указывал ему, как на весьма нежелательные. Проиграв несколько эю, Бонебо мог выдать жандарму все крестьянские тайны, а выпив две-три лишние кружки пунша, пуститься с ним в откровенности, не придавая значения своей болтовне. Впрочем, оговоры охотника на выдр могли быть подсказаны желанием выпить, и Ригу не обратил бы на них внимания, если бы не Плиссу, который по самому своему положению должен был оказывать некоторое противодействие замыслам, направленным против Монкорне, хотя бы для того, чтобы получить «подмазку» с той или другой стороны.

Судебный пристав Плиссу состоял корреспондентом одного из страховых обществ, понемногу начинавших появляться во Франции, был, кроме того, агентом «Компании по страхованию лиц, подлежащих воинской повинности», — словом, набрал несколько плохо оплачиваемых должностей, весьма слабо способствовавших благополучному разрешению его денежных дел, тем более что он был одержим пристрастием к бильярду и «горячительному». Так же, как и Фуршон, он усердно предавался искусству ничегонеделания, надеясь разбогатеть по воле довольно проблематичного случая. Он от всей души ненавидел местное высшее общество, но понимал его силу. Один Плиссу проник во все тонкости организованной Гобертенем буржуазной тирании; он допекал насмешками суланжских и виль-о-фэйских богатеев, воплощая в своем лице всю оппозицию. Не имея средств, не пользуясь доверием, он никого не страшил, и естественно, что Брюне был в восторге от такого ничего не стоящего конкурента и всячески покровительствовал ему из опасения, как бы он не продал свою контору какому-нибудь ретивому молодому человеку, вроде Бонака, с которым ему пришлось бы поделить клиентуру в кантоне.

— По милости этой братии живем понемножку, — ответил Сокар, — вот только мое «горя-

⁶⁶ Милой Кротонский (VI в. до н. э.) — греческий атлет.

чительное» что-то стали подделывать.

— Надо тянуть в суд за такие дела, — наставительно заметил Ригу.

— Да суд-то уж очень затяжное дело! — ответил трактирщик, бессознательно играя словами.

— Ну, а между собой твои посетители живут дружно?

— Без размолвок дело, конечно, не обходится, да игроки такой народ, что угодно простят друг другу.

Все гости Судри столпились у окон, выходящих на площадь. Узнав отца своей снохи, Судри вышел его встречать на крыльцо.

— Уж не заболела ли Анета, что вам вздумалось уделить нам сегодняшний вечерок, дорогой сват? — спросил бывший жандарм, называя Ригу таким уже выходящим из моды словом. По старой жандармской привычке мэр всегда без околичностей задавал вопросы прямо в лоб.

— Нет, тут одно дело заварилось, — ответил Ригу, дотрагиваясь указательным пальцем до руки, протянутой бывшим жандармом. — Сейчас мы с вами потолкуем, так как это касается и наших детей...

Судри, видный мужчина, одетый, как будто он еще служил в жандармерии, в синий костюм с черным воротником и в высокие сапоги со шпорами, взял Ригу под руку и подвел его к своей импозантной половине. Двери на террасу были открыты, и гости прогуливались по ней, наслаждаясь летним вечером, придававшим еще больше прелести очаровательному пейзажу, — по уже сделанному нами наброску его легко себе представят читатели, обладающие некоторой долей воображения.

— Давно мы с вами не виделись, дорогой Ригу, — промолвила мадам Судри, беря под руку бывшего бенедиктинца и выходя с ним на террасу.

— Желудок мой что-то плохо варит, — ответил старый ростовщик. — Взгляните, у меня лицо почти такое же красное, как и у вас...

Появление Ригу на террасе вызвало, как и следовало ожидать, взрыв веселых приветствий.

— Пст... Ригу! Вот вам еще один каламбур! — воскликнул податной инспектор г-н Гербе, пожимая руку Ригу, который протянул ему указательный палец.

— Не плохо! Не плохо! — одобрил кругленький мировой судья Саркюс. — Наш бланжийский барин в самом деле не прочь постричь овечек.

— Барин? — с горечью отозвался Ригу, — Меня уж давно разжаловали из петухов бланжийского курятника.

— А курочки, старый греховодник, говорят совсем другое! — воскликнула мадам Судри, игриво ударяя Ригу веером.

— Ну, как мы поживаем, дорогой доверитель? — вопрошал нотариус, здороваясь со своим главным клиентом.

— Понемножку, — ответил Ригу, протягивая нотариусу только указательный палец.

Жест, которым Ригу сводил рукопожатие к самому бездушному приветствию, сразу обрисовал бы этого человека даже вовсе не знающим его людям.

— Пойдемте куда-нибудь, где бы можно было спокойно поговорить, — сказал бывший монах, взглянув на Люпена и мадам Судри.

— Вернемся в гостиную, — ответила королева. — Наши гости, — добавила она, указывая на Гурдона-врача и Гербе, — спорят о *процедуре*.

Мадам Судри осведомилась о предмете спора. «Это целая процедура», — ответил ей Гербе, всегда готовый состричь. Королева решила, что это научный термин. Услыхав эти сказанные с претенциозным видом слова, Ригу улыбнулся.

— Что там еще натворил Обойщик? — спросил Судри, усаживаясь рядом с женой и обнимая ее за талию.

Как и все старухи, мадам Судри прощала многое за нежность, проявленную к ней при посещениях.

— На этот раз, — ответил Ригу, понижая голос и тем самым подавая пример осторожности, — он поехал в префектуру добиваться, чтобы приговоры были приведены в исполнение, и просить о поддержке военной силой.

— Тут-то ему и крышка! — воскликнул Люпен. — Быть драке!

— Драке? — переспросил Судри. — Ну, это еще вопрос. Префект и дивизионный генерал ему друзья, и если они пришлют эскадрон кавалерии, крестьяне ни на какую драку не пойдут... Можно еще кое-как справиться с суланжскими жандармами, но попробуйте устоять против кавалерийской атаки.

— Сибиле слышал, как Монкорне говорил еще кое-что, гораздо более опасное для нас. Поэтому-то я и приехал, — продолжал Ригу.

— О бедная моя Софи! — сентиментально воскликнула бывшая горничная. — В какие руки попали Эги! Вот что дала нам революция: хвастунишек в генеральских эполетах! Нетрудно, кажется, было догадаться, что раз перевернешь бутылку, испортишь подонками все вино!..

— Он решил поехать в Париж и добиться у министра юстиции полной смены теперешнего состава суда.

— А-а, — протянул Люпен, — он понял, откуда ему грозит опасность.

— Если зятя моего переведут отсюда, назначив товарищем прокурора, тут ничего не возразишь. А на его место Монкорне посадит какого-нибудь преданного ему парижанина, — продолжал Ригу. — Если он добьется места в департаментском суде для господина Жандрена и назначения нашего судебного следователя Гербе председателем оссэрского суда, он спутает нам все карты!.. Жандармерия уже за него, а если за него будет и местный суд да, кроме того, если при нем останутся такие советчики, как аббат Бросет и Мишо, нам придется не сладко: он может натворить таких дел!..

— И как это вы за пять лет не избавились от аббата Бросета? — спросил Люпен.

— Вы его не знаете. Он осторожен, как кошка, — ответил Ригу. — Этот священник не мужчина, он не обращает внимания на женщин, я не знаю ни одного его увлечения, к нему ни с какого бока не подступишься. Вот генерал, тот из-за своей раздражительности постоянно попадает впро�ак. Человек, у которого есть такой порок, всегда будет игрушкой своих врагов, если они сумеют использовать его слабую струнку. Силен только тот, кто управляет своими пороками, а не тот, кто идет у них на поводу. С крестьянами все налажено, мы их против аббата настропалили, но пока никак под него не подкопаешься. Вот и с Мишо так же. Они оба чересчур хороши, господу богу следовало бы их прибрать к себе...

— Надо бы им подсунуть подходящих служанок, — сказала мадам Судри, и Ригу даже привскочил на месте, как это бывает с очень хитрыми людьми, когда им подадут какую-нибудь хитрую мысль.

— У Обойщика есть еще одно слабое место: он любит свою жену, вот с этой стороны и надо на него подействовать...

— Да, но прежде всего надо узнать, даст ли он ход своим намерениям...

— А как узнать? Вот в чем загвоздка! — воскликнул Люпен.

— Вы, Люпен, — безапелляционно сказал Ригу, — отправитесь в префектуру навестить прелестную мадам Саркюс, и не позже как сегодня же вечером! Ваше дело добиться, чтобы она вывела от мужа все, что говорил и делал в префектуре Обойщик.

— Придется там переночевать, — ответил Люпен.

— Тем лучше для Саркюса-богатого, он от этого только выиграет, — заметил Ригу. — А ваша мадам Саркюс еще не совсем «мазня»...

— О господин Ригу! — жеманно воскликнула супруга мэра. — Разве женщину можно называть «мазней»?

— Насчет этой бабенки вы правы: она перед зеркалом не подмазывается, — ответил Ригу, которого всегда злили выставленные для общего обозрения древние прелести бывшей девицы Коше.

Мадам Судри, полагавшая, что она лишь «чутьочку» подрумянивается, не поняла его колкого намека и спросила:

— Неужели женщины могут мазаться?

— А затем, Люпен, — продолжал Ригу, оставив без ответа сей наивный вопрос, — возвращайтесь завтра утром, наведайтесь к папаше Гобертену; предупредите его, что мы со сватом, —

сказал он, хлопнув Судри по ляжке, — приедем к нему перекусить, пусть ждет нас к завтраку часам к двенадцати. Расскажите ему наши дела, а на досуге мы все обмозгуем, как нам дальше поступать, ведь надо же наконец покончить с проклятым Обойщиком. Едучи к вам, я подумал, что не худо бы поссорить Обойщика с судом, да так крепко, чтобы министр юстиции рассмеялся ему в лицо, когда он явится просить об изменениях в составе виль-о-фэйского суда...

— Да здоровствует духовенство! — воскликнул Люпен, хлопая Ригу по плечу.

Мадам Судри тотчас же осенила мысль, которая могла прийти в голову только бывшей горничной оперной дивы.

— Если бы нам удалось, — сказала она, — заманить Обойщика на суланжскую ярмарку и напустить на него какую-нибудь красотку, да такую, чтоб он голову потерял, и если бы он с ней поладил, мы поссорили бы его с женой, доведя до ее сведения, что сын столяра никуда от своих прежних вкусов не уйдет...

— Ах ты моя умница! — воскликнул Судри. — Да ты всю полицейскую префектуру Парижа за пояс заткнешь!

— Такая блестящая мысль доказывает, что вы наша королева столько же по уму, как и по красоте, — промолвил Люпен.

Люпен был вознагражден гримасой, безоговорочно принимавшейся высшим суланжским обществом за улыбку.

— Было бы еще лучше, — промолвил Ригу, долго сидевший в задумчивости, — довести дело до скандала...

— Протокол, жалоба и дело в суде исправительной полиции, — воскликнул Люпен, — о, вот это здорово!

— Какая была бы радость, — наивно воскликнул Судри, — если бы графа де Монкорне, офицера большого креста Почетного легиона, командора ордена Святого Людовика, генерал-лейтенанта, обвинили, скажем, в посягательстве на честь девушки в общественном месте!

— Он слишком любит свою жену, — рассудительно заметил Люпен, — до таких вещей его никогда не довести.

— Это — не препятствие, да только во всем округе не найти такой девки, чтоб могла ввести в грех святого. Я давно уже тщетно ищу искусительницу для нашего аббата! — воскликнул Ригу.

— Ну, а что вы скажете о Гатьене Жибуляр из Оссэра, о красотке, по которой сходит с ума сын Саркюса? — спросил Люпен.

— Да, эта, пожалуй, подошла бы, — ответил Ригу, — да только она для наших целей не годится. Она полагает, что стоит ей показаться, и все придут в восторг. Много воображает о себе и не очень-то она приветлива, а тут нужна тонкая штучка, бесенок... Все равно, пусть приходит.

— Да, — заявил Люпен, — чем больше девушек он увидит, тем больше шансов на успех.

— Ох, не легко будет заманить Обойщика на ярмарку! А если он и придет на праздник, то еще вопрос, пойдет ли он на бал в наш кабак «Тиволи», — сказал бывший жандарм.

— Причина, которая помешала бы ему поехать в этом году на ярмарку, уже не существует, мой дружок, — заметила мадам Судри.

— Какая же это причина, дорогая? — спросил супруг.

— Обойщик сватался к мадмуазель де Суланж, — сказал нотариус, — ему ответили, что она еще слишком молода, а он обиделся. Вот почему такие старые друзья, как господин де Суланж и генерал Монкорне, сослуживцы по императорской гвардии, до того охладели друг к другу, что даже перестали видеться. Обойщик боялся встретиться с Суланжами на ярмарке, но в этом году их там не будет.

Семейство Суланжей обычно проводило в имении июль, август, сентябрь и октябрь месяцы, но в данное время генерал командовал артиллерией в Испании, в армии герцога Ангулемского, и графиня последовала за мужем. При осаде Кадикса граф де Суланж, как известно, получил маршальский жезл, что случилось в 1826 году. Таким образом, у врагов Монкорне было основание предполагать, что обитатели Эгов соблаговолят на этот раз присутствовать на празднике в день успенья богородицы и что их нетрудно будет завлечь в «Тиволи».

— Верно! — воскликнул Люпен. — А теперь, папаша, — сказал он, обращаясь к Ригу, —

ваше дело действовать, устройте, чтобы он приехал на ярмарку, а мы уж сумеем как следует его обработать...

Суланжская ярмарка, одна из местных достопримечательностей, открывается 15 августа; это самая богатая из всех ярмарок на тридцать лье в округности, не исключая и ярмарки в главном городе департамента. В Виль-о-Фэ ярмарка вовсе не устраивается, так как там приходский праздник, день св. Сильвестра, бывает зимой.

С 12 по 15 августа отовсюду съезжаются в Суланж торговцы, и обычно пустынная площадь оживает, на ней вырастают два ряда дощатых балаганов под серой парусиновой крышей. Две недели длится ярмарка и праздник, — дни их можно сравнить со временем жатвы для маленького городка Суланжа. Праздник этот освящен обычаем, обаянием традиции. Крестьяне, как говорил дядя Фуршон, редко расстаются со своей деревней, где их держит работа. По всей Франции в наскоро сколоченных на ярмарочных площадях лавках выставляются всякие товары; чего-чего только тут нет — и предметы, необходимые в сельском обиходе, и предметы щегольства, все здесь прельщает крестьян, лишенных иных зрелищ, и поражает воображение женщин и детей. Начиная с 12 августа по распоряжению суланжской мэрии по всему Виль-о-Фэйскому округу расклеивались афиши за подписью Судри, сулившие покровительство властей всем торговцам, бродячим акробатам и всякого рода «чудодеям», объявлявшие о продолжительности ярмарки и о наиболее завлекательных зрелищах.

На этих афишах, одну из которых, как помнит читатель, выпрашивала у Вермишеля Тонсарша, всегда имелась заключительная строка:

«Тиволи» будет иллюминирован разноцветными фонарями».

Действительно, город избрал в качестве залы для общественных балов «Тиволи», устроенный Сокаром в саду, таком же каменистом, как и весь холм, на котором стоит город Суланж, где почти все сады разбиты на привозной земле.

Этим свойством почвы объясняется особый вкус местного вина — белого, сухого и вместе с тем сладковатого; суланжское вино напоминает сходие между собой мадеру, вувре и иоганнисберг и целиком потребляется в самом департаменте.

Все жители Авонской долины гордились своим «Тиволи», так поразили их воображение балы в заведении Сокара. Некоторые из обывателей города, побывавшие в Париже, говорили, что столичный «Тиволи» только размерами превосходит суланжский. А Гобертен смело заявлял, что отдает предпочтение балам в трактире Сокара перед балами в парижском «Тиволи».

— Всем нам надо над этим подумать, — сказал Ригу. — Парижанину, который пишет в газетах, скоро прискучит его приятное времяпрепровождение, и, действуя через прислугу, можно будет всех их привлечь на ярмарку. Я об этом подумаю. Сибиле — хотя доверие к нему сильно пошатнулось — должен все-таки внушить своему хозяину, что таким способом тот может приобрести популярность.

— Постарайтесь разузнать, жестока ли со своим мужем красавица графиня; от этого зависит удача той шутки, которую надо с ним разыграть в «Тиволи», — сказал Люпен старому ростовщику.

— Эта дамочка, — воскликнула мадам Судри, — настоящая парижанка, она сумеет и волков накормить, и овец уберечь!

— Фуршон пристроил свою внучку Катрин Тонсар к Шарлю, младшему лакею Обойщика; у нас скоро будут свои уши в замке, — ответил Ригу. — Уверены ли вы в аббате Топене?.. — спросил он, увидя входившего кюре.

— И аббата Мушона, и Топена мы держим в руках, как я держу своего Судри, — сказала супруга мэра, поглаживая мужа по подбородку и приговаривая: — Котик мой, ведь тебе хорошо?

— Если мне удастся осрамить этого ханжу аббата Бросета, я рассчитываю на них!.. — тихо проговорил Ригу, вставая с места. — Но я не знаю, что в них окажется сильнее: чувства бургундца или священника. Вы себе не представляете, что это такое. Я сам хоть и не дурак, а не отвечаю за себя, если серьезно заболею. Я наверно снова примирюсь с церковью.

- Разрешите нам на это надеяться, — промолвил кюре, увидя которого Ригу намеренно повысил голос.
- Увы! я допустил ошибку, вступив в брак, и это препятствует моему примирению с церковью, — ответил Ригу. — Не могу же я убить жену!
- А пока что подумаем об Эгах, — сказала мадам Судри.
- Да, — ответил бывший бенедиктинец. — Я, знаете ли, считаю нашего куманька из Вильо-Фэ куда умнее нас всех. Мне сдается, что Гобертен хочет заполучить Эги для себя одного, а всех нас оставить в дураках. — добавил Ригу. Едучи в Суланж, деревенский ростовщик из предусмотрительности мысленно пообстукал палочкой своего благоразумия темные местечки в поведении Гобертена, и некоторые из них звучали как-то глухо.
- Но Эги не достанутся никому из нас троих, замок надо сровнять с землей! — воскликнул Судри.
- Тем более что меня не удивит, если там припрятано золото, — тонко заметил Ригу.
- Ну!
- Да, в прежние времена, когда постоянно бывали войны, осады и внезапные нападения, владельцы замков зарывали деньги, чтобы в будущем достать их снова, а вам известно, что маркиз де Суланж-Отмэр, с которым прекратилась младшая ветвь рода, был одной из жертв заговора Бирóна. Графиня де Морэ получила поместье по конфискации...
- Вот что значит изучать историю Франции! — воскликнул жандарм. — Но вы правы, пора договориться с Гобертеном о наших делах.
- А если он будет вилять, мы его прижмем, — сказал Ригу.
- Он теперь достаточно богат, чтобы быть честным, — заметил Люпен.
- Я ручаюсь за него как за себя, — сказала мадам Судри, — это самый честный человек во всем королевстве.
- Мы верим в его честность, — продолжал Ригу, — но и с друзьями надо быть начеку... Кстати, я подозреваю, что в Суланже есть один человек, который не прочь подставить нам ножку...
- Кто такой? — спросил Судри.
- Плиссу, — ответил Ригу.
- Плиссу? — возмущенно воскликнул Судри. — Эта жалкая кляча? Брюне крепко держит его за повод, а жена приманивает кормушкой, — спросите Люпена.
- Что он может сделать? — поинтересовался Люпен.
- Он хочет открыть глаза Монкорне, — пояснил Ригу, — заручиться его протекцией и получить местечко...
- Это никогда ему столько не даст, сколько зарабатывает его жена в Суланже, — съязвила мадам Судри.
- Когда он пьян, он все выбалтывает жене, — заметил Люпен, — мы вовремя узнаем...
- У очаровательной госпожи Плиссу нет от вас секретов, — сказал Ригу. — Тем лучше, мы можем быть спокойны.
- К тому же она так же красива, как и глупа, — сказала мадам Судри. — Право, я бы с ней ни за что не поменялась, и будь я мужчиной, я бы предпочла некрасивую, но умную женщину красавице, которая не умеет сосчитать до двух.
- Ах, — заметил нотариус, покусывая губы, — зато она всякого заставит сосчитать до трех.
- Хвастун! — воскликнул Ригу, направляясь к выходной двери.
- Ну, значит, до завтрашнего утра, — сказал Судри, провожая свата.
- Я за вами заеду... Так вот что, Люпен, — сказал он нотариусу, вышедшему вместе с ним, чтобы велеть оседлать свою лошадь, — постарайтесь, чтобы мадам Саркюс узнала все, что Обойщик предпримет против нас в префектуре...
- Если она не узнает, кому же тогда и узнать? — ответил Люпен.
- Простите, — сказал Ригу, глядя с лукавой улыбкой на Люпена, — я вижу вокруг себя одних дураков и позабыл, что среди них имеется умник.
- Я и сам не знаю, как я среди них не отупел, — наивно ответил Люпен.

— Правда, что Судри завел себе горничную?

— Ну да! — ответил Люпен. — Вот уж неделя, как господин мэр, пожелав лучше оценить достоинства своей супруги, сравнивает ее с юной бургундочкой, и мы еще не можем понять, как он устраивается с мадам Судри, потому что у него хватает наглости весьма рано укладываться спать...

— Завтра узнаю, — ответил деревенский Сарданапал, пытаюсь улыбнуться.

Прощаясь, оба глубоких политика пожали друг другу руки.

Ригу, невзирая на недавно приобретенную популярность, был по-прежнему человеком осторожным и хотел добраться домой засветло, поэтому он крикнул коню: «Вперед, гражданин!» — сын 1793 года всегда отпускал эту шутку, глумясь над революцией. У народных революций нет более ожесточенных врагов, чем люди, преуспевшие благодаря им.

— Что и говорить, не долги визиты нашего дяди Ригу, — сказал супруге мэра секретарь суда Гурдон.

— Недолги, да приятны, — ответила она.

— Он и жизнь себе приятную устроил, — заметил врач. — Этот человек злоупотребляет всеми удовольствиями.

— Тем лучше, — сказал Судри, — значит, мой сын скорее получит наследство.

— Рассказал он вам что-нибудь новое об Эгах? — спросил кюре.

— Да, дорогой господин аббат, — ответила мадам Судри. — Монкорне положительно бич нашей местности. Удивляюсь, как это графиня, такая все-таки порядочная женщина, не понимает своих интересов.

— А между тем у них есть с кого брать пример, — заметил кюре.

— С кого же? — спросила жеманно мадам Судри.

— Да ведь Суланжи...

— Ах, да... — промолвила королева после некоторой паузы.

— Здравствуйте, вот она и я! — крикнула, входя в гостиную, мадам Вермю. — И без моего реактива, потому что Вермю со мной так неактивен, что его никаким активом не назовешь...

— За каким чертом вылезает из тележки старый пройдоха Ригу? — обратился бывший жандарм к Гербе, увидя, что тележка ростовщика остановилась у ворот «Тиволи». — Этот тигр с кошачьими повадками шагу без расчета не ступит.

— Воистину пройдоха, — отозвался кругленький податной инспектор.

— Входит в «Кофейню мира», — сказал Гурдон-врач.

— Тише, — подхватил Гурдон-секретарь, — там идет благословение кулаками. Слышите, какой оттуда доносится визг?

— Эта кофейня, — заметил кюре, — истинный храм Януса. Во время Империи она называлась «Кофейня войны», а жизнь протекала в ней мирнее мирного; почтенные граждане собирались там для дружеской беседы.

— По-вашему, это беседа! — воскликнул судья. — Хороши, ей-богу, беседы, после которых появляются на свет маленькие Бурнье!..

— Но с тех пор как ее переименовали в честь Бурбонов «Кофейня мира», там что ни день потасовки, — сказал аббат Топен, заканчивая фразу, бесцеремонно прерванную мировым судьей.

Глубокомысленное рассуждение кюре разделяло судьбу цитат из «Бильбокеиды»: оно часенъко повторялось.

— Это значит, — ответил дядюшка Гербе, — что Бургундия всегда будет страной кулачной расправы.

— То, что вы сказали, не так далеко от истины, — заметил кюре. — В этом почти вся история нашей страны.

— Я не знаю истории Франции, — воскликнул Судри, — но, прежде чем с ней познакомиться, я очень хотел бы узнать, чего ради мой сват вошел вместе с Сокаром в кофейню?

— О, — промолвил кюре, — можете быть уверены, что не дела благотворительности привели его туда и сейчас там задерживают.

— Я как увижу господина Ригу, у меня мороз пробегает по коже, — сказала мадам Вермю.

— Это такой опасный человек, — сказал врач, — что если бы у него был против меня зуб, я не успокоился бы и после его смерти: он способен восстать из гроба, чтобы учинить какую-нибудь пакость.

— Уж если кому и удастся доставить к нам сюда Обойщика пятнадцатого августа и подстроить ему ловушку, так это дяде Ригу, — прошептал мэр на ухо жене.

— Особенно, — громко ответила она, — если Гобертен и ты, душа моя, приметесь за это дело...

— Ишь ты, что я говорил! — воскликнул г-н Гербе, подталкивая локтем г-на Саркюса. — Он приглядел у Сонара какую-то девицу и усаживает ее в свою тележку...

— Пока усаживает в тележку, а там... — добавил секретарь.

— Вот поистине бесхитростное замечание, — воскликнул г-н Гербе, прерывая певца «Бильбокеиды».

— Вы ошибаетесь, господа, — сказала королева, — господин Ригу заботится о наших интересах. Если зрение меня не обманывает, эта девушка одна из дочерей Тонсара.

— Он вроде аптекаря, тот тоже запасается гадюками, — воскликнул дядюшка Гербе.

— Вы так это сказали, что можно подумать, будто вы увидели нашего аптекаря, господина Вермю, — усмехнулся врач Гурдон.

И он указал на низенького суланжского аптекаря, который как раз переходил через площадь.

— Бедняга! — воскликнул секретарь, о котором рассказывали, будто он с г-жой Вермю слишком часто злословит на чужой счет. — Ну и вид! И его считают ученым!

— Без него, — сказал мировой судья, — мы были бы в большом затруднении при вскрытиях; он так искусно обнаружил присутствие яда в кишечнике бедного Пижрона, что парижские химики заявили на суде присяжных в Оссэре, что им самим не добиться бы лучших результатов...

— Он ровно ничего не нашел, — возразил Судри, — но, как говорит председатель суда Жан-дрен, людям полезно внушить, что яд всегда обнаружится...

— Жена Пижрона хорошо сделала, что уехала из Оссэра! — сказала мадам Вермю. — У этой злодейки мало ума, — добавила она. — Неужели надо прибегать к каким-то снадобьям, чтобы избавиться от мужа? Разве нет у нас верных, но совершенно безобидных средств, чтобы отделаться от этой обузы? Пусть кто-нибудь поставит мне в укор мое поведение! Муж меня ни в чем не стесняет, и здоровье его от этого не хуже. А госпожа де Монкорне... Посмотрите, как она воркует в своих садовых хижинах и шале с журналистом, которого выписала на свой счет из Парижа, и как она с ним нежна, да еще на глазах у генерала?

— На свой счет? Это верно? — воскликнула мадам Судри. — Если бы у нас было доказательство, что это так, мы бы состряпали неплохое анонимное письмо генералу!

— Генералу?.. — переспросила мадам Вермю. — Но вы этим ничуть его не потревожите, Обойщик занят своим ремеслом.

— Каким ремеслом, моя милая? — спросила мадам Судри.

— Ну, как же! Набивает тюфяк для их постели...

— Если бы бедняга Пижрон, вместо того чтобы донимать жену, поступал так же мудро, он до сих пор был бы жив, — сказал секретарь.

Мадам Судри склонилась к своему соседу Гербе — кушскому содержателю почтовой станции, награждая его одной из обезьяньих гримас, как она думала, унаследованных ею от прежней хозяйки по праву захвата вместе с серебряной посудой, и, удвоив дозу своих ужимок, указала ему на г-жу Вермю, кокетничавшую с автором «Бильбокеиды».

— Какой дурной тон у этой особы! Что за разговоры, что за манеры! Уж, право, не знаю, могу ли я продолжать принимать ее в нашем обществе, в особенности когда здесь бывает господин Гурдон-поэт.

— Вот вам и социальная мораль! — сказал безмолвно за всем наблюдавший кюре.

После этой насмешки, или, вернее, сатиры над обществом, такой сжатой и правильной, что она могла относиться к каждому, было предложено приступить к бостону.

Разве не такова жизнь на всех ступенях того, что принято называть светом?! Измените только манеру выражаться, и буквально те же разговоры вы услышите в самых раззолоченных париж-

ских салонах — ни больше ни меньше.

III «КОФЕЙНЯ МИРА»

Было около семи часов, когда Ригу проезжал мимо «Кофейни мира». Заходящее солнце озаряло косыми лучами хорошенький городок, окрашивая его в ярко-алые тона, а ясное зеркало озера служило контрастом резкому сверканию пламенеющих стекол, переливавшихся самыми странными, самыми невероятными красками.

Весь отдавшись замышляемым козням, глубокий политик медленно ехал, погруженный в свои думы, мимо «Кофейни мира», и вдруг до его слуха донеслось имя «Ригу», которое кто-то крикнул в пылу спора, ибо, как и говорил аббат Топен, между названием этого заведения и буйными нравами, царившими в нем, существовало вопиющее противоречие.

Для понимания последующей сцены необходимо познакомить читателя с топографией этого благодатного уголка, расположенного между площадью, куда выходила кофейня, и кантональным трактом, до которого спускался знаменитый сад «Тиволи», предназначенный, по замыслу зачинщиков, давно строивших козни против генерала де Монкорне, служить местом действия для задуманной ими сцены.

Кофейня помещается в угловом доме того же типа, что и дом Ригу; три окна нижнего этажа выходят на дорогу, а два со стеклянной входной дверью между ними — на площадь. Кроме этой двери, в «Кофейне мира» имеется еще одна небольшая дверка, которая ведет во внутренний дворик через узкий проход, отделяющий кофейню от соседнего дома суланжского лавочника Вале.

Дом Сокара окрашен в золотисто-желтый цвет, за исключением зеленых ставней; он — один из немногих в городке — трехэтажный с мансардой. Причина этому следующая.

До удивительного расцвета Виль-о-Фэ второй этаж этого дома, с четырьмя комнатами, снабженными кроватями и кое-какой плохонькой обстановкой, необходимой для оправдания названия «меблированные комнаты», сдавался приезжим, вызванным в Суланж в прежний окружной суд, или гостям помещиков, почему-либо не оставшимся ночевать в замке; но вот уже двадцать пять лет в меблированных комнатах останавливались только бродячие акробаты, ярмарочные торговцы, продавцы целебных снадобий и коммивояжеры. Во время суланжской ярмарки комнаты шли по четыре франка в сутки. Эти четыре комнаты приносили Сокару около сотни экю, не считая экстраординарных доходов от кушаний, потреблявшихся за это время постояльцами в его кофейне.

Фасад дома со стороны площади украшала весьма своеобразная живопись. В двух простенках между входной дверью и окнами были изображены бильярдные кии, любовно перевязанные лентами, а над бантами возвышались греческие вазы со стоявшими в них чашами дымящегося пунша. Слова «Кофейня мира» ярко выделялись своими желтыми буквами на зеленом поле вывески, в обоих концах которой красовались пирамиды из трехцветных бильярдных шаров. В зеленые оконные рамы с частым переплетом были вставлены дешевые стекла.

Справа и слева от входа стояло штук десять деревянных кадок с туями: деревья эти следовало бы называть «кофейными», ибо они всегда украшают такие заведения своей болезненной и претенциозной хвоей. Парусиновые «маркизы», которые в Париже и в некоторых богатых городах предохраняют магазины от солнечных лучей, были тогда роскошью, еще не известной в Суланже. Колбообразные бутылки, расставленные на полках за окном, тем более напоминали эту химическую посуду, что благословенная влага подвергалась в них периодическому нагреванию. Лучи солнца, концентрируясь в выпуклостях пузырчатых оконных стекол, вызывали брожение в выставленных бутылках мадеры, сиропов и ликеров, в банках с пьяной вишней и сливой, а жара действительно была такая, что выгоняла Аглаю, ее отца и полового на скамеечки, стоявшие по обе стороны двери под жалкой зеленью туй, которые мадмуазель Сокар время от времени поливала почти горячей водой. Иногда все трое — отец, дочка и половой, — словно домашние животные, спали у входа.

В 1804 году, в эпоху наибольшей славы «Поля и Виргинии», комнаты были оклеены обоями с изображением главнейших сцен из этого романа. Посетители могли тогда любоваться неграми за

сбором кофе, — значит, кофе все-таки водился в этой кофейне, хотя за целый месяц в ней вряд ли выпивалось больше двадцати чашек сего напитка. Колониальные товары были не в ходу в Суланже, и приезжий, спросив чашку шоколада, поставил бы дядю Сокара в великое затруднение; тем не менее его угостили бы противной бурой жидкостью, которая получается из плиток, куда входит больше муки, тертого миндаля и сахара-сырца, нежели рафинада и какао; такие «шоколадные» плитки продаются по два су в деревенских бакалейных лавочках и фабрикуются с целью подорвать распространение испанского колониального товара.

А кофе дядя Сокар попросту кипятил в посудине, известной в каждом хозяйстве под названием большого глиняного горшка; он бросал на дно молотый кофе, щедро смешанный с цикорием, а затем с хладнокровием, достойным парижского официанта, подавал эту бурду в толстой фарфоровой чашке, которая не треснула бы, даже если бы ее бросили на пол.

В Суланже в те времена еще сохранилось благоговейное отношение к сахару, которое господствовало в годы Империи⁶⁷, и Аглая Сокар, не смущаясь, подавала четыре кусочка сахара величиной с орешек к чашке кофе, заказанной каким-нибудь ярмарочным торговцем, вздумавшим побаловаться этим «литераторским» напитком.

Внутреннее убранство кофейни, украшенной зеркалами в золоченых рамках и крючками с розетками для вешанья шляп, не изменилось с той самой поры, когда весь Суланж сходил любоваться на чудесные обои и на стойку, выкрашенную под красное дерево, с доской из серого мрамора, на которой сверкали вазы из накладного серебра и лампы «двойной тяги», как говорят, подаренные Гобертенем красавице г-же Сокар. Теперь все это потускнело, покрылось толстым слоем чего-то липкого, похожего на налет, которым покрываются старые картины, позабытые на чердаках.

Столы «под мрамор», обитые красным плюшем табуретки и кенкетная лампа с двумя горелками и круглым резервуаром, доверху наполненным маслом, свешивавшаяся на цепочках с толка и украшенная хрустальными подвесками, положили начало славе «Кофейни войны».

Сюда с 1802 года и по 1814 год приходили все суланжские буржуа сыграть партию в домино или брелан, выпить стаканчик ликера или «горячительного», отведать печенья или «пьяных вишен», так как кофе, шоколад и сахар были изгнаны из-за дороговизны колониальных товаров. Пунш, а равно и баваруаз считались наивысшим лакомством. Они приготавливались на каком-то сиропе, похожем на патоку, название которого позабыто, но в свое время этот сироп обогатил своего изобретателя.

Наше краткое описание вызовет в памяти путешественников аналогичные образы, а тем, кто не выезжал из Парижа, даст возможность получить некоторое представление о «Кофейне мира» с ее почерневшим от дыма потолком и зеркалами, усеянными миллиардами темных точек, что доказывает, как привольно жилось тут двукрылым насекомым.

Здесь некогда царила разряженная по последней моде красавица г-жа Сокар, превзошедшая своими любовными похождениями Тонсаршу из «Большого-У-поения»; она питала пристрастие к турецким тюрбанам. «Султанка»⁶⁸ в эпоху Империи была в такой же моде, как «ангел»⁶⁹ в наши дни.

Вся Авонская долина ходила сюда перенимать фасоны тюрбанов, шапочек с козырьком, меховых токов и китайских причесок прекрасной *кофейницы*, роскошные наряды которой оплачивали все суланжские именитые граждане. Повязав пояс под самой грудью, как носили его наши матери, гордые своими царственными прелестями, Юния (ее звали Юнией!) пеклась о благоденствии дома Сокаров; муж был обязан ей виноградником, домом, в котором они жили, и садом «Тиволи». Отец г-на Люпена, по рассказам, готов был на любые безумства ради прекрасной Юнии; а появле-

67 «...благоговейное отношение к сахару, которое господствовало в годы Империи...» — Вследствие морской блокады, организованной англичанами, во Франции в период Первой империи привозные продукты, в частности сахар, стали дефицитными и чрезвычайно возросли в цене.

68 «Султанка» — дамский головной убор.

69 «Ангел» — фасон дамских рукавов, очень широких, доходящих только до локтя.

нием на свет маленького Бурнье она, несомненно, была обязана Гобертену, отбившему ее у Люпена.

Эти подробности и тайные познания Сокара в искусстве приготовления «горячительного» могли бы служить достаточным объяснением, почему и он, и его «Кофейня мира» пользовались такой популярностью; но славе его способствовали еще и другие обстоятельства. У Тонсара и во всех прочих кабаках ничего нельзя было получить, кроме вина; таким образом, на протяжении шести лье от Куша до Виль-о-Фэ кофейня Сокара была единственным заведением, где можно было сыграть на бильярде и выпить стакан пунша, в приготовлении которого здешний хозяин был большим искусником. Только тут водились иностранные вина, тонкие ликеры и «пьяная вишня».

Поэтому у всех на языке был Сокар, имя которого напоминало о тончайших наслаждениях, любезных тем, у кого желудок более чувствителен, нежели сердце. Кроме всего прочего, кофейня пользовалась еще одной привилегией: без нее в Суланже не обходилось ни одно торжество. Наконец, «Кофейня мира» — заведение на разряд выше «Большого-У-поения», — была в городе тем же, чем трактир Тонсара в деревне, то есть складочным местом, куда изливалась всяческая злоба, передаточным пунктом для сплетен, циркулирующих между Виль-о-Фэ и Авонской долиной. «Большое-У-поение» поставляло молоко и сливки в «Кофейню мира», и обе дочери Тонсара поддерживали с ней ежедневную связь.

Городскую площадь Сокар считал просто придатком к своей кофейне. Он переходил от крыльца к крыльцу, судача то с тем, то с другим, в летнюю пору одетый только в штаны и жилет, почти всегда расстегнутый, как у всех трактирщиков в небольших городах. Очередной собеседник предупреждал его, если кто-нибудь входил в «Кофейню мира», и силач-хозяин, грузно ступая, как бы нехотя направлялся в свое заведение.

Эти подробности должны убедить парижан, никогда не покидавших свой квартал, в трудности, — скажем больше, — в невозможности сохранить в тайне самую последнюю мелочь, приключившуюся в Авонской долине от Куша и до Виль-о-Фэ. Деревня — это одно неразрывное целое; всюду на некотором расстоянии друг от друга разбросаны «Большое-У-поение» и «Кофейня мира», выполняющие функции эха: самые безразличные события, совершившиеся в полной тайне, каким-то чудом отражаются там. Обывательская болтовня выполняет роль телеграфного провода; так-то и разносятся на громадные расстояния с поистине непостижимой быстротой известия о разных несчастных случаях.

Остановив лошадь, Ригу вылез из тележки и привязал повод к одному из столбов у ворот «Тиволи». Затем он прибег к самому естественному способу, не вызывая подозрений, подслушать происходящий разговор, — стал между двумя окнами, откуда, немного вытянув шею, он мог видеть говоривших, следить за их жестикой и слушать переругивание, ясно доносившееся, несмотря на закрытые окна, так как на улице было очень тихо.

— А если я скажу дяде Ригу, что твой брат Никола зарится на Пешину, — резким голосом кричала какая-то женщина, — скажу, что он не дает ей проходу, что в конце концов он выхватит ее из-под самого носа у старика. За это Ригу порастрясет вам, голодранцам, кишки, всем, сколько вас ни на есть в «Большом-У-поении»!

— Посмей только! — взвизгнула в ответ Мари Тонсар. — Я с тобой такое сделаю, что на том свете вспоминать будешь! Нечего тебе, Аглая, в дела Никола свой нос совать, да и в мои с Бонебо тоже!

Как видит читатель, Мари, подзадоренная бабушкой, побежала за Бонебо и подглядела в окно, у которого теперь стоял дядя Ригу, как Бонебо увивался за девицей Сокар, расточая ей, по видимому, весьма приятные комплименты, ибо Аглая сочла нужным наградить его ответной улыбкой. Эта улыбка решила все, ибо вызвала сцену, во время которой и произошло ценное для Ригу разоблачение.

— Вы что же, дядя Ригу, позорите мою кофейню? — промолвил Сокар, хлопая по плечу ростовщика.

Возвращаясь из стоявшего в глубине сада сарая, откуда как раз выносили для установки на положенных местах в «Тиволи» оборудование для всяких увеселений — карусельные лошадки, приборы для взвешивания, качели-колеса и прочее, — трактирщик подошел к Ригу, неслышно сту-

пая, так как на нем были шлепанцы из желтой кожи, которые благодаря своей дешевизне во множестве расходятся в провинции.

— Если бы у вас были свежие лимоны, я бы заказал лимонаду, — сказал Ригу. — Вечер жаркий.

— Да кто же это так визжит? — удивился Сокар и, заглянув в окно, увидел, что дочь его ругается с Мари.

— Не могут поделить Бонебо, — язвительно заметил Ригу.

Интересы коммерческие взяли верх в душе Сокара над гневом отца. Трактирщик счел более благоразумным последовать примеру Ригу и подслушать, стоя снаружи, хотя, как отцу, ему очень хотелось войти и заявить дочери, что Бонебо, при всех своих достоинствах с точки зрения трактирщика, никак не отвечает требованиям, предъявляемым к зятю одним из именитейших граждан Суланжа. А между тем к дочери дяди Сокара не очень-то сватались. В двадцать два года до рождением, солидностью и весом она могла поспорить с г-жой Вермишель, проворство которой казалось положительно чудом. От постоянного пребывания за стойкой склонность к полноте, унаследованная Аглаей от отца, еще усилилась.

— И какой черт сидит в этих девках? — воскликнул дядя Сокар, обращаясь к Ригу.

— Эх, — ответил бывший бенедиктинец, — да тот самый черт, который чаще всего попадает в церковные лапы.

Вместо всякого ответа Сокар предался созерцанию нарисованных в простенке между окнами бильярдных киев, расположение коих было трудно понять, так как штукатурка, выщербленная рукою времени, местами осыпалась.

В этот момент из бильярдной вышел Бонебо с кием в руках и, стукнув как следует Мари, крикнул:

— Из-за тебя я скиксовал, но по тебе-то я не скиксую. Заткни глотку, не то весь кий о тебя обломаю!

Сокар и Ригу сочли своевременным вмешаться и вошли в кофейню со стороны площади, вспугнув целую тучу мух, так что в комнате сразу стало темно. Поднявшееся жужжание походило на далекую дробь целой команды обучающихся барабанщиков. Придя в себя после первого испуга, толстые мухи с синеватыми брюшками, маленькие мухи-кусачки и несколько слепней снова заняли свои места на окнах, где на трех полочках, до того засиженных мухами, что не представлялось возможным определить их цвет, выстроились, точно солдаты, липкие бутылки.

Мари плакала. Быть побитой любимым человеком на глазах у соперницы — такого унижения не простит ни одна женщина, на какой бы ступени общественной лестницы она ни стояла, и чем ниже эта ступень, тем яростнее выражается ненависть оскорбленной; поэтому тонсарова дочка не заметила ни Ригу, ни Сокара; в мрачном и злобном молчании рухнула она на табуретку под зорким взглядом бывшего монаха.

— Выбери свежий лимон, Аглая, — сказал дядя Сокар, — и вымой сама бокал.

— Вы умно сделали, что выслали дочь, — шепнул Ригу, — девка могла ее до смерти изувечить.

И взглядом он указал на Мари, сжимавшую ножку табурета, который она уже нацелилась запустить Аглае в голову.

— Полно, Мари, — сказал дядя Сокар, становясь перед девушкой. — Не за тем сюда ходят, чтобы табуретками драться... Вот разобьешь зеркала, чем тогда будешь рассчитывать — не молоком же от своих коров...

— Дядя Сокар, у вас не дочь, а гадина. Ничем я не хуже ее, слышите? Если вы не хотите взять себе в зятя Бонебо, так скажите ему, пусть отправляется играть на бильярде в другое место!.. Пусть там и проигрывает свои деньги...

Сокар сейчас же прервал поток слов, которые выкрикивала Мари, — схватил ее в охапку и, невзирая на вопли и сопротивление, вытолкал за дверь, и как раз вовремя: на пороге бильярдной снова появился Бонебо, злобно сверкая взглядом.

— Я тебе еще покажу! — крикнула Мари Тонсар.

— Проваливай отсюда! — зарычал Бонебо, за которого уцепился Виоле, боясь, как бы прия-

тель не натворил беды. — Убирайся к черту, а не то я никогда не скажу с тобой ни слова, не взгляну на тебя.

— Ты не взглянешь? — крикнула разъяренная Мари, испепеляя его взглядом. — Сначала верни мои деньги, а тогда убирайся к своей Аглае, если она достаточно богата, чтобы тебя содержать...

И Мари Тонсар в ужасе убежала на дорогу, так как видела, что геркулес Сокар едва удерживает ринувшегося на нее, подобно тигру, Бонебо.

Ригу усадил Мари в свою тележку, чтобы укрыть от ярости Бонебо, крики которого слышны были даже в доме у Судри; упрятав Мари, он вернулся, чтоб выпить заказанный лимонад, а заодно понаблюдать за Плиссу, Амори Люпенем, Виоле и половым, пытавшимися успокоить Бонебо.

— Пошли, гусар, вам играть! — звал Амори, хилый белокурый юноша с мутными глазами.

— Да и она уж удрала, — убеждал Виоле.

Вряд ли кому-либо случалось испытать такое удивление, какое почувствовал Плиссу, заметив, что сидевший за одним из столиков бланжийский ростовщик больше заинтересован его особой, нежели ссорой двух девиц. Судебному приставу не удалось скрыть гримасы изумления, обычной при встрече с человеком, против которого имеешь зуб или злой умысел, и он тут же вернулся в бильярдную.

— Прощайте, дядя Сокар, — сказал ростовщик.

— Обождите немного, я приведу вашу лошадь, — сказал трактирщик.

«Как бы мне разузнать, о чем они за игрой говорят?» — раздумывал Ригу, глядя на полового, который виден был ему в зеркале.

Половой этот был человеком на все руки: он обрабатывал виноградник Сокара, подметал кофейню и бильярдную, поддерживал в порядке сад и поливал «Тиволи», и все это за двадцать экю в год. Он надевал куртку только в особо торжественных случаях, обычно же носил синие холщовые штаны, грубые башмаки и полосатый плисовый жилет, а когда прислуживал в бильярдной или кофейне, повязывал еще холщовый фартук. Фартук с нагрудником был отличительным признаком его должности. Парень этот был нанят трактирщиком на последней ярмарке, ибо в Авонской долине, как и во всей Бургундии, прислугу нанимают на ярмарочной площади, сроком на год, совершенно так же, как покупают на ней лошадей.

— Как тебя зовут? — спросил Ригу.

— С вашего позволения Мишелем, — ответил половой.

— Тебе иной раз случается видеть здесь дядю Фуршона?

— Раза два или три в неделю он сюда заходит вместе с господином Вермишелем, и тот каждый раз дает мне по несколько су, чтобы я предупредил, если нагрянет его жена.

— Дядя Фуршон хороший человек, образованный и толковый, — сказал Ригу и, расплатившись за лимонад, вышел из вонючей кофейни, ибо заметил, что дядя Сокар подвел лошадь к крыльцу.

Садясь в тележку, Ригу увидел аптекаря и окликнул его: «Эй, господин Вермю!» Узнав богача, Вермю поспешил к нему. Ригу сказал вполголоса:

— Как вы думаете, существуют реактивы, которые могут разъесть кожу, да так, чтобы вызвать настоящую болезнь, вроде ногтееды на пальце?

— Если господин Гурдон пожелает в это дело впутаться, да, существуют, — ответил тщедушный ученый.

— Никому ни слова, Вермю, или мы поссоримся. Но поговорите на этот счет с господином Гурдоном и скажите, чтобы он ко мне заехал послезавтра; я доставлю ему случай сделать довольно тонкую операцию — отрезать указательный палец.

Затем бывший мэр, оставив тщедушного аптекаря в полном недоумении, уселся в свою тележку рядом с Мари Тонсар.

— Ну, гадючка, — сказал он, когда лошадь побежала хорошей рысью, и взял девушку под руку, сначала привязав вожжи к кольцу кожаного фартука, закрывавшего тележку. — Ты, стало быть, воображаешь, что удержишь Бонебо такими безобразными выходками?.. Кабы ты была умна, ты сама бы постаралась женить его на этой толстой дурехе, а потом можно и подумать, как

ей отомстить.

Мари не могла удержаться от улыбки:

— У, какой вы гадкий! Вы нас всему научаете.

— Слушай, Мари, я люблю крестьян, но никому из вас не советую вырывать у меня кусок из рта. Аглая сказала, что твой брат Никола не дает проходу Пешине. Это нехорошо, я этой девочке покровительствую; после моей смерти она получит тридцать тысяч франков, и я хочу найти ей хорошего мужа. До меня дошло, что Никола вместе с Катрин чуть не убили бедняжку сегодня утром; ты увидишь брата и сестру, так вот скажи им: «Оставьте в покое Пешину, и дядя Ригу избавит Никола от солдатчины...»

— Вы черт, да и только! — воскликнула Мари. — Говорят, будто вы заключили договор с нечистым... Неужто это верно?

— Да, — серьезно ответил Ригу.

— Так на посиделках говорили, да я не верила.

— Он поклялся, что меня не убьют, не обворуют, что я проживу сто лет без всякой хвори, что мне во всем будет удача и что до самой смерти я буду молодым, как двухлетний петух...

— Это и видно, — сказала Мари. — Вам, значит, чертовски легко спасти моего брата от солдатчины...

— Если он захочет, потому что ему придется расстаться с одним пальцем на руке, вот и все, — ответил Ригу. — Я расскажу ему, как это сделать.

— Слушайте, вы сворачиваете на верхнюю дорогу? — воскликнула Мари.

— Ночью я здесь уже не езжу, — ответил бывший монах.

— Из-за креста? — простодушно спросила Мари.

— Вот именно. И хитра же ты! — ответил этот дьявол в образе человека.

Они подъехали к месту, где кантональный тракт прорезал небольшую возвышенность и шел между двумя довольно крутыми откосами, как это часто бывает на французских дорогах.

В конце узкого проезда, длиною с сотню шагов, дороги в Ронкероль и Сернэ образуют перекресток, на котором поставлен крест. И с одного, и с другого откоса очень легко прицелиться в проезжего и выстрелить в него почти в упор, тем более что возвышенность эта засажена виноградником, а злоумышленник прекрасно может укрыться в кустах пышно разросшейся здесь ежевики. Не трудно догадаться, почему предусмотрительный ростовщик никогда не ездил тут по ночам. Туна огибает этот бугор, носящий название «Крестового». Нельзя найти более подходящего места для нападения или убийства, потому что ронкерольская дорога уходит к мосту, перекинутому через Авону перед охотничьим домиком, а дорога в Сернэ ведет к почтовому тракту. Таким образом, убийца может скрыться по одной из четырех дорог — на Эни, Виль-о-Фэ, Ронкероль или Сернэ — и поставить в затруднение своих преследователей.

— Я сажу тебя при въезде в деревню, — сказал Ригу, заведя первые дома Бланжи.

— Анеты боишься, старый греховодник! — воскликнула Мари. — Да скоро ли вы ее от себя прогоните? Вот уж три года, как она у вас!.. Смешно мне, что ваша старуха еще здоровехонька. Видно, бог тоже мстит за себя...

IV ВИЛЬ-О-ФЭЙСКИЙ ТРИУМВИРАТ

Предусмотрительный ростовщик завел такой порядок, чтобы жена и Жан ложились и вставали вместе с солнцем, убедив их, что никто не залезет в дом, если сам он будет бодрствовать до двенадцати, а вставать поздно. Таким образом, он не только обеспечил себе полную безопасность с семи часов вечера и до пяти утра, но, кроме того, приучил и жену, и Жана оберегать его сон и сон его Агари, комната которой находилась за его спальней.

Итак, на следующий день утром, в половине седьмого, г-жа Ригу, ведавшая совместно с Жаном птичьим двором, робко постучалась в спальню к мужу.

— Ригу, — сказала она, — ты велел тебя разбудить.

И тон ее голоса, и поза, и то, как она робко стучалась в дверь, выполняя приказание Ригу и в

то же время боясь получить нагоняй за свою исполнительность, все говорило о том, что бедняжка забывала себя ради мужа и питала глубокую привязанность к этому хитрому домашнему тирану.

— Ладно! — крикнул Ригу.

— А Анету будить? — спросила она.

— Нет, пусть спит! Она не ложилась всю ночь! — ответил он совершенно серьезно.

Ригу всегда сохранял серьезность, даже когда разрешал себе пошутить. Анета в самом деле потихоньку открывала дверь Сибиле, Фуршону и Катрин Тонсар, заходившим в разное время между одиннадцатью и часом ночи.

Через десять минут Ригу, одетый более тщательно, чем обычно, спустился вниз и бросил жене короткое: «Здравствуй, старуха!», что обрадовало ее куда сильнее, чем если бы она увидела самого генерала Монкорне у своих ног.

— Жан, — сказал Ригу бывшему послушнику, — никуда не отлучайся, смотри за домом, чтоб меня не обворовали, — ты на этом потеряешь больше, чем я!

Именно так, соединяя ласку с грубым окриком и надежду с отповедью, этот хитрый эгоист обратил трех своих рабов в верных и преданных собак.

Снова избрав ту же верхнюю дорогу, чтобы не ехать мимо Крестового бугра, Ригу прибыл в восьмом часу утра на суланжскую площадь.

В то время как он наматывал вожжи на столбик у крыльца с тремя ступеньками, открылись ставни и в окне показалось тронутое оспой лицо Судри, которому юркие черные глазки придавали лукавое выражение.

— Начнем с того, что перекусим чем бог послал, потому что раньше часа мы завтрака в Виль-о-Фэ не получим.

Он тихонько кликнул служанку, такую же молоденькую и хорошенькую, как и в доме Ригу; она бесшумно сошла вниз, и хозяин приказал ей подать ветчины и хлеба, а затем самолично отправился в погреб за вином.

Ригу принялся в тысячный раз рассматривать столовую с дубовым паркетом и лепным потолком, уставленную красивыми темными шкафами, обшитую панелью до высоты локтя, с прекрасной изразцовой печкой и с великолепными стенными часами из обстановки г-жи Лагер, так же как и белые лакированные стулья со спинками в виде лиры и сиденьями из зеленого сафьяна, прибитого золочеными гвоздиками. Стол цельного красного дерева накрыт был зеленой клеенкой с темным узором и зеленой каймой. Паркет венгерского рисунка, старательно натертый Урбеном, доказывал, как взыскательны к своей прислуге бывшие горничные.

«Э, все это слишком дорого, — подумал Ригу. — В моей столовой можно так же вкусно поесть, как и здесь, а деньги, которые пошли бы на эту ненужную роскошь, приносят мне хороший процент».

— Где же супруга? — спросил он суланжского мэра, появившегося с бутылкой почтенного вида в руках.

— Спит.

— И вы уже больше не нарушаете ее покоя, — заметил Ригу.

Бывший жандарм игриво подмигнул ему, указывая на ветчину, которую в эту минуту подавала хорошенькая служанка Жанета.

— Вот такие кусочки возбуждают аппетит, — сказал он. — Приготовлено дома и почато только вчера...

— Этой штучки, сват, я у вас еще не видел. Где вы ее выудили? — шепнул на ухо хозяину бывший бенедиктинец.

— Не хуже домашней ветчины, — снова подмигнул жандарм. — Она у меня с неделю...

Жанета, в ночном чепчике, в коротенькой юбочке, в туфлях на босу ногу, в корсаже с бретелями, какой носят крестьянки, и в накинутой на плечи фуляровой косынке, не вполне скрывавшей ее свежие девичьи прелести, была так же аппетитна на вид, как и окорок, который расхваливал Судри. Цветущая здоровьем, пухленькая, как пышечка, стояла она, опустив голые красные руки с большими кистями в ямочках и с короткими, но красиво очерченными на концах пальчиками. Типичная бургундская крестьяночка — сама краснощекая, а лоб, шейка и уши — белоснежные; гу-

стые каштановые волосы, чуть-чуть раскосые глаза, раздувающиеся ноздри, чувственный рот и подернутые легким пушком щеки; и при всем том живчик, несмотря на обманчиво скромную манеру держаться, словом — образец плутоватой служанки.

— Честное слово, ваша Жанета похожа на аппетитный окорок, — сказал Ригу. — Не будь у меня своей Анеты, я не отказался бы от такой Жанеты.

— Одна стоит другой, — подтвердил бывший жандарм. — Ваша Анета такая белокурая, нежная, пригоженькая... А как поживает ваша супруга? Спит?.. — вдруг спросил он, давая понять Ригу, что и он понимает шутку.

— Она просыпается с петухами, — ответил Ригу, — зато ложится с курами. Я же засиживаюсь допоздна за газетой. Ни вечером, ни утром жена не мешает мне спать; она ни за что на свете не войдет ко мне...

— Здесь как раз наоборот, — сказала Жанета. — Барыня засиживается за картами с гостями, а их бывает иногда человек пятнадцать; барин ложится в восемь часов, а встаем мы со светом...

— Вам это кажется разницей, — сказал Ригу, — а в сущности, это одно и то же. Так вот, красавица, приходите ко мне, а сюда я пришлю Анету; это будет одно и то же, а все-таки по-разному.

— Старый греховодник, — сказал Судри, — ты ее сконфузил...

— Как, жандарм! Ты довольствуешься в своей конюшне только одной лошадкой?.. Впрочем, каждый ловит свое счастье там, где его находит.

По приказанию хозяина Жанета пошла приготовить ему выездное платье.

— Ты, конечно, обещал на ней жениться после смерти жены? — спросил Ригу.

— В наши годы, — ответил жандарм, — у нас других средств не имеется!

— Подвернись нам честолюбивые девицы, мы живо бы овдовели, — заметил Ригу, — в особенности если госпожа Судри расскажет при Жанете, как надо намыливать лестницы.

От этих слов оба супруга впали в задумчивость. Когда Жанета пришла и доложила, что все готово, Судри сказал ей: «Пойдем, поможешь мне одеться!» Бывший бенедиктинец улыбнулся.

— Вот и еще одна разница, — сказал он, — я бы не побоялся оставить тебя наедине с Анетой, сват.

Четверть часа спустя Судри в полном параде уселся в плетеную тележку, и оба друга, обогнув Суланжское озеро, отправились в Виль-о-Фэ.

— А замок-то, а? — промолвил Ригу, когда они доехали до того места, откуда открывался вид на один из боковых фасадов замка.

В словах бывшего революционера звучала ненависть разбогатевшего простолюдина к крупным поместьям и большим земельным владениям.

— Я надеюсь, что, пока я жив, он будет стоять на месте, — ответил отставной жандарм. — Граф де Суланж был моим генералом; он оказал мне услугу, устроил хорошую пенсию; а потом он поручил управлять имением Люпену, отец которого нажил себе на этом состояние. После Люпена возьмут в управляющие другого, и пока там будут Суланжи, имения не тронут... Это славные люди, дают жить другим, и потому им самим хорошо живется...

— Все это так, но у генерала трое детей, и после его смерти они могут не поладить; в один прекрасный день зять и сыновья захотят разделить, и, хотя имение богатейшее, лучшим выходом будет для них продать его скупщикам, а уж с теми мы справимся.

Теперь замок Суланжей предстал перед ними всем боковым фасадом, словно бросая вызов монаху-расстриге.

— Да, в старые времена хорошо умели строить!.. — воскликнул Судри. — Но теперь граф экономит деньги; Суланж должен стать майоратом, ведь без этого ему не получить пэрства.

— Сват, — отозвался Ригу, — майораты провалятся.

Исчерпав деловую тему, почтенные буржуа начали обсуждать достоинства обеих служанок на столь «бургундском» наречии, что мы не решаемся передать их разговор печатно. Эта неиссякаемая тема завела их так далеко, что они и не заметили, как подъехали к главному городу округа, где царил Гобертен, — городу, настолько любопытному, что, пожалуй, даже самые нетерпеливые люди не возразят против маленького отступления.

Название Виль-о-Фэ, хотя оно и звучит довольно странно, легко объясняется искажением

простонародного латинского *Villa in fago*, то есть «усадьба в лесу». Из самого названия ясно, что лес некогда покрывал дельту Авоны при ее слиянии с рекой, в свою очередь впадающей в Иону пятью милями ниже. Очевидно, какой-нибудь франк построил крепость на возвышенности, которая в этом месте отходит в сторону и, постепенно снижаясь, спускается отлогими склонами в ту продолговатую долину, где Леклерк-депутат купил себе землю. Перерезав дельту глубоким и длинным рвом, завоеватель создал здесь грозную позицию, настоящее феодальное владение; сидя здесь, сеньору удобно было взимать мостовую и дорожную пошлину и следить за поступлением помольного сбора, налагавшегося на мельницы.

Такова история возникновения Виль-о-Фэ. Всюду, где появлялось феодальное или церковное господство, оно вызывало к жизни новые интересы, поселения, а затем и города, если местность способствовала привлечению, развитию и созданию тех или других промыслов. Способ сплава, придуманный Жаном Руве и требовавший подходящих условий для перехватывания плотов, собственно говоря, и создал Виль-о-Фэ, а до этого он был просто деревней по сравнению с Суланжем. Виль-о-Фэ стал складочным пунктом лесных материалов, которые поставляли леса, тянувшиеся на протяжении двенадцати лье по берегам обеих рек. Вылавливание бревен, розыск тех, что отбились, перегонка плотов по Ионе в Сену вызвали большой наплыв рабочих. Прирост населения увеличил потребление и способствовал развитию торговли. Таким образом, в Виль-о-Фэ, где в конце XVI столетия насчитывалось не более шестисот жителей, в 1790 году было две тысячи населения, а Гобертен поднял эту цифру до четырех тысяч. И вот каким образом.

Когда Законодательное собрание издало указ о новом распределении по округам, Виль-о-Фэ, географически расположенный в пункте, где требовалась супрефектура, был избран, предпочтительно перед Суланжем, главным городом округа. Учреждение супрефектуры повлекло за собой образование суда первой инстанции и назначение чиновничьего штата, потребного для окружного центра. Вместе с приростом парижского населения возросли и цена, и спрос на дрова, а следовательно, возросло и значение виль-о-фэйской торговли. Гобертен, предвидевший это обстоятельство, сильно разбогател, ибо угадал, как отразится заключение мира на численности населения Парижа, которое с 1815 по 1825 год действительно возросло более чем на треть.

Расположение Виль-о-Фэ предопределено очертанием местности. По обоим краям высокого мыса находятся пристани. Запань для задержки сплавляемого леса устроена у подножия возвышенности, поросшей Суланжским лесом. Между запанью и городом лежит предместье... Нижний город, расположенный в самом широком месте дельты, доходит до Авонского озера.

Над нижним городом на раскорчеванной триста лет тому назад возвышенности пятьсот домов, окруженных садами, обступают с трех сторон мыс, любуются на многоцветные отражения в сверкающей поверхности Авонского озера, берега которого загромождены строящимися плотами и штабелями дров. Покрытая плотами река и живописные водопады Авоны, которые, низвергаясь с значительной высоты, бегут к мельничным запрудам и фабричным шлюзам, очень оживляют картину, а темно-зеленая рамка лесов и вытянутая в длину Эгская долина, на фоне коей резко выделяется город Виль-о-Фэ, придают ей особую прелесть.

Перед этой обширной панорамой почтовый тракт, перекинувшись по мосту через реку в четверти лье от Виль-о-Фэ, упирается в самое начало аллеи из тополей, где вокруг конной почтовой станции образовался целый поселок, примыкающий к большой ферме. Кантональная дорога также сворачивает к мосту, за которым соединяется с большаком.

Гобертен построил себе дом на одном из участков дельты, рассчитывая, что площадь вокруг него скоро застроится и красотой своей затмит верхний город. Особняк Гобертена, выстроенный в современном стиле, был одноэтажный, с мезонином, каменный, под аспидной крышей, с литым чугунным балконом, с решетчатыми ставнями и красиво окрашенными оконными рамами, с простым греческим орнаментом по карнизу, с прекрасным двором и омываемым Авонкой английским садом позади дома. Изящество этого здания побудило супрефектуру, временно ютившуюся в какой-то лачуге, перейти в особняк на другой стороне площади, который департамент построил по настоянию депутатов Леклерка и Ронкероля. Здесь же город выстроил мэрию. Для суда, также снимавшего помещение, тоже построили новое здание, и таким образом Виль-о-Фэ благодаря ретивости своего мэра обзавелся целым рядом весьма внушительных домов в современном стиле.

Жандармерия строила казармы, которые должны были замкнуть четырехугольник площади.

Всеми этими переменами, которыми местные жители очень гордились, они были обязаны влиянию Гобертена, незадолго до того получившего крест Почетного легиона по случаю тезоименитства короля. В таком городе, возникшем совсем недавно, не было ни аристократии, ни дворянства. Поэтому гордые своей независимостью виль-о-фэйские граждане приняли близко к сердцу нелады, возникшие между крестьянами и наполеоновским графом, перешедшим на сторону Реставрации. С их точки зрения притеснители оказывались притесняемыми. Правительство хорошо знало настроение этого торгового города и посадило в него супрефектом человека, склонного к примирительной политике, выученика своего дяди — знаменитого де Люпо, человека пронырливого, умевшего приспособиться к требованиям любого правительства, одного из тех людей, которых политики-пуритане, сами поступающие много хуже, называют продажными душами.

Внутреннее убранство дома Гобертена щеголяло безвкусными выдумками современной роскоши. Тут были и богатые обои с золотым бордюром, и бронзовые люстры, и мебель красного дерева, и висячие лампы, и круглые столики с мраморными досками, и белая фарфоровая чайная посуда с золотой каемкой, и стулья с красным сафьяновым сиденьем, и гравюры на меди в столовой, а в гостиной гарнитур, обитый голубым кашемиром, — все в достаточной мере казенное, чрезвычайно безвкусное, но в Виль-о-Фэ казавшееся верхом сарданапаловой роскоши. Г-жа Гобертен играла роль местной львицы; она кривлялась и жеманничала, невзирая на свои сорок пять лет, уверенная, что супруге мэра, имеющей собственный «двор», все дозволено.

Не правда ли, людям, знающим Францию, дома Ригу, Судри и Гобертена дают полное представление об интересующих нас деревне, городке и окружном городе?

Гобертен, в сущности, не был ни умен, ни талантлив, но он казался таким окружающим. Его наметанный глаз и сметливость объяснялись исключительно острой жаждой наживы. Богатства он добивался не для жены, не для двух своих дочерей, не для сына, не для самого себя, не из семейного духа и не ради уважения, доставляемого деньгами: помимо чувства мести, которым он жил, он любил звон золота, подобно г-ну Нусингену, который, как говорят, всегда позвякивает золотом в карманах. Вся жизнь Гобертена ушла в дела; и, хотя живот у него был набит плотно, он проявлял такую же прыть, как человек, у которого в животе пусто. Интриги, проделки, ловкие махинации, надувательство, коммерческие хитрости, всякие отчеты, которые он и составлял и проверял, бурные сцены, столкновение всевозможных интересов — все это его веселило, словно плутоватого слугу старинной комедии, усиливало кровообращение и равномерно разливало желчь по телу. Он носился туда и сюда, и верхом и в экипаже, и по воде и по суше, не пропускал торгов, ездил в Париж, успевал обо всем подумать, держал в своих руках тысячи нитей и никогда не перепутывал их.

Он напоминал охотничью собаку: живой, решительный в движениях и в замыслах, не большого роста, приземистый, подобранный, с тонким нюхом, настороженным взглядом и всегда начеку. Круглое, темное от загара лицо с оттопыренными и обожженными солнцем ушами — потому что он носил фуражку — вполне соответствовало его характеру. Нос у него был несколько вздернут, а сжатые губы, наверное, никогда не раскрывались для доброжелательного слова. Щеки от самых скул, на которых играл багровый румянец, заросли черными, блестящими бакенбардами, терявшимися в высоком галстуке. Его облик дополняли курчавые волосы с сильной проседью, от природы завивавшиеся буклями, словно он был в парике, как старый судья; казалось, они были скручены силой того огня, что пылал румянцем на его загорелом лице, искрился в его серых глазах, вокруг которых лучиками расходились морщины, — очевидно, из-за его всегдашней привычки щуриться, глядя вдаль при ярком солнечном свете. Он был сухощав, худ и жилист, с волосатыми, цепкими и узловатыми пальцами, как у людей, которые в работе «не щадят живота своего». Повадки его приходились по вкусу людям, имевшим с ним дело, так как он надевал личину веселости; он умел много говорить, ничего не сказав о том, что ему хотелось утаить; он мало писал, чтобы иметь возможность отрицать то, что было ему невыгодно или случайно срывалось с языка. Книжки его вел кассир, человек честный, из тех простаков, каких субъекты, вроде Гобертена, всегда умеют откопать и околпачить ради своей выгоды.

Когда плетеная тележка Ригу показалась часов около восьми на аллее, которая тянется вдоль

реки от самой почтовой станции, Гобертен в фуражке, куртке и высоких сапогах уже возвращался с пристаней. Он ускорил шаг, сразу догадавшись, что Ригу мог тронуться в путь только ради «главного дела».

— Здорово, дядя Хват! Здорово, утробушка, исполненная желчи и мудрости! — приветствовал он обоих гостей, слегка похлопав и того и другого по животу. — Поговорить приехали, ну что ж, поговорим за стаканчиком вина, черт побери! Вот как надо делать дела!

— При таком правиле вам следовало бы быть пожирней, — ответил Ригу.

— Уж очень я себя не жалею; я не то, что вы, не сижу сиднем дома, не нежусь, как молодящийся старикашка... Честное слово, вы здорово устроились! Знай себе посиживаете в кресле спиной к огню, брюхом к столу... а дела сами к вам в руки плывут. Да входите же, черт вас побери, милости просим погостить подольше.

Слуга в синей ливрее с красным кантом взял лошадь под уздцы и отвел ее во двор, где помещались службы и конюшни.

Гобертен оставил своих гостей в саду и, отдав необходимые приказания, распорядившись насчет завтрака, вскоре вернулся к ним.

— Ну-с, дорогие мои волчатки, — сказал он, потирая руки, — имеются сведения, что суланжские жандармы двинулись сегодня на рассвете по направлению к Кушу: должно быть, собираются арестовать приговоренных за лесные порубки... Черт меня побери! Каша заваривается не на шутку! Сейчас, — продолжал он, взглянув на часы, — ребята, наверно, уже сидят за крепкой решеткой.

— Наверное, — подтвердил Ригу.

— Ну, а что говорят в деревне? На чем они порешили?

— А что ж тут решать? — спросил Ригу. — Мы к этому делу не причастны, — прибавил он, бросив взгляд на Судри.

— Как не причастны? А если в результате наших стараний Эги будут проданы, кто наживет на этом пятьсот — шестьсот тыщенок франков? Я один, что ли? Я недостаточно крепок, чтобы сразу отвалить два миллиончика, — у меня трое детей еще не пристроены, у меня жена, не желающая считаться с расходами, мне нужны компаньоны. Разве у дяди Хвата не приготовлено денег? Все до одной закладные у него срочные, займы он теперь дает только под краткосрочные обязательства, за которые я отвечаю. Словом, я вкладываю восемьсот тысяч франков, сын мой, судья, — двести тысяч, от дяди Хвата мы ждем двухсот тысяч, а вы сколько думаете вложить, отче?

— Остальное, — холодно ответил Ригу.

— Ей-богу, хотел бы я иметь руку там, где у вас сердце! — воскликнул Гобертен. — А дальше что вы будете делать?

— Да то же, что и вы. Выкладывайте ваш план.

— Мой план такой: взять двойную цену за ту половину, что мы уступим желающим — из Куша, Сернэ и Бланжи. У дяди Судри будет своя клиентура в Суланже, а у вас — здесь. Все это очень просто, а вот как мы договоримся друг с другом? Как мы поделим между собой главные выигрыши?

— Господи! Что может быть проще, — ответил Ригу. — Каждый возьмет себе то, что ему приглянется. Я никому не собираюсь мешать, я с зятем и дядей Судри возьму себе леса; они настолько вырублены, что вас не соблазнят, а на вашу долю пойдет все остальное. Вы не напрасно заплатите денежки, честное слово!

— Подпишите вы нам такое условие? — спросил Судри.

— Писаному договору цена грош, — ответил Гобертен. — Ведь вы же видите, что я играю в открытую; я целиком доверяюсь Ригу, он будет покупателем.

— Мне этого достаточно, — сказал Ригу.

— Я ставлю только одно условие: я получаю охотничий домик со всеми службами и пятьдесят арпанов прилегающей земли; за землю я вам заплачу. Домик пойдет мне под дачу, он как раз по соседству с моими лесами. Госпожа Гобертен, — мадам Изора, как ей угодно себя называть, — говорит, что это будет ее вилла.

— Хорошо, — сказал Ригу.

— Ну, а говоря между нами, — шепотом продолжал Гобертен, осмотревшись кругом и удивившись, что никто его не услышит, — как вы считаете, может ли кто из них пойти на недоброе дело?

— Вроде чего именно? — спросил Ригу, не желавший ничего понимать с полуслова.

— Ну, скажем, вдруг самый отчаянный из их шайки, и, конечно, хороший стрелок, пустит пулю... не в графа, а мимо... просто, чтобы его припугнуть?

— Граф такой человек, что может погнаться и схватить стрелка.

— Ну, а Мишо?

— Мишо не станет болтать, он поведет тонкую политику, примется выслеживать и в конце концов разнюхает, кто виновник, кто на это дело подбил.

— Вы правы, сказал Гобертен. — Надо бы, чтобы человек тридцать подняли бунт; кое-кого отправят на каторгу... словом, захватят ту сволочь, от которой нам все равно придется отделаться, после того как мы ее используем... У вас там есть два-три головореза вроде Тонсара и Бонебо.

— Тонсар способен на любое преступление, — сказал Судри, — я его знаю... А мы еще подогреем его через Водуайе и Курткюиса.

— Курткюис у меня в руках, — сказал Ригу.

— А я держу Водуайе.

— Будьте осторожны! Самое главное — будьте осторожны! — промолвил Ригу.

— Слушайте-ка, отче, уж не считаете ли вы ненароком, что нам и поговорить о том, что творится, нельзя?.. Ведь не мы же составляем протоколы, задерживаем людей, совершаем порубки и подбираем колосья?.. Если его сиятельство умело возьмется за дело, если он договорится с кем-нибудь о сдаче Эгов в аренду, тогда поздно будет, напрасно мы трудились, и вы потеряете, может быть, больше, чем я... Все, что здесь говорится, говорится между нами и только для нас, потому что я, разумеется, не скажу Водуайе ни одного слова, которого я не мог бы повторить перед богом и перед людьми... Но никому не запрещено предвидеть события и воспользоваться ими, когда они наступят... У крестьян нашего кантона горячие головы; требовательность генерала, его строгость, преследования Мишо и его помощников выводят их из себя; сегодня дело еще ухудшилось, и я готов поспорить, что без стычки с жандармами у них там не обошлось... Ну, а теперь идемте завтракать.

Госпожа Гобертен вышла в сад к гостям. Это была женщина с довольно белым лицом и с длинными буклями на английский манер, спадавшими вдоль щек; она разыгрывала из себя существо страстное, но добродетельное, уверяла, что никогда не знала любви, заводила со всеми чиновниками разговоры о платонических чувствах и в качестве верного слушателя держала при себе местного прокурора, которого называла своим *patito*⁷⁰. Она питала пристрастие к чепчикам с помпонами, но любила также и прически, злоупотребляла голубым и нежно-розовым цветом, в сорок пять лет сохранила манеры и ужимочки молоденькой девушки, охотно танцевала, но ноги и руки у нее были громадные. Она требовала, чтобы ее звали Изорой, ибо при всех своих смешных причудах имела достаточно вкуса, чтобы находить фамилию Гобертен неблагозвучной; у нее были беледые глаза и волосы неопределенного цвета, вроде мочалы. Словом, она служила образцом для многих молодых девиц, вперявших взоры в небо и воображавших себя ангелами.

— Ну вот, господа, — сказала она, здороваясь с гостями, — могу вам сообщить весьма странную новость: жандармы вернулись обратно.

— Арестовали кого-нибудь?

— Никого. Генерал заранее выхлопотал всем прощение... Да, им даровано прощение в честь радостной годовщины возвращения к нам короля.

Трое сообщников переглянулись.

— Никак я не думал, что этот толстый кирасир такой тонкий политик, — промолвил Гобертен. — Идемте к столу, надо чем-нибудь утешиться; в конце концов партия не проиграна, а только отложена. Теперь, Ригу, дело за вами.

Судри и Ригу возвратились домой, обманутые в своих ожиданиях, и, не придумав, как приве-

70 Обожателем (ит.).

сти события к желаемой развязке, они положились, по совету Гобертена, на случай. Подобно тому как в первые дни революции некоторые якобинцы, озлобленные и сбитые с толку добротой Людовика XVI, провоцировали меры строгости со стороны двора, дабы вызвать этим анархию, сулившую им власть и богатство, так и страшные противники графа де Монкорне возложили все свои надежды на строгость, с которой Мишо и лесники будут преследовать новых порубщиков; Гобертен обещал им содействие, не называя, однако, своих сообщников, так как желал держать в тайне свои сношения с Сибиле. По скрытности никто не мог равняться с человеком гобертеновской закладки, разве только бывший жандарм и монах-расстрига. Заговор мог быть приведен к хорошему, или, вернее, дурным, результатам только этой троицей, обуреваемой ненавистью и жаждой наживы.

V ПОБЕДА БЕЗ БИТВЫ

Опасения г-жи Мишо были результатом внутреннего зренья, даруемого истинной страстью. Душа, всецело поглощенная одним существом, в конце концов начинает с какой-то особой зоркостью проникать в окружающий ее мир, ясно в нем разбираться. Любящая женщина носит в себе те предчувствия, которые будут ее волновать позднее, в дни материнства.

В то время как бедная женщина вслушивалась в смутные голоса, доносившиеся из неведомых миров, в трактире «Большое-У-поение» действительно разыгрывалась сцена, грозившая смертью ее мужу.

Часов около пяти утра крестьяне, поднявшиеся спозаранку, увидели суланжских жандармов, направляющихся к Кушу. Новость очень быстро распространилась, и те, кто был в этом заинтересован, с удивлением узнали от жителей верхней части долины, что отряд жандармов под командой виль-о-фэйского поручика прошел через Эгский лес. Дело происходило в понедельник, а значит, у многих было достаточно оснований пойти в кабак опохмелиться; но, кроме того, был канун годовщины возвращения Бурбонов, и, хотя завсегдатаи притона Тонсара вовсе не нуждались в такой «августейшей» (как говорилось тогда) причине для оправдания своего пристрастия к «Большому-У-поению», они не упускали случая во всеуслышанье заявлять об этом, как только им мерещилась хотя бы тень должностного лица.

В кабаке сидели Водуайе, Тонсар с семейством, Годэн, также считавшийся в некотором роде членом семьи, и старый виноградарь по имени Ларош. Он кое-как перебивался со дня на день и был одним из «правонарушителей», доставленных деревней Бланжи по тому своеобразному набору, который был придуман, чтобы отвадить генерала от его страсти к протоколам. Кроме него, Бланжи выставило еще трех мужчин, двенадцать женщин, восемь девушек и пять мальчишек, за которых должны были отвечать их мужья и отцы, в полном смысле слова нищие. Ими и ограничивалось число вовсе неимущих людей. В 1823 году виноградари разбогатели, а 1826 год благодаря исключительному сбору винограда также сулил хороший доход. Кроме того, три соседние с Эгами общины кое-что подработали у генерала. Словом, в Бланжи, Куше и Сернэ с великим трудом было набрано сто двадцать бедняков; для этого пришлось привлечь старух, которые были матерями или бабушками тех, кто чем-то владел, но сами, вроде матери Тонсара, не имели ровно ничего. Старый порубщик Ларош был вовсе несостоятельным человеком; в его жилах текла горячая и порочная кровь, как у Тонсара, его снедала глухая холодная ненависть, работал он молча, угрюмо, работы не выносил, а существовать, не трудясь, не мог; выражение лица его было жесткое, отталкивающее. Несмотря на свои шестьдесят лет, он был еще довольно силен, только спина ослабла и он сгорбился; будущее не сулило ему ничего, земли у него не было ни клочка, и на тех, кто владел землею, он смотрел с завистью; поэтому в Эгском лесу Ларош вел себя самым бесцеремонным образом, с удовольствием производя в нем бессмысленные опустошения.

— Как же это? Пусть, значит, забирают, а мы молчать будем? — говорил Ларош. — После Куша, глядишь, заявятся и в Бланжи. Меня уже судили за такие дела, теперь трех месяцев острога не миновать.

— Ну, а что же ты, старый пьянчуга, поделаешь с жандармами? — возразил Водуайе.

— Как что, да ведь косами можно их лошадям ноги перерезать! Жандармы живо очутятся на земле, ружья у них не заряжены, а как увидят, что нас вдесятеро больше, волей-неволей уберутся восвояси. Если бы сразу поднялись все три деревни да убили бы двух-трех жандармов, пришлось бы им уступить, — всех ведь на гильотину не потащишь, — был уж такой случай где-то в Бургундии, куда по такому же делу пригнали целый полк. Ну и что? Полк убрался обратно, а мужики по-прежнему ходят в лес, как ходили туда много лет, вот так же, как и у нас.

— Раз уж убивать, — сказал Водуайе, — лучше убить одного; да так, чтобы все шито-крыто, и раз навсегда отохотить арминаков от наших мест.

— Которого же из них, разбойников? — спросил Ларош.

— Мишо, — ответил Курткюис. — Водуайе правильно говорит, даже очень правильно. Вот увидите, укокошим одного сторожа темной ночью, отобьем и у других охоту сторожить даже белым днем. Весь день в лесу сидят, да и ночью не очень-то уходят. Прямо черти какие-то!

— Куда ни сунься, — сказала семидесятивосьмилетняя бабка Тонсар, на сухом, как пергамент, щербатом лице которой, обрамленном грязными прядями седых волос, выбивавшихся из-под красного платка, светились злым огоньком зеленые глазки, — куда ни сунься, они тут как тут и непременно уж задержат и осмотрят вязанку, а окажется там хоть одна срезанная ветка, хоть прутик, самый дрянной прутик орешника, отберут у тебя вязанку и обязательно напишут протокол. Напишут! Ух, мерзавцы! Их ничем не проведешь, а уж если они тебе не поверят, так заставят распустить всю вязанку... Три пса проклятых, и цена всем троим грош. Убить бы их, — Франции от этого беды не будет, право!

— Мозгляк Ватель лучше других! — заметила Тонсарша.

— Лучше? — воскликнул Ларош. — Такой же, как и остальные. Посмеяться он действительно с тобой может, только другом он тебе от этого не станет. Он самый вредный из всех троих, такой же, как и Мишо, бесчувственный к бедноте.

— А жена у Мишо, что ни говори, хорошенькая, — заметил Никола Тонсар.

— Она брюхата, — сказала старуха. — Только если дело и дальше так пойдет, ее кутенку справят веселые крестины, когда она ощенится.

— С этими парижскими арминаками и побаловаться-то нельзя, — сказала Мари Тонсар, — а если и побалуешься, они все равно пропишут тебя в протоколе, словно и не гуляли с тобой...

— Ты, стало быть, пробовала их закрутить? — спросил Курткюис.

— Еще бы не пробовала!

— А все-таки, — решительно сказал Тонсар, — они такие же люди, как и все остальные; значит, можно и до них добраться.

— Да нет же, — продолжала Мари развивать свою мысль, — их ничем не раззадоришь. Не знаю, какое им зелье пить дают, потому как молодчик из охотничьего домика, тот хоть женат, а Ватель, Гайяр и Штейнгель — холостые; у них нет никого, да ни одна здешняя женщина на них и не позарится...

— Посмотрим, как пойдут дела во время жатвы и сбора винограда, — заметил Тонсар.

— Колосья все равно собирать будем, — сказала старуха.

— Не знаю, — отозвалась невестка. — Груазон сказывал так: господин мэр напечатает объявление, а там будет прописано, что допрежь надо получить свидетельство о бедности, а потом уж собирать колосья. А кто будет выдавать свидетельства? Он же сам! Он много не выдаст. А потом напечатает приказ не ходить на поле, пока последний сноп не вывезут...

— Вот как! Да он хуже всякого града, помещик этот! — крикнул Тонсар, выходя из себя.

— Я про это вчера только узнала, — сказала Тонсарша, — когда поднесла Груазону стаканчик вина, чтобы развязать ему язык.

— Вот тоже счастливчик! — воскликнул Водуайе. — Построили ему дом, дали хорошую девку в жены, есть у него доходец, живет как король... А я двадцать лет прослужил в стражниках, а ничего, кроме ревматизма, не нажил.

— Да, он счастливец, — промолвил Годэн, — у него есть своя земля...

— Сидим мы здесь дураки дураками, — воскликнул Водуайе. — Пойдем в Куш, посмотрим хоть, что там делается: там ведь люди тоже не из терпеливых.

— Идем, — откликнулся Ларош, не вполне твердо стоявший на ногах. — Будь я не я, если не прикончу там одного или двух.

— Ты-то? — фыркнул Тонсар. — Ты и пальцем не пошевелишь, пусть хоть всю общину забирают. — Ну, а я, если кто мою старуху тронет, — вот оно, мое ружье, оно промаха не дает.

— Ладно, — сказал Ларош, обращаясь к Водуайе, — пусть только заберут кого-нибудь из кушских, тогда хоть одному жандарму, а быть убитому.

— Сказано, дядя Ларош, сказано! — воскликнул Курткюис.

— Сказано-то сказано, — ответил Водуайе, — да не сделано и не будет сделано... И что толку?... Сам же будешь в ответе!.. Уж если убивать, так лучше убить Мишо.

Во время всей этой сцены Катрин Тонсар караулила у дверей кабака, чтобы вовремя прекратить разговор, если кто пойдет мимо. Теперь они всей ватагой, невзирая на то что вино бросилось им в ноги, скорей вылетели, нежели вышли из трактира, и, охваченные воинственным пылом, направились к Кушу по дороге, пролегающей на протяжении четверти лье вдоль ограды Эгского парка.

Куш — самая настоящая бургундская деревня в одну улицу, выстроившаяся около большой дороги. Одни дома кирпичные, другие глинобитные, но все одинаково убогие. К департаментскому тракту, шедшему из Виль-о-Фэ, деревня повернулась садами и огородами, и оттуда вид у нее был довольно живописный. Между большой дорогой и Ронкерольскими лесами, которые составляли продолжение Эгских лесов и покрывали все высоты, протекала речушка, и несколько домиков, довольно красиво сгруппированных на берегу ее, оживляли пейзаж. Церковь и дом священника составляли отдельную группу, откуда открывался вид на решетку Эгского парка, доходившую до этого места. Перед церковью находилась обсаженная деревьями площадь, на ней заговорщики из «Большого-У-поения» увидели жандармов и побежали быстрее. В этот момент из Кушских ворот выехали трое всадников; крестьяне узнали в них генерала, его слугу и начальника охраны Мишо, помчавшихся галопом к площади; Тонсар и его компания подоспели туда несколькими минутами позже. «Правонарушители», как мужчины, так и женщины, не оказали никакого сопротивления; они стояли, окруженные пятью суланжскими жандармами и пятнадцатью другими, прибывшими из Виль-о-Фэ. Вся деревня собралась на площади. Дети, отцы и матери арестованных снова ли взад и вперед, приносили им все необходимое на время заключения. Ожесточенная, но более или менее безмолвная, как будто на что-то решившаяся деревенская толпа представляла довольно любопытное зрелище. Говорили только женщины — старухи и молодые. Дети и девочки-подростки взобрались на сложенные дрова и кучи камней, чтобы лучше видеть происходившее.

— Гильотинщики хорошо выбрали времечко, в самый праздник подгадали...

— Что ж, так вы и будете смотреть, как уводят у вас мужа? А сами как эти три месяца проживете, лучшие месяцы в году, когда за поденщину хорошо платят?..

— Вот где настоящие грабители!.. — воскликнула женщина, угрожающе глядя на жандармов.

— Вы это что, бабушка, на нас киваете? — сказал вахмистр. — С вами живо управятся, если вы позволите себе нас ругать.

— Да разве я что говорю... — жалобным тоном поспешила ответить женщина, униженно кланяясь.

— Я отлично слышал ваши слова. Смотрите, как бы вам не раскаяться...

— Ну, ну, ребятки, не волнуйтесь! — сказал кушский мэр, бывший вместе с тем и содержанием почтовой станции. — Какого черта! Жандармам отдан приказ, они должны привести его в исполнение.

— Правильно! Все это он, эгский помещик... Ну, погоди ж ты!..

В это мгновение генерал выехал на площадь, вызвав своим появлением ропот, на который он не обратил никакого внимания. Он направился прямо к жандармскому офицеру из Виль-о-Фэ и после того, как обменялся с ним несколькими словами, передал ему какую-то бумагу. Офицер повернулся к своей команде и сказал:

— Отпустите арестованных, генерал испросил для них помилование у короля.

Генерал Монкорне в это время вполголоса разговаривал с кушским мэром; разговор их длил-

ся недолго, а затем мэр обратился к арестованным, которые уже приготовились провести эту ночь в тюрьме и теперь никак не могли понять, что они свободны.

— Друзья мои, поблагодарите графа. Отменой приговоров вы обязаны ему: он просил о вашем помиловании в Париже, и по его просьбе вас простили в честь годовщины возвращения короля... Я надеюсь, что впредь вы будете лучше вести себя по отношению к человеку, который сам так хорошо к вам относится, и перестанете наносить ущерб его владениям. Да здравствует король!

И тут крестьяне, вовсе не стремившиеся кричать: «Да здравствует граф де Монкорне!», с воодушевлением прокричали: «Да здравствует король!»

Эта сцена была искусно придумана генералом вместе с префектом и департаментским прокурором, так как было признано желательным, выказав твердость для поддержания авторитета местных властей и для воздействия на крестьян, проявить в то же время и мягкость ввиду чрезвычайно сложных обстоятельств. И в самом деле, если бы крестьяне оказали сопротивление, власти попали бы в весьма затруднительное положение. Нельзя было послать на эшафот целую общину, как это и говорил Ларош.

Генерал пригласил к завтраку кушского мэра, поручика и вахмистра. Бланжийские заговорщики остались в кушском трактире, где освобожденные «правонарушители» пропивали деньги, взятые для прожития в тюрьме, и, разумеется, бланжийская компания присоединилась к общему «гулянью», как называют в деревне любого рода веселье. Пить, ссориться, драться, наедаться и возвращаться домой пьяными и больными — все это называется «гулять».

Выехав из имения через Кушские ворота, граф вернулся со своими тремя гостями через лес, желая показать им следы порубок и дать понять всю значительность этого дела.

В то время когда Ригу, примерно около полудня, возвращался в Бланжи, граф, графиня, Эмиль Блонде, жандармский поручик, вахмистр и кушский мэр кончали завтрак в великолепной столовой, пышно отделанной Буре и описанной Блонде в его письме к Натану.

— Было бы действительно жалко расстаться с таким имением, — промолвил жандармский офицер, раньше не бывавший в Эгах и теперь впервые увидевший их во всем блеске. Глядя сквозь бокал искристого шампанского, офицер не проглядел и изумительных поз обнаженных нимф, подерживавших потолок.

— Потому-то мы и будем здесь отбиваться до последнего издыхания, — сказал Блонде.

— А я потому это сказал, — продолжал офицер, бросив на своего вахмистра взгляд и как будто призывая его к молчанию, — я сказал это потому, что у генерала есть враги не только в деревне...

Поручик размяк от великолепного завтрака, блестящей сервировки и царственной роскоши, явившейся на смену роскоши оперной дивы, а вспышки остроумия Блонде не меньше, чем вино, выпитое при провозглашении галантных тостов, еще подогрели его.

— Откуда у меня могут быть враги? — удивленно спросил генерал.

— При его-то доброте! — добавила графиня.

— Вы, граф, нехорошо расстались с нашим мэром, господином Гобертенем, и ради своего спокойствия вам следовало бы с ним помириться.

— Помириться с ним!.. — воскликнул граф. — Вы, очевидно, не знаете, что он был у меня управляющим, что это форменный мошенник!

— Он уже больше не мошенник, — сказал поручик, — он виль-о-фэйский мэр.

— Поручик весьма остроумен, — промолвил Блонде. — Ясно, что мэр всегда честный человек.

Поняв из слов графа полную невозможность раскрыть ему глаза на происходящее, поручик больше не возобновлял разговора на эту тему.

VI ЛЕС И ЖАТВА

Сцена в Куше оказала благоприятное действие, а верные графские сторожа, со своей стороны, зорко следили за тем, чтобы из Эгского леса выносился только валежник; но за двадцать лет

окрестные крестьяне так основательно пообчистили лес, что теперь там остались только здоровые деревья; а чтоб они засохли, местные жители занялись их порчей, прибегнув для этого к простым приемам, которые были обнаружены лишь значительно позже. Тонсар посылал в лес мать; лесник видел, как она туда входит; он знал, откуда она выйдет, и поджидал ее, намереваясь осмотреть вязанку; однако у старухи действительно был только сухой хворост, упавшие ветки, поломанные и негодные сучья; она охала и жаловалась, что ей в ее годы приходится забираться в такую даль, чтобы набрать какую-то жалкую вязанку. Но старуха не говорила, что, зайдя в самую чашу, она очистила от мха и упавших листьев ствол молодого дерева и содрала кольцо коры у самого корня, а потом снова уложила на место и мох и листья, все как было; если бы этот кольцеобразный надрез был сделан кривым садовым ножом, обнаружить его было бы нетрудно, но кора была повреждена так, словно ее проели те вредоносные и прожорливые насекомые, которых, глядя по местности, называют то «хрущами», то белыми червями — личинки майского жука. Личинка очень любит древесную кору; она забирается между корой и заболонью и точит дерево, обходя ствол вокруг. Если дерево настолько толсто, что личинка, не пройдя всего пути, превращается в куколку, — стадия, в которой она остается без движения, пока снова не оживет, — дерево спасено: если для соков еще остается пространство, покрытое корой, дерево будет расти. Чтобы понять, до какой степени энтомология связана с сельским хозяйством, садоводством и всем, что производится землей, достаточно сказать, что такие видные натуралисты, как Латрейль, граф Дежан, берлинский Клуг, туринский Женэ и другие, пришли к выводу, что большинство известных нам насекомых существует за счет растительности, что жесткокрылых, список которых опубликован г-ном Дежаном, насчитывается двадцать семь тысяч видов и что, невзирая на самые старательные изыскания энтомологов всех стран, имеется еще громадное количество видов, чьи тройные превращения, свойственные вообще всем насекомым, до сих пор неизвестны; и наконец, что не только каждое растение, но и все, что производит земля, каким бы изменениям оно ни подвергалось благодаря искусству человека, имеет свое особое насекомое. Так, конопля и лен, сослужив свою службу человеку, одев или повесив его, поистрепавшись на плечах целой армии, превращаются в писчую бумагу, и те, кому приходится много писать или читать, близко знакомы с привычками некоего насекомого, называемого бумажная тля, с его чудесными повадками и строением; насекомое это проходит через свои никому не известные превращения, живя в тщательно хранимой стопе белой бумаги, и вы можете видеть, как оно бежит и попрыгивает в своем сверкающем, словно тальк или шпат, великолепном одеянии: настоящая летающая плотица.

Личинка майского жука — бич сельского хозяйства; она живет под землей, и правительственные циркуляры против нее бессильны, ибо учинить над ней расправу можно лишь после того, как она превратится в жука; когда бы население знало, какие бедствия угрожают ему, если оно не возьмется за уничтожение жуков и их личинок, оно отнеслось бы более внимательно к приказам префектуры.

Голландия едва не погибла, — ее плотины были подточены шашенем, и науке по сию пору неизвестно, в какое насекомое превращается шашень, так же как неизвестны предыдущие видоизменения червеца. Ржаная спорынья является, вероятнее всего, целым скопищем насекомых, в котором наука до сих пор обнаружила лишь чуть заметные признаки движения. Итак, в ожидании жатвы и сбора колосьев около полсотни старух принялись за порчу леса, подтачивая у самых корней, подобно личинкам майского жука, пятьсот — шестьсот деревьев, которые неминуемо должны были к весне засохнуть и уже никогда больше не покрыться листвой; старухи с расчетом выбирали деревья, росшие в самых недоступных местах, так, чтобы и ветви и сучья достались им. Но кто подал эту мысль? Никто. Курткюис как-то пожаловался в трактире Тонсара, что заметил у себя в саду пропадающий вяз; вяз начал хиреть, и Курткюис заподозрил, что тут не без личинок майского жука; ведь он, Курткюис, знает этих белых червей, — заведется такой червяк у корня дерева, и дереву конец!.. И Курткюис наглядно изобразил, как работает личинка. Орудую тайно и искусно, словно колдуньи, принялись старухи за свою разрушительную работу, а приводившие всех в уныние строгости, введенные бланжийским мэром и предложенные к исполнению мэрам соседних общин, подлили масла в огонь. Стражники с барабанным боем оглашали распоряжения, в которых говорилось, что никто не будет допущен до сбора колосьев и оставшегося после хозяев винограда

без удостоверения о бедности, выданного мэром общины, согласно образцу, посланному префектом — супрефекту, а последним — всем мэрам. Крупные землевладельцы департамента были в восторге от поведения генерала де Монкорне, и префект говорил в домах, где бывал, что если бы люди, стоящие на верхних ступенях общественной лестницы, вместо того чтобы проживать в Париже, поселились у себя в имениях и держались бы одной политики, то это в конце концов привело бы к хорошим результатам; повсюду следовало бы принимать подобные меры, добавлял префект, действовать согласованно и смягчать строгости благотворительностью, просвещенной филантропией, как это делает генерал де Монкорне.

Генерал и его жена, при содействии аббата Бросета, в самом деле попробовали заняться благотворительностью, введя ее в разумные рамки. Им хотелось неопровержимыми результатами доказать грабившим их людям, что те заработают больше, занимаясь честным трудом. Крестьянам раздавали в пряжу пеньку и платили за ее обработку; графиня пускала эту пряжу для выработки холста, шедшего на тряпки, фартуки, кухонные полотенца и на рубашки для бедноты. Граф занялся всякими усовершенствованиями в имении, для чего требовалось много рабочих, которых он брал исключительно из окрестных деревень. Организация этого дела была поручена Сибиле, тогда как аббат Бросет указывал графине на людей, действительно нуждавшихся, и нередко сам приводил их к ней. Г-жа де Монкорне принимала по благотворительным делам в большой передней, выходившей на главное крыльцо. Это была прекрасная приемная, выстланная белыми и красными мраморными плитками, с красивой изразцовой печкой; по стенам стояли длинные скамьи, обитые красным бархатом.

Именно сюда однажды утром, еще до начала жатвы, старуха Тонсар привела свою внучку Катрин, желавшую, по ее словам, сделать признание, позорившее бедную, но честную семью. Пока старуха говорила, Катрин стояла в позе кающейся грешницы; затем она, в свою очередь, рассказала о своем затруднительном положении, о котором знала только бабушка; мать выгнала бы ее из дома, а отец, дороживший честью семьи, убил бы. Будь у нее хоть тысяча франков, на ней женился бы Годэн, бедный батрак, который все знает и любит ее, как сестру; он купил бы клочок земли и построил бы там лачугу. Графиня умилилась. Она обещала новобрачным сумму, нужную на первое обзаведение. Счастливые супружества Мишо и Груазона поощрили ее. Эта свадьба, этот брак могли послужить хорошим примером для местного населения и побудить деревенскую молодежь вести себя пристойнее. Таким образом, замужество Катрин Тонсар с Годэном было слажено с помощью тысячи франков, обещанных графиней.

В другой раз явилась ужасного вида старуха, мать Бонебо, жившая в лачуге между Кушскими воротами и деревней, и притащила целую кучу мотков грубых ниток.

— Графиня творит чудеса, — говорил аббат, окрыленный надеждой на нравственное исправление местных дикарей. — Эта самая женщина причинила немало вреда вашим лесам, а теперь зачем и как она туда пойдет? С утра и до вечера сидит она за своей пряжей, и время ее занято, и за работок у нее есть.

Край как будто успокоился; от Груазона поступали более или менее удовлетворительные донесения; порубки и потравы, казалось, шли на убыль; и возможно, что положение в крае и на строение жителей в самом деле изменилось бы коренным образом к лучшему; но всему мешала злопамятность алчного Гобертена, мелочные происки высшего суланжского общества и интриги Ригу, которые, словно кузнечные мехи, раздували ненависть и преступные замыслы в сердцах крестьян Эгской долины.

Сторожа жаловались, что в лесной чаще они все еще находят много ветвей, срезанных ножом, с явной целью заготовить топливо на зиму; они подкарауливали виновников, но поймать никого не удавалось. Граф с помощью Груазона выдал свидетельства о бедности лишь тридцати — сорока действительно бедным людям своей общины, но мэры соседних общин оказались сговорчивее. Граф проявил много мягкости в кушской истории, тем более хотел он быть строгим при сборе колосьев, обратившемся попросту в воровство. Он мало интересовался тремя своими фермами, сданными в аренду; его больше заботили довольно многочисленные хутора, арендовавшиеся исполу: таких хуторов было шесть, по двести арпанов в каждом. Граф выпустил объявление, запрещавшее под страхом протокола и штрафа, налагаемого мировым судом, являться на поле

раньше, чем оттуда будут вывезены снопы; это распоряжение, собственно говоря, касалось только графских полей. Ригу хорошо знал местные условия; свои пахотные земли он сдал небольшими участками, и по этим мелким договорам съемщики, справившись с уборкой урожая, платили ему зерном. Сбор колосьев его ни в какой мере не трогал. Остальные землевладельцы были крестьяне и друг друга не обижали. Граф приказал Сибиле договориться с хуторянами-испольщиками и убирать хлеб на фермах по очереди так, чтобы все жнецы сразу переходили к следующему фермеру, а не рассеивались по разным полям, что крайне затруднило бы наблюдение. Он сам вместе с Мишо поехал посмотреть, как пойдет дело. Груазон, придумавший эту меру, должен был присутствовать при нашествиях бедноты на поле богатого землевладельца. Горожане и представить себе не могут, что такое сбор колосьев для деревенских жителей; это какая-то необъяснимая страсть, ведь многие женщины бросают хорошо оплачиваемую работу и идут собирать колосья. Хлеб, добытый таким путем, кажется им вкуснее; этот способ запастись пищей, да еще самой существенной для крестьянина, имеет для них совершенно особую притягательность. Матери берут с собой маленьких детей, дочерей и сыновей-подростков; дряхлые старики тащатся туда же, а те, у кого есть кое-какое имущество, уж конечно прикидываются бедняками. На сбор колосьев одеваются в жалкие лохмотья. Граф и Мишо, оба верхами, присутствовали при первом выходе этой толпы оборванцев на первое поле первого хутора. Было десять часов утра, август стоял жаркий, небо без единого облачка, голубое, как барвинок; от земли шел жар, рожь пламенела; лучи солнца, отражаясь от затвердевшей и звонкой земли, жгли лица жнецов, работавших молча, в мокрых от пота рубашках, отрываясь только, чтобы глотнуть воды из глиняных бутылей, круглых, как каравай хлеба, с двумя ручками и грубо сделанным горлышком, заткнутым деревянной втулкой.

У края сжатого поля, где стояли телеги, нагруженные снопами, толпилось около сотни людей, несомненно далеко оставивших за собой фигуры фантаста Калло, поэта бедняков, и отвратительнейшие образы, когда-либо вышедшие из-под кисти Мурильо и Тенирса — двух самых смелых изобразителей этого жанра; бронзовые ноги, лысые головы, тряпье, разорванное и совершенно потерявшее цвет, засаленные лохмотья, прорехи, заплаты, пятна, полинявшая, потертая, дырявая одежда — словом, эти художники и не мечтали о таком ярком материальном образе нищеты; точно так же как алчное, беспокойное, тупое, бессмысленное и угрюмое выражение на лицах имело то вечное преимущество над бессмертными произведениями этих властителей красок, какое природа всегда имеет над искусством. Были тут старухи с индюшачьими шеями, с красными веками без ресниц, они вытягивали голову, как лягавая собака, стоящая над куропаткой; были тут дети, безмолвные, как солдат на часах; были тут девочки, топтавшиеся на месте, как скотина в ожидании корма; характерные черты детского возраста и старости заслоняло общее для всех выражение звериной алчности — алчности на чужое добро, которое они незаконно присваивали. Глаза у всех горели, жесты были угрожающие, но в присутствии графа, стражника и начальника охраны толпа молчала. Помещик, фермер, работник и бедняк — все имело здесь своих представителей. Социальный вопрос вставал во всей своей грозной обнаженности, ибо голод согнал сюда всех этих людей с вызывающими лицами... На ярком солнце особенно резко выступали жесткие черты, впалые щеки; босые, запыленные ноги горели; тут были полуголые дети, в старой разорванной кофте; в их русые кудрявые волосенки набилась солома, сено, травинки; женщины держали за руку малышей, только что начинавших ходить, — матери пойдут собирать колосья, а они будут ползать где-нибудь в борозде.

Сердце старого солдата разрывалось при виде этой мрачной картины; генерал, человек по натуре добрый, сказал Мишо:

— Больно на них смотреть. Только понимая всю важность принятых нами мер, можно настаивать на их выполнении.

— Если бы все помещики следовали вашему примеру, жили в имении и делали столько добра, сколько делаете его вы, ваше превосходительство, то не осталось бы не скажу бедняков, потому что они всегда будут, а людей, которые не могли бы прожить своим трудом.

— Мэры Куша, Сернэ и Суланжа прислали сюда своих неимущих, — сказал Груазон, проверив свидетельства о бедности, — это неправильно...

— Конечно, неправильно, — сказал граф, — но зато наши бедняки пойдут в их общины.

Если они не будут таскать снопов, для первого раза и то хорошо. Ко всему надо приучать постепенно, — добавил он, уезжая с поля.

— Слышали, что он сказал? — спросила старуха Тонсар у старухи Бонебо, которая стояла рядом с нею на дороге, идущей вдоль поля, — последние слова граф произнес несколько громче, и они уловили их.

— Да, это еще не все! Сегодня выдернули зуб, завтра оторвут ухо; будь у них повкуснее приправа, чтобы съесть наши потроха вместо телячьих, они покушали бы и человечинки! — ответила старуха Бонебо; проезжавший граф увидел ее злобное лицо, но она тут же угодливо заулыбалась, бросила на него медовый взгляд и поспешила низко поклониться.

— Вы тоже пришли подбирать колосья, а ведь моя жена дает вам как будто не плохой заработок?

— Эх, милый барин, пошли вам господь доброго здоровья. Что поделаешь, когда парень мой меня объедает? Вот и припрятываешь горстку-другую колосьев, запасаясь хлебом на зиму. Понаберу крохотку... оно и будет полегче!

Сбор колосьев оказался для сборщиков мало добычливым. Чувствуя поддержку, исполщики и фермеры требовали чистой уборки, зорко следили, как вяжут и увозят снопы, так что такого нахального воровства, как прежде, теперь не было.

Привыкнув за прошлые годы набирать порядочно колосьев и напрасно стараясь набрать столько же и сейчас, настоящие и поддельные бедняки позабыли о недавнем помиловании в Куше; в них нарастало глухое недовольство, которое всячески разжигали Тонсары, Курткюис, Бонебо, Ларош, Водуайе, Годэн и соратники их по кабаку. После сбора винограда дело пошло еще хуже, потому что «добор» начался только после того, как грозди были сняты, а виноградники самым тщательным образом осмотрены управляющим Сибиле. Такие меры вызвали большое брожение в умах. Но когда между классом, в котором нарастает волнение и ярость, и классом, против которого обращена эта ярость, лежит такая пропасть, — слова замирают в ней; только по действиям можно заметить, что внутри что-то бродит, ибо недовольные, как кроты, ведут свою работу под землей.

Суланжская ярмарка прошла довольно спокойно, если не считать нескольких перепалок между перворазрядным и второразрядным городским обществом, вызванных деспотизмом королевы, не желавшей примириться с прочно утвердившейся властью прекрасной Эфеми Плиссу над светским львом Люпенем, чье ветреное и пылкое сердце г-жа Плиссу, по-видимому, закрепила за собой навеки.

Граф и графиня не появились ни на суланжской ярмарке, ни на балу в «Тиволи», что было вменено им в преступление господами Судри, Гобертенем и их приспешниками. «Они задаются, они нас презирают», — говорили в салоне г-жи Судри. Тем временем графиня, стараясь заполнить пустоту, образовавшуюся с отъездом Эмиля, отдавалась делам милосердия с увлечением, которое так свойственно возвышенным душам, и творила добро, действительное или мнимое, а граф, со своей стороны, не менее ретиво занялся практическими хозяйственными улучшениями, которые, по его расчетам, должны были благоприятно отразиться на материальном положении местных жителей, а следовательно, и на их нравах. Прислушиваясь к советам аббата Бросета и пользуясь его опытом, г-жа де Монкорне понемногу приобретала правильное представление о числе бедных семейств, проживавших в общине, об их взаимоотношениях, нуждах, средствах к существованию и о тех разумных мерах, к которым следовало прибегнуть, дабы облегчить их труд, не поощряя, однако, лени и праздности.

Графиня поместила Женевьеву Низрон — «Пешину» — в оссэрский монастырь с той якобы целью, чтобы девочка обучилась там шитью и впоследствии поступила к ней в услужение, а на самом деле, чтобы уберечь ее от гнусных посягательств Никола Тонсара, которого г-ну Ригу удалось избавить от воинской повинности. Графиня полагала также, что религиозное воспитание и жизнь в монастыре под присмотром монашек с течением времени укротят пылкие страсти этой преждевременно развившейся девочки, так как иной раз ей представлялось, что грозное пламя, горящее в крови черногорки, способно даже издали испепелить семейное счастье ее верной Олимпии Мишо.

Итак, обитатели Эгского замка чувствовали себя спокойно. Граф, усыпленный доводами Сибиле и успокоенный уверениями Мишо, не мог нахвалиться проявленной твердостью и благодарил жену за то, что своей благотворительностью она немало посодействовала успешно достигнутому успокоению. Вопрос о продаже лесных материалов он откладывал до поездки в Париж, предполагая договориться с тамошними лесопромышленниками. Граф ничего не понимал в торговых делах и даже не подозревал о влиянии Гобертена на лесоторговлю по всему течению Ионы, в значительной мере снабжавшую лесом Париж.

VII БОРЗАЯ

Около половины сентября Эмиль Блонде, ездивший в Париж для издания своей книги, вернулся в Эги, чтобы отдохнуть и обдумать намеченную на зиму работу. Здесь, на лоне природы, снова оживал в этом потрепанном жизнью журналисте прежний любящий и чистосердечный юноша, только что вышедший из отроческого возраста.

— Какой прекрасной души человек! — восклицали и граф, и графиня.

Люди, привыкшие погружаться на дно общественной жизни, все понимать, не обуздывать своих страстей, создают себе опору в собственном сердце; порой они забывают о своей испорченности и об испорченности окружающих; в узком и замкнутом кругу они становятся ангелочками; у них появляется женская тонкость чувств, на миг они отдаются заветной мечте и проявляют, во все не разыгрывая при этом комедии, небесные чувства к женщине, обожающей их; они, так сказать, обновляются душой, испытывают потребность очиститься от забрызгавшей их грязи, залечить свои язвы, перевязать раны. В Эгах Эмиль Блонде утрачивал всю свою ядовитость и почти не блистал остроумием; он не отпускал ни одного язвительного словечка, был кроток, как агнец, и полон платонической нежности.

— Какой прекрасный молодой человек! Право, мне его не хватает, когда он не с нами, — говорил генерал. — Очень бы мне хотелось, чтобы он разбогател и бросил свою парижскую жизнь...

Никогда еще прекрасные эгские пейзажи и парк не были так сладостно хороши, как сейчас. В дни ранней осени, когда земля, утомленная родами, освободившаяся от бремени плодов, изливает пряные запахи увядающей листвы, леса особенно восхитительны; листва их окрашивается в бронзово-зеленые и теплые красноватые тона, они облачаются в пышный убор, как будто посылая вызов приближающейся зиме.

Природа веселая и нарядная весной, словно брюнетка, исполненная радужных надежд, в это время года становится меланхоличной и кроткой, как отдавшаяся воспоминаньям блондинка; луга золотятся, осенние цветы поднимают свои бледные венчики, белые кружочки маргариток реже песят на зелени лужаек, и всюду видны одни лиловатые чашечки. Преобладают желтые тона, листва стала прозрачней, а краски сгустились; косые лучи солнца кладут на нее беглые оранжевые блики, пронизывают длинными светлыми полосами, быстро исчезающими, как шлейф уходящих женщин.

Ранним утром, на второй день после приезда, Эмиль Блонде глядел из окна своей комнаты, выходявшего на большой балкон в современном вкусе. Балкон этот, с которого открывался прекрасный вид, шел вдоль половины графини, по фасаду, обращенному к лесам и пейзажам Бланжи. Отсюда был виден длинный канал и кусочек пруда, несомненно, получившего бы наименование озера, находишь Эги ближе к Парижу; речушка, берущая начало у охотничьего домика, пересекала лужайку, извиваясь муаровой лентой, испещренной желтыми пятнами отмелей.

За парком, между оградой и деревней, виднелись бланжийские поля, луга с пасущимися ковами, усадьбы, окруженные живыми изгородями, фруктовые деревья, орешник и яблони; а дальше ландшафт обрамляла гряда холмов, по которым раскинулись уступами прекрасные леса. Графиня в ночных туфельках вышла на балкон взглянуть на цветы, изливавшие свежий утренний аромат. Сквозь батистовый пеньюар розовели ее прекрасные плечи; из-под хорошенького кокетливого чепчика, задорно сидевшего на ее головке, выбивались шаловливые прядки волос; крошечные ножки в прозрачных чулках сверкали наготой, широкий свободный пеньюар развевался, при-

открывая вышитую батистовую юбку, небрежно повязанную поверх корсета, который тоже виднелся, когда ветер играл ее воздушной одеждой.

— А, вы здесь! — сказала она.

— Да...

— На что вы смотрите?

— Что за вопрос! Вы отвлекли меня от созерцания природы... Скажите, графиня, не угодно ли вам сегодня утром, до завтрака, пройтись по лесу?

— Вот фантазия! Вы же знаете, что я терпеть не могу ходить пешком.

— Нам почти не придется ходить, я повезу вас в тильбюри. Мы возьмем с собой Жозефа и оставим на него экипаж... Вы никогда не бываете у себя в лесу, а я заметил там странное явление: кое-где верхушки деревьев отливают флорентийской бронзой, листья засохли...

— Хорошо, я сейчас оденусь...

— О, тогда нам не выехать и через два часа!.. Накиньте шаль, наденьте шляпу, ботинки... больше ничего не надо... Я скажу, чтобы запрягали...

— Вечно приходится делать по-вашему... Сейчас выйду.

— Генерал, мы едем кататься... а вы? — крикнул Блонде, будя графа, который проворчал что-то в ответ, как человек, еще находящийся во власти утреннего сна.

Четверть часа спустя тильбюри медленно катилось по аллеям парка, а за ним на некотором расстоянии ехал верхом рослый слуга в ливрее.

Утро было осеннее, настоящее сентябрьское. Ярко-синее небо кое-где проглядывало сквозь кучевые облака, казавшиеся основным фоном картины, а синева — явлением случайным; на горизонте тянулись длинные ультрамариновые полосы, чередуясь с сероватыми тучками; тон неба все время менялся, принимая над лесами зеленоватый оттенок. Под облачным покрывалом земля дышала теплом, как только что проснувшаяся женщина; от нее исходили сладкие, душные благоуханья; запахи сжатого поля смешивались с запахами леса. В Бланжи звонили к обедне, и звуки колокола, сливаясь с причудливой мелодией лесов, придавали особую гармоничность окружающей тишине. Кое-где курился белый, прозрачный туман. Утро было так прекрасно, что Олимпии захотелось проводить мужа, который шел к одному из живших поблизости сторожей, чтобы отдать ему кое-какие распоряжения; суланжский врач рекомендовал ей неумтомительные прогулки пешком; днем она боялась жары, а гулять вечером не хотела. Мишо взял с собой жену, за ними увязалась его любимая собака, красивая борзая мышинового цвета, с белыми пятнами, лакомка, как все борзые, и избалованная, как всякое животное, чувствующее, что его любят.

Когда тильбюри подъехало к решетке охотничьего домика и графиня спросила о здоровье гжи Мишо, ей сказали, что Олимпия в лесу вместе с мужем.

— Такая погода всех вдохновляет, — заметил Блонде, пуская лошадь наудачу по одной из шести лесных аллей. — Послушай, Жозеф, ты хорошо знаешь лес?

— Да, сударь!

И тильбюри покатилося! Аллея была одной из самых красивых в лесу; вскоре она свернула в сторону и, сужаясь, перешла в извилистую дорожку, куда солнце проникало через прорези в естественной кровле, прикрывавшей ее, точно пологом, под который ветерок заносил сладкие запахи богородичной травы, лаванды, дикой мяты, вянущих ветвей и осыпающихся с тихим шелестом листьев; от движения легкого экипажа падали капли росы, блестевшие на травинках и листьях; глазам путников постепенно открывались таинственные фантазии леса: прохладная глушь, с влажной, темной зеленью, отливающей бархатом и поглощающей свет; полянки с изящными березками, над которыми высится вековой лесной исполин; великолепные купы деревьев с узловатыми, замшелыми и седыми стволами, изрезанными прихотливым рисунком глубоких борозд; нежная каемка из травок и хрупких цветочков по краям колеи. Ручейки пели свои песни. Неизъяснимо, конечно, наслаждение — вести в коляске женщину, которая при подъемах и спусках на скользкой дороге, поросшей мхом, притворяется, будто боится, а может быть, и в самом деле боится и прижимается к вам, и вы чувствуете невольное или вольное прикосновение ее обнаженной свежей руки, тяжесть ее полного белого плеча, видите ее улыбку в ответ на ваши слова, что она мешает вам править. Лошадь как будто посвящена в тайну этих задержек и поглядывает то вправо, то вле-

во.

Эти новые для графини картины, эта мощная в своих проявлениях природа, так мало изученная и такая величественная, погрузили ее в состояние томной мечтательности. Она откинулась на спинку тильбюри и отдалась радостному ощущению близости Эмиля; глаза ее были зачарованы созерцанием лесных картин, сердце в ней говорило, откликаясь на внутренний голос созвучной ей души. Эмиль смотрел на нее украдкой, наслаждаясь мечтательной задумчивостью спутницы, не замечавшей, что ленты ее шляпки развязались и шелковистые кудри белокурых волос с упоительной небрежностью развеваются по воле утреннего ветра. Они ехали наудачу и в конце концов уперлись в запертые ворота, от которых у них не было ключа. Спросили Жозефа — и у него также ключа не оказалось.

— Ну что ж, пройдемся пешком. Жозеф присмотрит за экипажем, найти его будет нетрудно...

Эмиль и графиня углубились в лес и попали на замкнутый живописный уголок, какие нередко встречаются в чащах. Двадцать лет тому назад здесь жгли уголь, и все кругом было выжжено на довольно большом пространстве, — осталась пустая поляна. Но за двадцать лет природе удалось создать себе здесь свой собственный сад и цветник, как иной раз художник пишет картину для собственного удовольствия. Эту прелестную клумбу осеняли величавые деревья, кроны которых, ниспадая над нею пышной бахромой, раскинулись словно гигантский шатер над ложем, достойным отдыха богини. Тропинка, по которой угольщики ходили за водой, вела к водомоине — к глубокой впадине, полной чистой воды. Тропинка сохранилась до сих пор и манит сойти по капризно извивающемуся спуску, но вдруг ее пересекает обрыв, из отвесного среза висят корни, переплетенные, как нити в канве. Это никому не ведомое озерко окаймлено низкой и густой травой, у берега несколько ив и тополей бросают прозрачную тень на дерновую скамью, сооруженную каким-нибудь ленивым или мечтательным угольщиком; лягушки прыгают восвояси, чирки плещутся в воде, водяные птицы то садятся, то улетают, заяц убегает, — вы остаетесь хозяином этой восхитительной купальни, которую обступили прекрасные, словно живые, камыши. Над вами — причудливо изогнутые деревья: вот извиваются, как боа-констрикторы, склонившиеся к земле длинные стволы, вот, подобно греческим колоннам, уходят ввысь стройные буки. Слизни и улитки мирно прогуливаются по стеблям растений. Белка поглядывает на вас, а из воды высунул голову линь. Когда Эмиль и графиня, утомившись, присели на берегу, какая-то птичка затянула песню, прощальную осеннюю песню, которой мы внимаем с радостью и любовью, воспринимаем всем существом, и, слушая ее, умолкают все птицы.

— Какая тишина! — прошептала растроганная графиня, как будто боясь нарушить царивший вокруг покой.

Они разглядывали зеленые пятна на поверхности озера — целый мир зарождающейся органической жизни; следили за маленькой юркой ящерицей, игравшей на солнце и скрывшейся при их приближении.

— Недаром эту ящерицу прозвали «другом человека» — ее повадки доказывают, как она хорошо его знает, — сказал Эмиль.

Их забавляли лягушки: те были менее боязливы, вылезали на поверхность воды и, усевшись на широкие листья кувшинок, поглядывали блестящими бусинками глаз. Простая и сладостная поэзия природы проникала в души обоих парижан, пресыщенные искусственностью света, и погружала их в мечты... Вдруг Блонде вздрогнул и, наклонившись к уху графини, прошептал:

— Вы слышите?

— Что?

— Какой-то странный звук...

— Ах вы, писатели... кабинетные люди... Никакого представления не имеете о деревне: это зеленый дятел долбит дерево... Готова держать пари, что вы даже не знаете самой любопытной особенности этой птицы: как только она ударит клювом, — а ей надо ударить десятки тысяч раз, чтобы продолбить толстый дуб в два обхвата, — она перескакивает на ту сторону дерева, поглядеть, не пробила ли она его насквозь, и проделывает она это поминутно.

— Это не тот звук, дорогая учительница естествознания, тут не животное, тут чувствуется

обдуманность, свойственная человеку.

Графиню вдруг охватил панический страх; она бросилась обратно на цветущую поляну, стараясь как можно скорее выбраться из леса.

— Что с вами? — с беспокойством крикнул Блонде, поспешая за ней.

— Мне показалось, что я видела чьи-то глаза... — сказала графиня, когда они достигли тропинки, приведшей их на поляну, где когда-то жгли уголь. В это мгновение до слуха их донесся приглушенный хрип, как будто внезапно зарезали живое существо, и графиня, вне себя от ужаса, помчалась с такой быстротой, что Блонде едва поспевал за нею. Она неслась, словно блуждающий огонек, и не слышала, как Эмиль кричал: «Вам почудилось!..» Она не останавливалась. Наконец Эмиль догнал ее, и они продолжали бежать вперед без оглядки, пока им не преградили путь шедшие под руку супруги Мишо. Эмиль и графиня, едва переводя дух, с трудом объяснили им, в чем дело. Мишо, так же как и Блонде, посмеялся над страхом графини и вывел заблудившуюся пару на дорожку к ожидавшемуся ее тильбюри. Когда все четверо подошли к ограде, г-жа Мишо позвала собаку:

— Принц!

— Принц! Принц! — закричал начальник охраны.

Он свистнул раз, свистнул другой, — борзая не появлялась.

Эмиль рассказал о странных звуках, положивших начало их приключению.

— Жена тоже слышала эти звуки, — сказал Мишо, — и я поднял ее на смех.

— Принца убили! — воскликнула графиня. — Теперь я в этом уверена. Ему перерезали горло: звук, который я слышала, был последним стоном издыхающего животного.

— Ах, черт! — воскликнул Мишо. — Это необходимо выяснить.

Эмиль и начальник охраны оставили обеих дам с Жозефом при лошадях и вернулись в тот природный цветник, где когда-то обжигался уголь. Они спустились к водоему, обшарили берега и ничего не нашли. Блонде, первым поднявшись наверх, заметил среди купы деревьев, росших по верхнему уступу, одно из тех деревьев с засохшей листвой, о которых говорил графине; он указал на него Мишо и решил посмотреть его вблизи. Оба отправились напрямик через чащу, пробираясь между деревьями, минуя непролазные заросли терновника и ежевики, и наконец подошли к дереву.

— Какой прекрасный вяз! — сказал Мишо. — Но его гложет червь, всю кору объел у самого основания.

Говоря это, он нагнулся и поднял кусок коры.

— Смотрите, какая работа!

— В вашем лесу много червей, — сказал Блонде.

В это мгновение Мишо заметил в нескольких шагах красное пятно, а немного дальше голову своей борзой. Из его груди вырвался вздох: «Негодяи! Графиня была права...»

Блонде и Мишо подошли к трупу и увидели, что все произошло именно так, как предполагала графиня: Принцу перерезали горло, а чтобы он не залаял, его приманили кусочком солонины, который и сейчас был зажат у него между зубами.

— Бедное животное, оно пало жертвой своих пороков!

— Как и подобает принцу, — вставил Блонде.

— Здесь был кто-то, кто боялся попасть нам на глаза, и улизнул, — сказал Мишо, — очевидно, он сделал что-то противозаконное. Но нигде не видно срубленных ветвей или деревьев.

Блонде и начальник охраны принялись со всей осторожностью обыскивать местность, всматриваясь в каждую пядь земли, прежде чем ступить на нее. Сделав несколько шагов, Блонде указал на дерево, перед которым в притоптанной, измятой траве ясно обозначались два углубления.

— Кто-то стоял здесь на коленях, несомненно женщина, потому что мужчина не помял бы ногами столько травы, как женщина в широких юбках.

Осмотрев основание дерева, начальник охраны разыскал начало червоточины, но не мог найти его обычного виновника — личинки с твердой, лоснящейся, кольчатой, покрытой бурыми пятнышками оболочкой и с передней оконечностью, уже похожей на оконечность майского жука, — та же головка, сжки и пара крепких челюстей для перегрызания корней.

— Дорогой мой, теперь я понимаю, откуда берется такое количество засохших деревьев, замеченных мною сегодня утром с террасы замка; из-за них-то я и поехал в лес, чтобы выяснить причину этого странного явления. Черви в самом деле здесь копошатся, но они выходят из леса в образе ваших крестьян...

Начальник охраны крепко выругался и вместе с Эмилем вернулся к тому месту, где осталась графиня, и попросил ее увезти с собой Олимпию. Сам он вскочил на лошадь Жозефа, отправив того в замок пешком, и в мгновение ока скрылся из виду; он помчался наперерез женщине, только что убившей его собаку, чтоб захватить ее с поличным: с окровавленным ножом и с тем инструментом, которым она надрезала стволы. Блонде уселся между графиней и г-жой Мишо и рассказал им, что случилось с Принцем и какое печальное открытие вызвано было этим событием.

— Боже мой! Обязательно надо сказать об этом мужу до завтрака, — воскликнула графиня, — а то с ним случится удар.

— Я его подготовлю, — предложил Блонде.

— Они убили собаку, — промолвила Олимпия, утирая слезы.

— Вы, верно, очень любили эту бедную борзую, дружок, если так по ней плачете? — спросила графиня.

— Смерть Принца для меня мрачное предзнаменование, я боюсь, как бы не случилось несчастья с мужем!

— Как они испортили нам это прекрасное утро! — сказала графиня, очаровательно надув губки.

— Как они портят весь край! — грустно отозвалась молодая женщина.

Генерал встретился им у ворот.

— Откуда вы? — спросил он.

— Сейчас узнаете, — таинственно ответил Блонде, помогая выйти из тильбюри г-же Мишо, поразившей генерала своим печальным видом.

Минуту спустя генерал и Блонде уже ходили по террасе.

— Вы выслушаете меня хладнокровно, не поддадитесь ярости, не правда ли?

— Да, да, — ответил генерал, — но договаривайте же скорей. Право, я могу подумать, что вы меня поддразниваете...

— Видите вон те деревья с засохшими листьями?

— Да.

— А те, с пожелтевшими кронами?

— Да.

— Так вот, все засохшие деревья загублены теми самыми крестьянами, которых, как вам кажется, вы обезоружили своими благодеяниями.

И Блонде рассказал про утренние приключения.

Генерал так побледнел, что Блонде испугался.

— Ну что же вы? Бранитесь, проклинайте, выходите из себя! Сдержанность может еще больше вам повредить, чем гнев.

— Я пойду покурю, — сказал граф, направляясь в свою беседочку.

Во время завтрака приехал Мишо. Он никого не поймал. Явился и Сибиле, вызванный графом.

— Господин Сибиле и вы, господин Мишо, осторожно пустите слух, что я заплачу тысячу франков тому, кто поможет мне захватить с поличным людей, которые губят деревья. Надо узнать, чем они для этого пользуются, где достают инструмент, и тогда... у меня есть свой план.

— Нет, крестьяне за деньги не выдадут, раз преступление им выгодно и совершено преднамеренно, — ответил Сибиле. — Ведь ясно же, что в этой дьявольской затее все заранее обдумано и рассчитано...

— Да, но тысяча франков — это для них один или два арпана земли.

— Попробуем, — сказал Сибиле. — За полторы тысячи я, пожалуй, берусь найти доносчика, в особенности если все останется в тайне.

— Только сделаем вид, будто мы ничего не знаем, особенно я. Лучше пусть думают, что вы

это раскрыли помимо меня, а то нас опять обманут; их, разбойников, надо остерегаться куда больше, чем врага на войне.

— Но это же и есть враг! — воскликнул Блонде.

Сибиле поглядел на него исподлобья, очевидно, поняв, куда метят эти слова, и вышел из комнаты.

— Не люблю я вашего Сибиле, — сказал Блонде, когда услышал звук захлопнувшейся двери, — фальшивый человек!

— Пока о нем нельзя сказать ничего плохого, — ответил генерал.

Блонде ушел к себе, чтобы написать несколько писем. Беспечная веселость первых дней покинула его; он был встревожен и озабочен. У него это было не предчувствие, как у г-жи Мишо, а скорее ожидание предвиденного и неминуемого несчастья. Он думал: «Это кончится плохо. Если генерал не придет к определенному решению и не отступит с поля битвы, где враг возьмет верх своей численностью, жертвы неизбежны... Кто знает, удастся ли еще им с женой выбраться отсюда целыми и невредимыми? Боже мой! подвергать стольким опасностям такое прелестное, такое преданное и совершенное создание!.. И он думает, что любит ее! Ну что ж, я разделю их участь и, если мне не удастся их спасти, погибну вместе с ними!»

VIII СЕЛЬСКИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

Было уже темно, когда Мари Тонсар, сидя на краю мостика по дороге в Суланж, поджидала Бонебо, который, как обычно, провел весь день в кофейне. Она еще издали услышала его шаги и по походке определила, что он пьян и проигрался, потому что он обычно пел, когда бывал в выигрыше.

— Это ты, Бонебо?

— Я самый, ягодка...

— Что с тобой?

— Задолжал двадцать пять франков, и сколько меня ни жми, ничего из меня не выжмешь.

— Ну, так вот, мы можем получить пятьсот, — шепнула она ему на ухо.

— Ого! Значит, надо кого-нибудь прикончить; а я хочу еще немножко пожить...

— Молчи! Деньги предлагает Водуайе, если ты поможешь поймать твою мать возле дерева.

— Я лучше убью человека, чем продам свою мать. У тебя есть старуха бабка, почему ты ее не выдашь?

— Я бы не прочь, да отец осерчает, и, стало быть, ничего не выйдет.

— Это верно... Только все равно моя мать в тюрьму не пойдет... Бедная старуха! Она мне и хлеб печет, и одежду не знаю откуда добывает... И чтобы отправить ее в тюрьму... да еще своими руками! Что же это, выходит, у меня ни души, ни сердца? Нет, нет! А чтоб ее другой кто не продал, скажу ей сегодня же вечером, чтоб бросила портить деревья...

— Ну что ж, пусть отец решает. Скажу ему, что есть случай заработать пятьсот франков, пусть спросит бабку, может, она и согласится. Семидесятилетнюю старуху в тюрьму не посадят. А потом ей там будет лучше, чем на чердаке.

— Пятьсот франков!.. Я поговорю с матерью, — сказал Бонебо. — И правда, коли она не прочь отдать их мне, я бы ей сколько-нибудь тоже дал на прожиток в тюрьме; будет себе прясть, время и пройдет, харч хороший, квартира теплая, забот куда меньше, чем в Куше. До завтра, ягодка... Некогда мне с тобой болтать.

На следующее утро, в пять часов, еще чуть светало, а Бонебо с матерью уже стучались в двери «Большого-У-поения», где была на ногах только старая бабка.

— Мари, — крикнул Бонебо, — дело слажено!

— Какое такое дело, не вчерашнее ли насчет деревьев? — спросила старуха Тонсар. — Уж договорились, я взялась.

— Вот еще новости! Господин Ригу обещал моему парню арпан земли за эту цену...

Старухи заспорили, которой быть проданной собственными детьми. Громкая ссора подняла

весь дом. Тонсар и Бонебо взяли каждый сторону своей матери.

— Тяните соломинку, — предложила жена Тонсара.

Счастливая соломинка досталась кабаку. Три дня спустя, на рассвете, жандармы привели из лесу в Виль-о-Фэ старуху Тонсар, застигнутую на месте преступления начальником охраны, лесниками и стражниками; при ней оказались заржавленный напилочек, которым она прорывала кору, и гвоздодер, которым она заглаживала кольцевую дорожку, чтоб она походила на след, оставляемый червяком. Протоколом было установлено, что такому вероломному повреждению подверглось шестьдесят деревьев на пространстве радиусом в пятьсот шагов. Старуху переправили в Оссэр, так как дело подлежало рассмотрению суда присяжных.

Когда Мишо увидел старую бабку у подножия дерева, он не удержался и сказал:

— Ну, что за люди!.. А граф и графиня осыпают их своими милостями!.. Честное слово, если бы графиня меня послушалась, она не дала бы приданого дочке Тонсара, та еще почище бабки будет.

Старуха подняла на Мишо свои серые глаза и злобно на него посмотрела. Когда граф узнал, кто был виновником преступления, он действительно запретил жене давать приданое Катрин Тонсар.

— Ваше сиятельство тем более правы, — сказал Сибиле, — что земля, купленная Годэном, приобретена им, как я теперь узнал, на три дня раньше, чем Катрин Тонсар приходила со своей просьбой к графине. Значит, бабушка с внучкой разыграли эту сцену, рассчитывая разжалобить графиню. От Катрин всего можно ждать, она способна нарочно попасть в то положение, в каком она оказалась, только бы заполучить деньги, и Годэн тут ни при чем...

— Что за люди! — воскликнул Блонде. — Парижские негодяи в сравнении с ними святые...

— Ах, сударь, — прервал его Сибиле, — корысть всюду толкает людей на гадости! Знаете, кто выдал старуху Тонсар?

— Нет!

— Ее внучка Мари. Она завидовала замужеству сестры и, чтобы устроиться...

— Это ужасно! — воскликнул граф. — Значит, они и убить могут?

— О, — ответил Сибиле, — из-за малейшего пустяка! Они так мало дорожат жизнью, им надоело все время работать. Ах, ваше сиятельство, в глуши деревень творятся дела похуже, чем в Париже. Вы просто не поверите.

— Вот и будь после этого доброй, благодетельствуй людям! — воскликнула графиня.

Вечером, в день ареста, Бонебо появился в «Большом-У-поении», где вся семья Тонсаров предавалась великому ликованию.

— Радуйтесь, радуйтесь! Я сейчас узнал от Водуайе, что в наказание вам графиня не даст Катрин обещанной тысячи франков, — генерал не позволяет.

— Это негодяй Мишо присоветовал ей, — сказал Тонсар. — Матушка сама слышала, она мне рассказала в Виль-о-Фэ, когда я относил ей деньги и вещи. Ну, и пусть не дает! Катрин отдаст за участок наши пятьсот франков, а мы с Годэном подумаем, как рассчитаться за этот подвох... Так! Мишо вмешивается в наши делишки? Ладно же, ему тоже непоздоровится! Ему-то что за дело? Разве лес его? А заварил всю кашу он... Он же и пронюхал, чем тут пахнет, — в тот день, когда матушка перерезала глотку собаке. Ну, а если бы я вздумал совать нос в ихние дела? Если бы я рассказал генералу, что его жена разгуливает утром с молодым человеком по лесам, не боясь холодной росы? Видно, им вдвоем-то тепленько.

— Генерал что! — воскликнул Курткюис. — С генералом можно поладить, это все Мишо его подзадоривает... он коновод, а в деле своем ничего не смыслит... при мне все шло по-другому!

— Эх, — сказал Тонсар, — вот золотое времечко было... Верно, Водуайе?

— Скажу одно, — ответил Водуайе, — не будь здесь Мишо, мы опять зажили бы спокойно.

— Довольно болтать, — сказал Тонсар, — поговорим об этом в другой раз, в чистом поле, при луне.

В конце октября графиня уехала, оставив генерала в Эгах; он должен был вернуться в Париж значительно позже. Ей не хотелось пропустить премьеру в Итальянской опере; к тому же она в последнее время чувствовала себя одинокой и скучала, так как лишилась общества Эмиля, помогав-

шего ей коротать те часы, когда генерал охотился в своих владениях или был занят хозяйством.

Ноябрь выдался совсем зимний, темный, хмурый, с морозами и оттепелями, со снегом и дождем. По делу старухи Тонсар суд вызывал свидетелей, и Мишо ездил давать показания. Г-н Ригу принял участие в старухе, нанял для нее адвоката, который построил защиту на том, что имелись только показания свидетелей обвинения и не было свидетелей защиты; но показания Мишо и лесников, поддержанные показаниями стражника и двух жандармов, оказались решающими: мать Тонсара была приговорена к пяти годам тюрьмы, и адвокат сказал Тонсару-сыну:

— Вы обязаны этим показанию Мишо.

IX КАТАСТРОФА

Однажды в субботний вечер Курткюис, Бонебо, Годэн, Тонсар, его дочери, жена, дядя Фуршон, Водуайе и несколько поденщиков сидели за ужином в трактире. Ночь была лунная; первый выпавший снег стаял, легкий мороз подсушил землю, и шаги человека не оставляли следов, по которым нередко открываются крупные преступления. Компания ела рагу из зайцев, пойманных в силки; было весело и пьяно: вчера только отпраздновали свадьбу Катрин, которую предстояло отвести в дом мужа, стоявший недалеко от усадьбы Курткюиса. Когда Ригу продавал участок земли, участок этот всегда находился на отлете и примыкал к лесу. Курткюис и Водуайе были с ружьями, так как собирались провожать молодую. Вся деревня уже спала, не светило ни одного огонька. Гуляли только на свадьбе и шумели вовсю. В трактир вошла старуха Бонебо; все взоры устремились на нее.

— Женка его, видно, собралась родить, — шепнула она на ухо Тонсару и своему сыну. — Он едет за доктором Гурдоном в Суланж, приказал седлать лошадь.

— Присаживайся-ка, мать, — сказал Тонсар и, уступив ей свое место за столом, прилег на скамью.

В этот момент послышался топот лошади, галопом проскакавшей по дороге. Тонсар, Курткюис и Водуайе стремглав выбежали на улицу и увидели Мишо, мчавшегося по деревне.

— Ловко он понимает свое дело! — сказал Курткюис — Он проехал мимо крыльца вниз и взял на Бланжи по большаку — так всего безопасней...

— Да, — сказал Тонсар, — но обратно он повезет господина Гурдона...

— Он может его не застать, — заметил Курткюис — Доктора поджидали в Куше к почтмейстерше, — она не стесняется беспокоить людей в любой час дня и ночи.

— Ну, тогда он поедет по суланжской дороге на Куш, это прямее всего.

— И надежнее всего для нас, — сказал Курткюис — Сейчас луна, на большаке сторожей нет, не то что в лесу, и слышно издали; от сторожек — из-за изгороди, там, где она подходит к лесочку, — по человеку можно стрелять в угонку, как по кролику, хоть на пятьсот шагов...

— Там он проедет в половине двенадцатого, — сказал Тонсар. — Полчаса у него уйдет на дорогу в Суланж и столько же на обратный путь... А ну как господин Гурдон встретится ему на дороге, ребятки?..

— Не беспокойся, — сказал Курткюис. — Я буду в десяти минутах от тебя, на той дороге, что правее Бланжи, по пути к Суланжу; Водуайе тоже будет в десяти минутах — на дороге в Куш, и если кто-нибудь поедет — почтовая ли карета, дилижанс, жандармы, ну, кто бы там ни был, — мы дадим выстрел в землю.

— А если я промахнусь?..

— Он прав, — заметил Курткюис — Я лучше стреляю, чем ты, Водуайе, я пойду с тобой. Бонебо встанет вместо меня и крикнет; оно будет понятнее, да и не так подозрительно.

Все трое вернулись в трактир, гулянье продолжалось. В одиннадцать часов Водуайе, Курткюис, Тонсар и Бонебо вышли, взяв ружья, но женщины не обратили на это внимания. Да и вернулись они уже через три четверти часа и продолжали пьянствовать до часу ночи. Обе дочери Тонсара, их мать и старуха Бонебо до того напоили мельника, поденщиков, двух крестьян и тестя Тонсара — Фуршона, что те свалились с ног и храпели, когда четверо приятелей вышли из тракти-

ра. По их возвращении спящих растолкали — все они лежали на прежних местах.

Пока в трактире шел кутеж, чета Мишо переживала смертельную тревогу. У Олимпии начались ложные схватки, и муж ее, думая, что это уже роды, не теряя ни минуты помчался за доктором. Но не успел он уехать, как боли прекратились, потому что все мысли бедной женщины сосредоточились на опасности, грозившей ее мужу в такой поздний час здесь, где все были настроены против него, где было столько отпетых негодяев, и эта душевная боль была так сильна, что сразу притупила и заглушила ее физические страдания. Напрасно служанка твердила ей, что все эти тревоги — плод воображения; она как будто не понимала слов и сидела в спальне у камина, чутко прислушиваясь ко всякому звуку, доносившемуся снаружи; страх ее возрастал с каждой минутой; Олимпия даже велела разбудить работника, хотела ему что-то приказать, но так ничего и не приказала. Бедняжка в лихорадочном волнении ходила взад и вперед по комнате, заглядывала то в одно, то в другое окно, открывала их, хотя было уже холодно; потом спускалась вниз, отворяла входную дверь, всматривалась в даль и прислушивалась...

— Нет... все еще нет! — повторяла она. И в отчаянии снова шла в спальню.

Около четверти первого она крикнула: «Едет, я слышу стук копыт его лошади!» И сошла вниз в сопровождении работника, который отправился открывать ворота. «Странно, — подумала она, — он возвращается через Кушский лес». И тут же застыла, не в силах пошевелиться, онемев от ужаса. Ужас охватил и слугу, в стуке копыт мчавшейся во весь опор лошади, в звяканье пустых стремян, в выразительном ржании, — так ржет лошадь, потерявшая седока, — было что-то тревожное. Скоро — слишком скоро для несчастной женщины — лошадь, тяжело дыша и вся в мыле, подскакала к воротам, но без всадника. Она порвала поводья, в которых, вероятно, запуталась. Олимпия в полной растерянности смотрела, как слуга отворяет ворота. Увидев лошадь, она без единого слова, как безумная, бросилась к замку; добежав туда, упала под окнами генерала и громко крикнула:

— Они его убили!..

Крик этот был так ужасен, что разбудил графа; он позвонил, поднял на ноги весь дом. Услышав стоны г-жи Мишо, разрешившейся мертвым младенцем, генерал и слуги подбежали к ней. Несчастную женщину подняли, она была при смерти. Олимпия скончалась, сказав генералу:

— Они его убили!

— Жозеф! — крикнул граф своему лакею. — Бегите за доктором! Может быть, есть еще какая-нибудь надежда... Нет, лучше позовите кюре... Бедняжка умерла, и ребенок тоже... Господи! Господи! Какое счастье, что здесь нет жены!.. А вы, — сказал он садовнику, — сходите туда, узнайте, что случилось.

— Случилось то, — сказал работник г-на Мишо, — что лошадь хозяина только что примчалась одна, с оборванными поводьями, забрызганными кровью... На седле расплылось кровавое пятно.

— Как же быть? Сейчас ночь! — воскликнул граф. — Ступайте разбудите Груазона, вызовите лесников; велите седлать лошадей, мы обследуем местность.

На рассвете восемь человек — граф, Груазон, трое лесников и два жандарма, прибывшие из Суланжа вместе с вахмистром, — обыскали всю местность. Около полудня тело начальника охраны было наконец найдено в лесной чаще, между большой и виль-о-фэйской дорогами, в конце парка, в пятистах шагах от Кушских ворот. Два жандарма тотчас же отправились: один в Виль-о-Фэ за прокурором, другой в Суланж за мировым судьей. Тем временем генерал при содействии вахмистра составил протокол. На дороге, напротив второй сторожки, был замечен отпечаток задних копыт лошади, плясавшей на месте и, очевидно, взвившейся на дыбы, а затем, до первой лесной тропинки, ниже изгороди, шли резкие отпечатки подков мчавшейся карьером испуганной лошади. Оставшись без седока, она понеслась по этой тропинке; там же была найдена шляпа Мишо. Лошадь выбрала кратчайший путь к конюшне. Пуля засела в спине у Мишо, позвоночник был перебит.

Груазон и вахмистр самым тщательным образом исследовали землю вокруг того места, где вздыбилась лошадь, — по-видимому, «места преступления», как говорится на официальном судебном языке, — но не могли обнаружить никаких улик. На промерзшей земле не сохранились

следы убийцы; нашли только бумажную гильзу. Когда местный прокурор, судебный следователь и доктор Гурдон прибыли, чтобы забрать тело и произвести вскрытие, было установлено, что пуля, совпадавшая по размерам с остатками гильзы, выпущена из солдатского ружья, а во всей бланжийской общине не было ни одного солдатского ружья. Судебный следователь и прокурор, г-н Судри, прибывшие вечером в замок, полагали, что надо собрать все материалы следствия и выждать. Такого же мнения придерживались вахмистр и жандармский офицер из Виль-о-Фэ.

— Не подлежит никакому сомнению, что стрелял кто-то из местных жителей, — сказал вахмистр, — но у нас две общины — кушская и бланжийская, и в каждой из них есть пять-шесть человек, способных на такое дело. Больше всех я подозреваю Тонсара, но он всю эту ночь пьянствовал; ваш помощник, мельник Ланглюме, гулял вместе с ними, ваше превосходительство. Все участники кутежа были так пьяны, что едва держались на ногах; молодую они отвели в половине второго, а если судить по времени, когда вернулась лошадь, то Мишо был убит между одиннадцатью и двенадцатью ночи. В четверть одиннадцатого Груазон видел всю свадьбу за столом, и в это же время господин Мишо проехал по дороге в Суланж, куда он прибыл в одиннадцать часов. Его лошадь взвилась на дыбы между первой и второй сторожкой, но он мог быть ранен, не доезжая Бланжи, и продержаться некоторое время в седле. Надо привлечь к суду человек двадцать, не меньше, арестовать всех подозрительных; но присутствующие здесь знают крестьян так же хорошо, как и я: вы можете продержать их в тюрьме целый год и ничего от них не добьетесь, они будут отпираться. Что делать с теми, кто был у Тонсара?

Вызвали мельника Ланглюме, помощника генерала де Монкорне; он рассказал, как провел вечер: все они сидели в трактире, выходили только на несколько минут во двор... Около одиннадцати он тоже выходил вместе с Тонсаром, говорили о луне, о погоде; ничего особенного они не слышали. Ланглюме перечислил всех присутствовавших, никто из них из трактира не отлучался. Около двух часов они все вместе проводили молодых домой.

Генерал договорился с вахмистром, жандармским офицером и прокурором, что пришлет из Парижа опытного сыщика, который назовется рабочим и поступит в замок, а затем будет уволен за дурное поведение, начнет пьянствовать, сделается завсегдатаем «Большого-У-поения», обоснуется где-нибудь поблизости и станет всем ругать генерала. Нельзя было придумать ничего лучше, чтобы подслушать неосторожное слово и подхватить его на лету.

— Пусть я израсходую на это двадцать тысяч франков, а убийцу моего бедного Мишо я все-таки найду! — твердил генерал Монкорне.

С этой мыслью он уехал в Париж и вернулся в январе вместе с одним из искуснейших выучеников начальника парижской сыскной полиции. Субъект этот водворился в замке якобы для того, чтобы руководить внутренними переделками, и занялся браконьерством. На него составили несколько протоколов; генерал его выгнал и в феврале уехал в Париж.

Х ТРИУМФ ПОБЕЖДЕННЫХ

Однажды вечером, в мае месяце, когда наступила хорошая погода и в Эги съехались парижане, за вистом и шахматами собрались привезенный дочерью г-н де Труавиль, Блонде, аббат Бросет, генерал и приехавший в гости виль-о-фэйский супрефект; было половина двенадцатого. Жозеф доложил, что уволенный графом негодный рабочий хочет с ним поговорить; он уверяет, что хозяин остался ему должен. По словам лакея, он был вдребезги пьян.

— Хорошо, сейчас выйду.

И генерал вышел на лужайку, находившуюся в некотором расстоянии от замка.

— Ваше сиятельство, — сказал сыщик, — из этих людей ничего не выжмешь. Я знаю только одно, если вы останетесь в Эгах и будете отучать местных жителей от привычек, которые они приобрели в бытность здесь мадмуазель Лагер, вы дождетесь, что и вас подстрелят... Делать мне тут, во всяком случае, больше нечего; они меня остерегаются больше, чем ваших сторожей.

Граф расплатился с сыщиком, и тот уехал, подтвердив своим отъездом подозрения, возникшие у виновников смерти Мишо. Когда генерал вернулся к гостям, на лице его было написано та-

кое сильное и глубокое волнение, что жена встревожилась и спросила, что нового он узнал.

— Мне не хотелось бы тебя пугать, дружок, но все же тебе следует знать, что смерть Мишо — косвенное предостережение нам, чтобы мы уезжали отсюда...

— Я бы ни за что не уехал, — сказал г-н де Труавиль. — У меня были такого же рода неприятности в Нормандии, хотя в другой форме, и я не уступил, теперь все обошлось.

— Господин маркиз, Нормандия и Бургундия совершенно различные местности, — заметил супрефект. — Виноградный сок сильнее горячит кровь, нежели яблочный. Мы не так хорошо знакомы с законами и судопроизводством и окружены лесами, промышленность у нас еще не развита, мы дикари... Если бы спросили моего совета, то я бы посоветовал продать имение и поместить деньги в ренту; доходы графа удвоятся, и никаких хлопот. Если граф любитель деревни, он легко приобретет в окрестностях Парижа замок и парк, обнесенный оградой, не менее прекрасный, чем Эгский парк, но туда никто посторонний не войдет, а фермы при замке будут сдаваться в аренду, и только таким людям, которые приезжают в собственных кабриолетах, платят кредитными билетами; уверяю вас, за весь год не придется составить ни одного протокола... Дорога в поместье и обратно в Париж займет три-четыре часа, не больше, и господин Блонде, и маркиз будут у вас, графиня, не столь редкими гостями.

— Чтобы я отступил перед крестьянами, когда я не отступил даже на Дунае!

— Да, но где ваши кирасиры? — спросил Блонде.

— Такое прекрасное имение!..

— Вам за него сейчас дадут больше двух миллионов!

— Один замок, наверное, стоил не меньше, — заметил г-н де Труавиль.

— Самое прекрасное поместье на двадцать миль в окружности, — сказал супрефект. — Но вы найдете еще лучше в окрестностях Парижа.

— Сколько дохода дают два миллиона? — спросила графиня.

— Сейчас около восьмидесяти тысяч франков, — ответил Блонде.

— Эги приносят не больше тридцати тысяч франков чистого дохода, — сказала графиня, — и, кроме того, за эти годы вы произвели громадные затраты, окопавши весь лес канавами...

— Сейчас можно за четыреста тысяч франков получить под Парижем королевский замок — купить чужое безумство, — сказал Блонде.

— А разве вы не дорожите Эгами? — спросил граф жену.

— Неужели вы не понимаете, что я в тысячу раз больше дорожу вашей жизнью! — ответила она. — К тому же со дня смерти бедняжки Олимпии и убийства Мишо этот край мне опротивел; мне чудится, что у всех, кого ни встретишь, лица какие-то зловещие, угрожающие.

На другой день вечером в салоне г-на Гобертена, в Виль-о-Фэ мэр встретил супрефекта следующей фразой:

— Итак, господин де Люпо, вы изволили побывать в Эгах?

— Да, — ответил супрефект со скромно торжествующим видом, бросая нежный взгляд на мадмуазель Элизу. — Я очень опасаюсь, что мы лишимся общества генерала: он хочет продать имение...

— Господин Гобертен, позаботьтесь о загородном доме... Я больше не в силах переносить пыль и шум Виль-о-Фэ. Как птичка в клетке, я рвусь в чистое поле, в лес... — томно проговорила мадам Изора, полужакрыв глаза, склонив голову на левое плечо и небрежно перебирая свои длинные белокурые локоны.

— Да будьте же вы наконец благоразумны, сударыня, — прошептал Гобертен. — При вашей болтливости приобрести загородный дом не так-то легко...

Затем, обратившись к супрефекту, он спросил:

— Что же, так до сих пор и не удалось разыскать убийцу начальника охраны?

— По-видимому, нет, — ответил супрефект.

— Это сильно повредит продаже Эгов, — во всеуслышание заметил Гобертен, — Про себя скажу, что ни за что не купил бы этого поместья... Очень уж зловредное здесь население; даже во времена мадмуазель Лагер мне приходилось с ними воевать, а одному богу известно, как она им мирволила!

Май уже подходил к концу, но ничто не говорило о намерении генерала продать Эги, он все еще колебался. Однажды вечером, часов около десяти, генерал возвращался из лесу домой по одной из шести аллей, шедших от площадки охотничьего домика; генерал отпустил сторожа, так как замок был уже недалеко. На повороте аллеи из-за куста вышел человек с ружьем.

— Генерал, — сказал он, — вот уже третий раз я беру вас на мушку и третий раз дарю вам жизнь.

— А почему ты хочешь меня убить, Бонебо? — спросил генерал, не выказывая ни малейшего волнения.

— Да что ж, если не я, так другой кто убьет. Только я, видите ли, чувствую слабость к людям, служившим императору, не подымается у меня рука подстрелить вас, как куропатку... Лучше не спрашивайте, все равно ничего не скажу. Но у вас есть враги посильнее и похитрее, чем вы, и они с вами справятся. Если я вас убью, то получу тысячу экю и женюсь на Мари Тонсар. Дайте мне несколько несчастных арпанов земли и какую ни на есть хибарку, и я буду говорить то же, что говорил до сих пор: не представилось, мол, удобного случая. Вы еще успеете продать поместье и уехать, но торопитесь. Хотя я и негодяй, а все-таки совесть у меня есть; другой, пожалуй, вас не пожалует...

— Ну, а если я тебе дам то, что ты просишь, скажешь, кто тебе пообещал тысячу экю? — спросил генерал.

— Мне это неизвестно; а человека, который меня на это дело подговаривает, я слишком люблю и не назову... Да, если бы вы даже и знали, что это Мари Тонсар, это все равно ни к чему бы не привело. Мари Тонсар будет молчать, как могила, а я отопрусь от своих слов.

— Зайди ко мне завтра, — сказал генерал.

— Слушаюсь, — сказал Бонебо. — А если решат, что я недостаточно ловок, я вас предупрежу.

Неделю спустя после этого оригинального разговора весь округ, весь департамент и Париж были залеплены огромными объявлениями о продаже Эгов по участкам через контору суланжского нотариуса г-на Корбино. Все участки на общую сумму в два миллиона сто пятьдесят тысяч франков остались за Ригу. На следующий день Ригу велел изменить имена владельцев: г-н Гобертен получил лес, а Ригу и чета Судри — виноградники и прочие угодья. Замок и парк были перепроданы черной банде⁷¹, за исключением охотничьего домика и принадлежащих к нему служб: г-н Гобертен подарил их своей чувствительной и поэтичной подружке.

Много лет спустя после этих событий, зимой 1837 года, один из самых крупных политических писателей того времени, Эмиль Блонде, дошел до последней степени нищеты, которую ему прежде удавалось скрывать, ведя блестящую светскую жизнь. Он уж подумывал решиться на отчаянный шаг, ибо убедился, что, несмотря на свой ум, знания и практический опыт, он только машина, работающая на других, увидел, что все места заняты, что он уже на пороге зрелого возраста, а не имеет ни общественного положения, ни денег, что глупые и бестолковые мещане сменили придворных и бездарных людей Реставрации и что государство снова становится таким, каким оно было до 1830 года. Однажды вечером, когда он был близок к не раз осмеянному им самоубийству и мысленно окидывал последним взглядом свою жалкую жизнь, в сущности трудовую, а не праздную, хотя его и попрекали кутежами, перед его глазами встал прекрасный и благородный образ женщины, словно статуя, уцелевшая во всей своей неприкосновенности и чистоте среди печальных развалин, — в эту минуту швейцар подал ему письмо с черной сургучной печатью. Г-жа де Монкорне извещала о смерти мужа, снова поступившего на службу и командовавшего дивизией. Графиня унаследовала все его состояние: детей у нее не было. Полное достоинства письмо ставило в известность Блонде, что сорокалетняя женщина, любимая им во дни ее молодости, дружески протягивает ему руку и предлагает значительное состояние. Спустя некоторое время состоялась свадьба графини де Монкорне и Эмиля Блонде, получившего назначение на должность пре-

⁷¹ *Черная банда* — так назывались в период Реставрации скупщики родовых аристократических замков, предназначенных на снос.

фекта. Отправляясь в свою префектуру, он избрал дорогу, когда-то ведущую в Эги, и приказал остановиться на том самом месте, где прежде стояли две сторожки, ибо хотел посетить бланжийскую общину: там все вызывало столько нежных воспоминаний в сердцах обоих путешественников. Край был неузнаваем. Вместо таинственного леса и парка с его аллеями тянулись распаханые поля; окрестности напоминали лист картона с наклеенными образчиками материй. Крестьянин — победитель и завоеватель — завладел имением. Оно было раздроблено на тысячи участков, а население между Кушем и Бланжи увеличилось втрое. Некогда столь оберегаемый пленительный парк был распахан, и охотничий домик, именовавшийся ныне виллой «El Buen Retiro»⁷² и принадлежавший Изоре Гобертен, обнажился. Это было единственное уцелевшее строение, высившееся среди полей, или, вернее, среди полосок распаханной земли, сменивших прежний пейзаж. Здание походило на замок, до того жалки были разбросанные кругом домишки, типичные крестьянские постройки.

— Вот он, прогресс! — воскликнул Эмиль. — Вот страничка из «Общественного договора» Жан-Жака! И меня впрягли в социальную машину, которая производит подобную работу!.. Боже мой, что станется в недалеком будущем с королями! Да что говорить о королях, что станется через полвека при таком положении вещей с народами?

— Ты меня любишь, ты тут, рядом; настоящее мне кажется прекрасным, и меня мало заботит столь отдаленное будущее, — ответила жена.

— Возле тебя — да здравствует настоящее, — весело воскликнул влюбленный Блонде, — и к черту будущее!

Он велел кучеру трогать, и когда лошади пустились вскачь, новобрачные снова отдались обаянию медового месяца.

1845

⁷² «Благодатный уголок» (исп.).